

СОБРАНИЕ

Александр
Солженицын

СОЧИНЕНИЙ

4

FOCE

АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН

Собрание сочинений

В ШЕСТИ ТОМАХ

*С приложением критических статей
о творчестве автора
и документов по так называемому
«делу Солженицына»*

*Фотографии автора, а также его портрет
работы московского художника В. Сидура,
отпечатаны на меловой бумаге*

Обложка и суперобложка работы художника Адама Русака

*Сверка авторских текстов и редактирование приложений
проведены А. Н. Артемовой*

АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН

Собрание сочинений

ТОМ ЧЕТВЕРТЫЙ

В круге первом

Роман

(Гл. 48 — гл. 87)

ПОСЕВ

© 1970 Possev-Verlag, V. Gorachek KG
Frankfurt/Main
Printed in Germany

КОВЧЕГ

В шесть часов вечера в воскресенье даже на шашке начинался всеобщий отдых до утра. Никак нельзя было избежать этого досадного перерыва в арестантской работе, потому что в воскресенье вольняшки дежурили только в одну смену. Это была гнусная традиция, против которой, однако, были бессильны бороться майоры и подполковники, ибо сами они тоже не хотели работать по воскресным вечерам. Только Мамурин-Железная Маска страшился этих пустых вечеров, когда уходили вольные, когда загоняли и запирали всех зэков, которые все-таки тоже были в известном смысле люди, — и ему оставалось одному ходить по опустевшим коридорам института мимо осургученных и опломбированных дверей, либо томиться в своей келье между умывальником, шкафом и кроватью. Мамурин пытался добиться, чтобы Семерка работала и по воскресным вечерам, — но не мог сломить консервативности начальства спецтюрьмы, не желавшего удваивать в н у т р и з о н н ы х караулов.

И так сложилось, что двадцать восемь десятков арестантов, попирая все разумные доводы и кодексы об арестантском труде, — по воскресным вечерам нагло отдыхали.

Отдых этот был такого свойства, что непривычному человеку показался бы пыткой, придуманной дьяволом. Наружная темнота и особая бдительность воскресных дней не разрешала тюремному начальству устраивать в эти часы прогулки во дворике или киносеансы в сарае. После годовой переписки со всеми вы-

сокими инстанциями было также решено, что и музыкальные инструменты типа «баян», «гитара», «балалайка» и «губная гармоника», а тем более прочих укрупненных типов, — недопустимы на шарашке, так как их совместные звуки могли бы помочь производить подкоп в каменном фундаменте (оперуполномоченные через стукачей непрерывно выясняли, нет ли у заключенных каких-либо самодельных дудок и пицалок, а за игру на гребешке вызывали в кабинет и составляли особый протокол). Тем более не могло быть и речи о допущении в общежитие тюрьмы радиоприемников или самых дрянненьких патефонов.

Правда, заключенным разрешалось пользоваться тюремной библиотекой. Но у спецтюрьмы не было средств для покупки книг и шкафа для книг. А просто назначили Рубина тюремным библиотекарем (он сам напросился, думая захватить хорошие книги) и выдали ему однажды сотню растрепанных разрозненных томов вроде тургеневской «Муму», «Писем» Стасова, «Истории Рима» Моммзена и велели их обращать среди арестантов. Арестанты давно теперь все эти книги прочли, или вовсе не хотели читать, а выпрашивали чтива у вольняшек, что и открывало оперуполномоченным богатое поле для сыска.

Для отдыха арестантам предоставлялись десять комнат на двух этажах, два коридора — верхний и нижний, узкая деревянная лестница, соединяющая этажи, и уборная под этой лестницей. Отдых состоял в том, что экам разрешалось безо всякого ограничения лежать в своих кроватях (и даже спать, если они могли заснуть под галдёж), сидеть на кроватях (стульев не было), ходить по комнате и из комнаты в комнату хотя бы даже в одном нижнем белье, сколько угодно курить в коридорах, спорить о политике при стукачах и совершенно без стеснений и ограничений пользоваться уборной. (Впрочем те, кто подолгу сидели в тюрьме и ходили «на

оправку» дважды в сутки по команде, — могут оценить значение этого вида бессмертной свободы). Полнота отдыха была в том, что время было своё, а не казенное. И поэтому отдых воспринимался как настоящий.

Отдых арестантов состоял в том, что снаружи запирались тяжелые железные двери, и никто больше не открывал их, не входил, никого не вызывал и не дёргал. В эти короткие часы внешний мир ни звуком, ни словом, ни образом не мог просочиться внутрь, не мог потревожить ничью душу. В том и был отдых, что весь внешний мир — Вселенная с ее звездами, планета с ее материками, столицы с их блистанием, и банкеты, и производственные вахты — всё это проваливалось в небытие, превращалось в черный океан, почти неразличимый сквозь обрешеченные окна при желто-слепом свечении фонарей зоны.

Залитый изнутри никогда не гаснущим электричеством МГБ двухэтажный ковчег бывшей припоместной церкви, с бортами, сложенными в четыре с половиной кирпича, беззаботно и бесцельно плыл сквозь этот черный океан человеческих судеб и заблуждений, оставляя от иллюминаторов мреющие струйки света.

За эту ночь с воскресенья на понедельник могла расколоться Луна, могли воздвигнуться новые Альпы на Украине, океан мог проглотить Японию или начаться всемирный потоп — запертые в ковчеге арестанты ничего не узнали бы до утренней поверки. Так же не могли их потревожить в эти часы телеграммы от родственников, докучные телефонные звонки, приступ дифтерита у ребенка или ночной арест.

Те, кто плыли в ковчеге, были невесомы сами и обладали невесомыми мыслями. Они не были голодны и не были сыты. Они не обладали счастьем и потому не испытывали тревоги его потерять. Головы их не были заняты мелкими служебными расчетами, интригами,

продвижением, плечи их не были обременены заботами о жилище, топливе, хлебе и одежде для детишек. Любовь, составляющая искони наслаждение и страдание человечества, была бессильна передать им свой трепет или свою агонию. Тюремные сроки их были так длинны, что никто еще не задумывался о тех годах, когда выйдет на волю. Мужчины, выдающиеся по уму, образованию и опыту жизни, но всегда слишком преданные своим семьям, чтобы оставлять достаточно себя для друзей, — здесь принадлежали только друзьям.

Свет ярких ламп отражался от белых потолков, от выбеленных стен и тысячами лучиков пронизывал просветленные головы.

Отсюда, из ковчега, уверенно прокладывающего путь сквозь тьму, легко озирался извилистый заблудившийся поток проклятой Истории — сразу весь, как с огромной высоты, и подробно, до камешка на дне, будто в него окунались.

В эти часы воскресных вечеров материя и тело не напоминали людям о себе. Дух мужской дружбы и философии парил под парусным сводом потолка.

Может быть, это и было то блаженство, которое тщетно пытались определить и указать все философы древности?

ХОХМА

В полукруглой комнате второго этажа под высоким сводчатым потолком алтаря было особенно просторно мыслям и весело.

Все двадцать пять человек этой комнаты собрались дружно к шести часам. Одни поскорее разделись до белья, стремясь избавиться от надоевшей тюремной шкуры, и плюхнулись с размаху на свою койку (или,

подобно обезьянам, вскарабкались наверх), другие так же плюхнулись, но не снимая комбинезона, кто-то уже стоял наверху и, размахивая руками, кричал оттуда приятелю через всю комнату, иные ничего не предприняли еще, а отаптывались и оглядывались, всем существом своим ощущая приятность предстоящих свободных часов — и теряясь, как начать их поприятнее.

Среди таких был Исаак Моисеевич Каган, чернокудлатый низенький «директор аккумуляторной», как его называли. У него было особенно хорошее расположение духа от прихода в просторную светлую комнату, так как аккумуляторная его, где он по четырнадцать часов в день копался, как крот, занимала темное подвальное помещение с плохой вентиляцией. Впрочем, он был доволен и этой своей работой в подвале, говоря, что в лагере давно бы уже загнолся (он никогда не уподоблялся хвастунам, гордящимся, что в лагере «жили лучше, чем на воле»).

На воле Исаак Каган, недоучившийся инженер, кладовщик материально-технического снабжения, старался жить незаметной маленькой жизнью и пройти эпоху великих свершений боком. Он знал, что тихим кладовщиком быть и спокойнее и прибыльнее. В своей замкнутости он таил почти огненную страсть к наживе и ею был занят. Ни к какой политической деятельности его не влекло. Зато, как только умел, он и в кладовой соблюдал законы субботы. Но Госбезопасность избрала почему-то Кагана запрячь в свою колесницу, и стали его тягать в закрытые комнаты и в явочные безобидные места, настаивая, чтоб он стал сексотом. Очень это было отвратно Кагану. Прямоты и смелости такой не было у него (а у кого она была?), чтобы прямо резануть им в глаза, что это — гадство, но с неистощимым терпением он молчал, мямлил, тянул, уклонялся, ерзал на стуле — и так-таки не подписал обязательства. Не то, чтобы он совсем не был способен донести. Не дрогнув, донес бы

он на человека, причинившего ему зло или унижение. Но отвращалось сердце его доносить на людей, добрых к нему или безразличных.

Однако за это упрямство в Госбезопасности на него затаили. От всего на свете не убережешься. В кладовой же у него затеяли разговор: кто-то выругал инструмент, кто-то снабжение, кто-то планирование. Исаак и рта не открыл при этом, выписывал себе накладные химическим карандашом. Но стало известно (да, наверно, подстроили), друг на друга все указали, кто что говорил, и по десятому пункту получили все по десять лет. Прощел и Каган пять очных ставок, но никто не доказал, что он хоть слово вымолвил. Была бы 58-я статья поуже — и пришлось бы Кагана выпускать. Но следовательно знал свой последний запас — пункт двенадцатый той же статьи — недоносительство. За недоносительство и припаяли Кагану те же десять астрономических лет.

Из лагеря Каган попал на шарашку благодаря своему выдающемуся остроумию. В трудную минуту жизни, когда его изгнали с поста «заместителя старшего по бараку» и стали гонять на лесоповал, он написал письмо на имя председателя Совета министров товарища Сталина о том, что если ему, Исааку Кагану, правительство предоставит возможность, он берется осуществить управление по радио торпедными катерами.

Расчет был верен. Ни у кого в правительстве не дрогнуло бы сердце, если бы Каган по-человечески написал, что ему очень-очень плохо и он просит его спасти. Но выдающееся военное изобретение стоило того, чтобы автора немедленно привезти в Москву. Кагана привезли в Маврино, и разные чины с голубыми и синими петлицами приехали к нему и торопили его воплотить дерзкую техническую идею в готовую конструкцию. Уже получая белый хлеб и масло, Каган, однако, не торопился. С большим хладнокровием он от-

вечал, что он сам не торпедист и, естественно, нуждается в таковом. За два месяца достали торпедиста (зэка). Но тут Каган резонно возразил, что сам он — не судовой механик и, естественно, нуждается в таковом. Еще за два месяца привезли и судового механика (зэка). Каган вздохнул и сказал, что радио является его специальностью. Радио-инженеров в Маврино было много, и одного тотчас прикомандировали к Кагану. Каган собрал их всех вместе и невозмутимо, так что никто не мог бы заподозрить его в насмешке, заявил им: «Ну вот, друзья, когда теперь вас собрали вместе, вы вполне могли бы общими усилиями изобрести управляемые по радио торпедные катера. И не мне лезть советовать вам, специалистам, как это лучше сделать». И действительно, их троих услали на военно-морскую шарашку, Каган же за выигранное время пристроился в аккумуляторной, и все к нему привыкли.

Сейчас Каган задирает лежащего на кровати Рубина — но издали, так чтоб Рубин не мог достать его пинком ноги.

— Лев Григорьич, — говорил он своей не вполне разборчивой вязкою речью, зато медленно. — В вас заметно ослабло сознание общественного долга. Масса жаждет развлечения. Один вы можете его доставить — а уткнулись в книгу.

— Исаак, идите на ..., — отмахнулся Рубин. Он уже успел лечь на живот, с лагерьной телогрейкой, накинутой на плечи сверх комбинезона (окно между ним и Сологдиным было раскрыто на «толщину Маяковского», оттуда потягивало приятной снежной свежестью) и читал.

— Нет, серьезно, Лев Григорьич! — не отставал вцепчивый Каган. — Всем очень хочется еще раз послушать вашу талантливую «Ворону и лисицу».

— А кто на меня к у м у стукнул? Не вы ли? — огрызнулся Рубин.

В прошлый воскресный вечер, веселя публику, Рубин экспромтом сочинил пародию на крыловскую «Ворону и лисицу», полную лагерных терминов и невозможных для женского уха оборотов, за что его пять раз вызывали на «бис» и качали, а в понедельник вызвал майор Мышин и завел дело о развращении заключенным Рубиным нравственности врагов народа; по этому поводу отобрано было несколько свидетельских показаний, а от Рубина — подлинник басни и объяснительная записка.

Рубин сегодня после обеда уже два часа проработал в новой отведенной для него комнате, выбрал типичные для искомого преступника переходы речевого лада и форманты, пропустил их через аппарат видимой речи, развесил сушить мокрые ленты и, с первыми догадками и с первыми подозрениями, но без воодушевления к новой работе, наблюдал, как Смолосидов опечатал комнату сургучом. После этого в потоке эзков, как в стаде, возвращающемся в деревню, Рубин пришел в тюрьму.

Как всегда, под подушкой у него, под матрацем, под кроватью и в тумбочке, вперемежку с едой, лежало десятка полтора переданных ему в передачах самых интересных (для него одного, потому их и не растаскивали) книг: китайско-французский, латышско-венгерский и русско-санскритский словари (уже два года Рубин трудился над грандиозной, в духе Энгельса и Марра, работой по выводу всех слов всех языков из понятий «рука» и «ручной труд» — он не подозревал, что в минувшую ночь Корифей Языкознания занес над Марром резак идеологической гильотины); потом лежали там «Саламандры» Чапека, сборник рассказов весьма прогрессивных японских писателей, «For Whom the Bell Tolls» (Хемингуэя у нас что-то замялись перево-

дить, как переставшего быть прогрессивным), пара монографий об энциклопедистах, «Жозеф Фуше» Стефана Цвейга на немецком и роман Эптона Синклера, никогда не переводившийся на русский.

В мире было необъятно много книг, самых необходимых, самых первоочередных, и жадность прочесть их все никогда не давала Рубину возможности написать ни одной своей. Сейчас Рубин готов был глубоко за полночь, вовсе не думая о завтрашнем рабочем дне, только читать и читать. Но к вечеру и остроумие Рубина, и жажда спора и витийства бывали особенно разогнаны — и надо было совсем немного, чтобы призвать их на служение обществу. Были люди на шарашке, кто не верил Рубину, считая его стукачом (из-за слишком ортодоксальных взглядов, не скрываемых им), — но не было на шарашке человека, который бы не восторгался его затейством.

Воспоминание о «Вороне и лисице», уснащенной хорошо перенятым жаргоном блатных, было так живо, что и теперь вслед за Каганом многие в комнате стали громко требовать от Рубина какой-нибудь новой хохмы. И когда Рубин приподнялся и, мрачный, бородастый, вылез из-под укрытия верхней над ним койки, как из пещеры, — все бросили свои дела и приготовились слушать. Только Двоетёсов на верхней койке резал на ногах ногти так, что они далеко отлетали, да Адамсон под одеялом продолжал, не оборачиваясь, читать. В дверях столпились любопытные из других комнат, среди них татарин Булатов в роговых очках резко кричал:

— Просим! Просим!

Рубин вовсе не хотел потешать толпу, среди которой иные попирали всё ему дорогое; и он знал, что новая хохма неизбежно значила с понедельника новые неприятности, трёпку нервов, допросы у «Шишкина-Мышкина». Но будучи тем самым героем поговорки,

кто для красного словца не пожалеет родного отца, Рубин притворно нахмурился, деловито оглянулся и сказал в наступившей тишине:

— Товарищи! Меня поражает ваша несерьезность. О какой хохме может идти речь, когда среди нас разгуливают наглые, но всё еще не выявленные преступники? Никакое общество не может процветать без справедливой судебной системы. Я считаю необходимым начать наш сегодняшний вечер с небольшого судебного процессика. В виде зарядки.

— Правильно!

— А над кем суд?

— Над кем бы то ни было! Все равно, правильно! — раздались голоса.

— Забавно! Очень забавно! — поощрял Сологдин, усаживаясь поудобнее. Сегодня, как никогда, он заслужил себе отдых, а отдыхать надо было с выдумкой.

Осторожный Каган, почувствовав, что им же вызванная затея грозит переступить границы благоразумия, незаметно отходил к стеночке сесть на свою койку.

— Над кем суд — это вы узнаете в ходе судебного разбирательства, — разъяснил Рубин (он сам еще не придумал). — Я, пожалуй, буду прокурором, поскольку должность прокурора всегда вызывала во мне особенные эмоции (все на шарашке знали, что у Рубина были личные ненавистники-прокуроры, и он уже пять лет единоборствовал с Генеральной и Главной Военной прокуратурами). Глеб! Ты будешь председатель суда. Сформируй себе быстро тройку — нелицеприятную, объективную, ну, словом, вполне послушную твоей воле.

Нержин, сбросив внизу ботинки, сидел у себя на верхней койке. С каждым часом проходившего воскресного дня он всё больше отчуждался от утреннего свидания и всё больше соединялся с привычным арестантским миром. Призыв Рубина нашел в нем поддержку.

Он подтянулся к торцовым перильцам кровати, спустил ноги между прутьями и таким образом оказался на трибуне, возвышающейся над комнатой.

— Ну, кто ко мне в заседатели? Залезай!

Арестантов в комнате собралось много, всем хотелось послушать суд, но в заседатели никто не шел — из осмотрительности или из боязни показаться смешным. По одну сторону от Нержина, тоже наверху, лежал и снова читал утреннюю газету вакуумщик Земеля. Нержин решительно потянул его за газету:

— Улыба! Довольно просвещаться! А то и тебя потянет на мировое господство. Подбери ноги. Будь заседателем!

Снизу послышались аплодисменты:

— Просим, Земеля, просим!

Земеля был талая душа и не мог долго сопротивляться. Со своей неуклюжей улыбкой он свесил через поручни лысеющую голову:

— Избранник народа — высокая честь! Что вы, друзья? Я не учился, я не умею...

Дружный хохот («Все не умеем! Все учимся!») был ему ответом и избранием в заседатели.

По другую сторону Нержина лежал Руська Доронин. Он разделся, с головой и ногами ушел под одеяло и еще подушкой сверху прикрыл свое счастливое, упоённое лицо. Ему не хотелось ни слышать, ни видеть, ни чтоб его видели. Только тело его было здесь — мысли же и душа следовали за Кларой, которая ехала сейчас домой. Перед самым уходом она dokonчила плести корзиночку на елку и незаметно подарила ее Руське. Эту корзиночку он держал теперь под одеялом и целовал.

Видя, что напрасно было бы шевелить Руську, Нержин оглядывался в поисках второго кандидата.

— Амантай! Амантай! — звал он Булатова. — Иди в заседатели.

Очки Булатова задорно блестели.

— Я бы пошел, да там сесть негде! Я тут у двери, комендантом буду!

Хоробров (он уже успел постричь Адамсона и еще двоих и стриг теперь посредине комнаты нового клиента, а тот сидел перед ним голый до пояса, чтоб не трудиться потом счищать волосы с белья) крикнул:

— А зачем второго заседателя? Приговор-то уж, небось в кармане? Катай с одним!

— И то правда, — согласился Нержин. — Зачем дармоеда держать? Но где же обвиняемый? Комендант! Ведите обвиняемого! Прошу тишины!

И он постучал большим мундштуком по койке. Разговоры стихали.

— Суд! Суд! — требовали голоса. Публика сидела и стояла.

— Аще взыду на небо — Ты тамо еси, аще сниду во ад — Ты тамо еси, — снизу из-под председателя суда меланхолически подал Потапов. — Аще вселюся в преисподняя моря, и тамо десница Твоя настигнет мя! (Потапов прихватил Закона Божьего в гимназии, и в четкой инженерной голове его сохранились тексты катехизиса).

Снизу же, из-под заседателя, послышался отчетливый стук ложечки, размешивающей сахар в стакане.

— Валентуля! — грозно крикнул Нержин. — Сколько раз вам говорено — не стучать ложечкой!

— В подсудимые его! — возопил Булатов, и несколько услужливых рук тотчас вытянули Пряничкова из полумрака нижней койки на середину комнаты.

— Довольно! — с ожесточением вырывался Пряничков. — Мне надоели прокуроры! Мне надоели ваши суды! Какое право имеет один человек судить другого? Ха-ха! Смешно! Я презираю вас, парниша! — крикнул он председателю суда. — Я... вас!

За то время, что Нержин сколачивал суд, Рубин уже все придумал. Темно-карие глаза его светились

блеском находки. Широким жестом он пощадил Пряникова:

— Отпустите этого птенца! Валентуля с его любовью к мировой справедливости вполне может быть казенным адвокатом. Дайте ему стул!

В каждой шутке бывает неуловимое мгновение, когда она либо становится пошлой и обидной, либо вдруг сплавляется с вдохновением. Рубин, обернувший себе через плечо одеяло под вид мантии, влез в носках на тумбочку и обратился к председателю:

— Действительный государственный советник юстиции! Подсудимый от явки в суд уклонился, будем судить заочно. Прошу начинать!

В толпе у дверей стоял и рыжеусый дворник Спиридон. Его умное, обвислое в щеках, израненное многими морщинами лицо притягательно сочетало в себе черты суровости и веселости. Исподлобья смотрел он на суд.

За спиной Спиридона с долгим утонченным восковым лицом, увенчанным шерстяною шапочкой, стоял профессор Челнов.

Нержин объявил скрипуче:

— Внимание, товарищи! Заседание военного трибунала шарашки Маврино объявляю открытым. Слушается дело...

— Ольговича Игоря Святославича... — подсказал прокурор.

Подхватывая идею, Нержин монотонно-гнусаво как бы прочел:

— Слушается дело Ольговича Игоря Святославича, князя Новгород-Северского и Путивльского, год рождения... приблизительно... Черт возьми, секретарь, почему приблизительно?.. Внимание! Обвинительное заключение, ввиду отсутствия у суда письменного текста, зачит прокурор.

КНЯЗЬ-ПРЕДАТЕЛЬ

Рубин заговорил с такой легкостью и складом, будто глаза его действительно скользили по бумаге (его самого судили и пересуживали четыре раза, и судебные формулы запечатлелись в его памяти):

— «Обвинительное заключение по следственному делу номер пять миллионов дробь три миллиона шестьсот пятьдесят одна тысяча девятьсот семьдесят четыре по обвинению ОЛЬГОВИЧА ИГОРЯ СВЯТОСЛАВИЧА.

Органами государственной безопасности привлечен в качестве обвиняемого по настоящему делу Ольгович И. С. Расследованием установлено, что Ольгович, являясь полководцем доблестной русской армии, в звании князя, в должности командира дружины, оказался подлым изменником Родины. Изменническая деятельность его проявилась в том, что он сам добровольно сдался в плен заклятому врагу нашего народа, ныне изобличенному хану Кончаку, — и кроме того сдал в плен сына своего Владимира Игоревича, а также брата и племянника, и всю дружину в полном составе со всем оружием и подотчетным материальным имуществом.

Изменническая деятельность его проявилась также и в том, что он, с самого начала поддавшись на удочку провокационного солнечного затмения, подстроенного реакционным духовенством, не возглавил массовую политико-разъяснительную работу в своей дружине, отправлявшейся «шеломами испить воды из Дону», — не говоря уже об антисанитарном состоянии реки Дон в те годы, до введения двойного хлорирования. Вместо всего этого обвиняемый ограничился, уже в виду половцев, совершенно безответственным призывом к войску:

«Братья, сего есмы искали, а потягнем!»

(следственное дело, том первый, лист 36).

Губительное для нашей родины значение поражения объединенной новгород-северской-курской-путивль-ской-рыльской дружины лучше всего охарактеризовано словами великого князя киевского Святослава:

«Дал ми Бог притомити поганья, но не
воздержавши уности»

(следственное дело, том первый, лист 88).

Ошибкой наивного Святослава (вследствие его классово-слепоты) является, однако, то, что плохую организацию всего похода и дробление русских военных усилий он приписывает лишь «уности», то есть, юности обвиняемого, не понимая, что речь идет о далеко рассчитанной измене.

Самому преступнику удалось ускользнуть от следствия и суда, но свидетель БОРОДИН Александр Порфирьевич, а также свидетель, пожелавший остаться неизвестным, в дальнейшем именуемый как АВТОР СЛОВА, неопровержимыми показаниями изобличают гнусную роль И. С. Ольговича не только в момент проведения самой битвы, принятой в невыгодных для русского командования условиях

метеорологических:

«Веют ветры, уж наносят стрелы,
На полки их Игоревы сыплют...»

и тактических:

«Ото всех сторон враги подходят,
Обступают наших отовсюду»

(там же, том первый, листы 123, 124, показания Автора Слова),

но и еще более гнусное поведение его и его княжеского отпрыска в плену. Бытовые условия, в которых они оба содержались в так называемом плену, показывают, что они находились в величайшей милости у хана Кон-

чака, что объективно являлось вознаграждением им от половецкого командования за предательскую сдачу дружины.

Так, например, показаниями свидетеля Бородина установлено, что в плену у князя Игоря была своя лошадь и даже не одна:

«Хочешь, возьми коня любого!»

(там же, том первый, лист 233).

Хан Кончак при этом говорил князю Игорю:

«Все пленником себя ты тут считаешь.

А разве ты живешь как пленник, а не гость мой?»

и ниже:

«Сознайся, разве пленники так живут?»

(там же, том первый, лист 300).

Половецкий хан вскрывает всю циничность своих отношений с князем-изменником:

«За отвагу твою, да за удаль твою

Ты мне князь, полюбился»

(следственное дело, том третий, лист 5).

Более тщательным следствием вскрыто, что эти циничные отношения существовали и задолго до сражения на реке Каяле:

«Ты люб мне был всегда»

(там же, лист 14, показания свидетеля Бородина)

и даже:

«Не врагом бы твоим, а союзником верным,

А другом надежным, а братом твоим

Мне хотелось бы быть...» (там же).

Все это объективизирует обвиняемого как активного пособника хана Кончака, как давнишнего половецкого агента и шпиона.

На основании изложенного обвиняется Ольгович Игорь Святославич, 1151-го года рождения, уроженец

города Киева, русский, беспартийный, ранее не судимый, гражданин СССР, по специальности полководец, служивший командиром дружины в звании князя, награжденный орденами Варяга 1-ой степени, Красного Солнышка и медалью Золотого Щита, в том, что

он совершил гнусную измену Родине, соединенную с диверсией, шпионажем и многолетним преступным сотрудничеством с половецким ханством,

то есть в преступлениях, предусмотренных статьями 58-1, 58-6, 58-9 и 58-11 УК РСФСР.

В предъявленных обвинениях Ольгович виновным себя признал, изобличается показаниями свидетелей, поэмой и оперой.

Руководствуясь статьи 208-й УПК РСФСР настоящее дело направлено прокурору для предания обвиняемого суду».

Рубин перевел дух и торжествуяще оглядел эзков. Увлеченный потоком фантазии, он уже не мог остановиться. Смех, прокатившийся по койкам и у дверей, подстегивал его. Он уже сказал больше и острее того, что хотел бы при нескольких присутствующих здесь стукачах или при злобно настроенных людях.

Спиридон с жесткими седорыжими волосами, росшими у него безо всякой прически и догляда в сторону лба, ушей и затылка, не засмеялся ни разу. Он хмуρο взирал на суд. Пятидесятилетний русский человек, он впервые слышал об этом князе старых времен, попавшем в плен, — но в знакомой обстановке суда и непрекаемой самоуверенности прокурора он переживал еще раз все, что произошло с ним самим, и угадывал всю несправедливость доводов прокурора и всю кручинушку этого горемычного князя.

— Ввиду отсутствия обвиняемого и ненадобности допроса свидетелей, — всё также мерно-гнусаво расправлялся Нержин, — переходим к прениям сторон. Слово имеет опять же прокурор.

И покосился на Земелю.

— Конечно, конечно, — подкивнул на всё согласный заседатель.

— Товарищи судьи, — мрачно воскликнул Рубин. — Мне мало что остается добавить к той цепи страшных обвинений, к тому грязному клубку преступлений, который распутался перед вашими глазами. Во-первых, мне хотелось бы решительно отвести распространенное гнилое мнение, что раненый имеет моральное право сдать в плен. Это в корне не наш взгляд, товарищи! А тем более князь Игорь. Вот говорят, что он был ранен на поле боя. Но кто нам может это доказать теперь, через семьсот шестьдесят пять лет? Сохранилась ли справка о его ранении, подписанная дивизионным военврачом? Во всяком случае, в следственном деле такой справки не подшито, товарищи судьи!..

Амантай Булатов снял очки — и без их задорного мужественного блеска глаза его оказались совершенно печальными.

Он, и Прянчиков, и Потапов, и еще многие из столпившихся здесь были посажены за такую же «измену родине» — за добровольную сдачу в плен.

— Далее, — гремел прокурор, — мне хотелось особо оттенить отвратительное поведение обвиняемого в половецком стане. Князь Игорь думает вовсе не о Родине, а о жене:

«Ты одна, голубка-лада,
Ты одна...»

Аналитически это совершенно понятно нам, ибо Ярославна у него — жена молоденькая, вторая, на такую бабу нельзя особенно полагаться, но ведь фактически князь Игорь предстает перед нами как шкурник! А для кого плясались половецкие пляски? — спрашиваю я вас. Опять же для него! А его гнусный отпрыск тут же вступает в половую связь с Кончаков-

ной, хотя браки с иностранками нашим подданным категорически запрещены соответствующими компетентными органами! И это в момент наивысшего напряжения советско-половецких отношений, когда...

— Позвольте! — выступил от своей койки кудлатый Каган. — Откуда прокурору известно, что на Руси уже тогда была советская власть?

— Комендант! Выведите этого подкупленного агента! — постучал Нержин. Но Булатов не успел пошевелиться, как Рубин с легкостью принял нападение.

— Извольте, я отвечу! Диалектический анализ текстов убеждает нас в этом. Читайте у Автора Слова:

«Веют стяги красные в Путивле».

Кажется, ясно? Благородный князь Владимир Галицкий, начальник Путивльского райвоенкомата, собирает народное ополчение, Скулу и Ерошку на защиту родного города, — а князь Игорь тем временем рассматривает голые ноги половчанок? Оговорюсь, что все мы весьма сочувствуем этому его занятию, — но ведь Кончак предлагает ему на выбор «любую из красавиц» — так почему ж он, гад, ее не берет? Кто из присутствующих поверит, чтобы человек мог сам отказаться от бабы, а? Вот тут-то и кроется предел цинизма, до конца разоблачающий обвиняемого — это так называемый его побег из плена и его добровольное возвращение на Родину! Да кто же поверит, что человек, которому предлагали «коня любого и злата», — вдруг добровольно возвращается на родину, а это всё бросает, а? Как это может быть?..

Именно этот, именно этот вопрос задавался на следствии вернувшимся пленникам, и Спиридону задавался этот вопрос: зачем же бы ты вернулся на родину, если б тебя не завербовали?!..

— Тут может быть одно и только одно толкование:

князь Игорь был заарестован половецкой разведкой и брошен для разложения Киевского государства! Товарищи судьи! Во мне, как и в вас, кипит благородное негодование. Я гуманно требую — повесить его, сукиного сына! А поскольку смертная казнь отменена — вжарить ему двадцать пять лет и пять по рога м! Кроме того, в частном определении суда: оперу «Князь Игорь» как совершенно аморальную, как популяризирующую среди нашей молодежи изменнические настроения — со сцены снять! Свидетеля по данному вопросу Бородин А. П. привлечь к уголовной ответственности, выбрав меру пресечения — арест. И еще привлечь к ответственности аристократов: 1) Римского, 2) Корсакова, которые если бы не дописывали этой злополучной оперы, она бы не увидела сцены. Я кончил! — Рубин грузно соскочил с тумбочки. Речь уже тяготила его.

Никто не смеялся.

Пряничков, не ожидая приглашения, поднялся со стула и в глубокой тишине сказал растерянно, тихо:

— Т а н п и, господа! Т а н п и! У нас пещерный век или двадцатый? Что значит — измена? Век ядерного распада! полупроводников! электронного мозга!.. Кто имеет право судить другого человека, господа? Кто имеет право лишать его свободы?

— Простите, это уже — защита? — вежливо выступил профессор Челнов, и все обратились в его сторону. — Я хотел бы прежде в порядке прокурорского надзора добавить несколько фактов, упущенных моим достойным коллегой, и...

— Конечно, конечно, Владимир Эрастович! — поддержал Нержин. — Мы всегда за обвинение, мы всегда — против защиты и готовы идти на любую ломку судебного порядка. Просим!

Сдержанная улыбка изгибала губы профессора Челнова. Он говорил совсем тихо — и потому только было его хорошо слышно, что его слушали почтитель-

но. Выблекшие глаза его смотрели как-то мимо присутствующих, словно перед ним перелистывались летописи. Шишачок на его шерстяной шапочке еще заострял его лицо и придавал ему настороженность.

— Я хочу указать, — сказал профессор математики, — что князь Игорь был бы разоблачен еще до назначения полководцем при первом же заполнении нашей спецанкеты. Его мать была половчанка, дочь половецкого князя. Сам по крови наполовину половец, князь Игорь долгие годы и союзничал с половцами. «Союзником верным и другом надежным» для Кончака он уже был до похода! В 1180-м году, разбитый мономаховичами, он бежал от них в общей лодке с ханом Кончаком! Позже Святослав и Рюрик Ростиславич звали Игоря в большие общерусские походы против половцев — но Игорь уклонился под предлогом гололедицы — «бяшеть серен велик». Может быть потому, что уже тогда Свобода Кончаковна была просватана за Владимира Игоревича? В рассматриваемом 1185-м году, наконец, — кто помог Игорю бежать из плена? Половец же! Половец Овлур, которого Игорь затем «учинил вельможею». А Кончаковна привезла потом Игорю внука... За укрытие этих фактов я предлагал бы привлечь к ответственности еще и Автора Слова, затем музыкального критика Стасова, проглядевшего изменнические тенденции в опере Бородина, ну и, наконец, графа Мусина-Пушкина, ибо не мог же он быть непричастен к сожжению единственной рукописи Слова? Явно, что кто-то, кому это выгодно, заметал следы.

И Челнов отступил, показывая, что он кончил.

Всё та же слабая улыбка была на его губах.

Молчали.

— Но кто же будет защищать подсудимого. Ведь человек нуждается в защите! — возмутился Исаак Каган.

— Нечего его, гада, защищать! — крикнул Двое-тёсов. — Один бэ — и к стенке!

Сологдин хмурился. Очень смешно было, что говорил Рубин, а знания Челнова он тем более уважал, но князь Игорь был слава русской истории, представитель рыцарского, то есть самого славного ее периода, — и потому не следовало его даже косвенно использовать для насмешек. У Сологодина образовался неприятный осадок.

— Нет, нет, как хотите, а я выступаю на защиту! — сказал осмелевший Исаак, обводя хитрым взглядом аудиторию. — Товарищи судьи! Как благородный казенный адвокат я вполне присоединяюсь ко всем доводам государственного обвинителя. — Он тянул и немного шамкал. — Моя совесть подсказывает мне, что князя Игоря не только надо повесить, но и четвертовать. Верно, в нашем гуманном законодательстве вот уже третий год нет смертной казни, и мы вынуждены заменять ее. Однако мне непонятно, почему прокурор так подозрительно мягкосердечен? (Тут надо проверить и прокурора!) Почему по лестнице наказаний он спускается сразу на две ступеньки — и доходит до двадцати пяти лет каторжных работ? Ведь в нашем уголовном кодексе есть наказание, лишь немногим отличающееся от смертной казни, наказание, гораздо более страшное, чем двадцать пять лет каторжных работ.

Исаак медлил, чтоб вызвать тем большее впечатление.

— Какое же, Исаак? — кричали ему нетерпеливо. Тем медленнее, с тем более наивным видом он ответил: — Статья 20-я, пункт «а».

Сколько сидело их здесь, с богатым тюремным опытом, никто никогда не слышал о такой статье. Докопался дотошный!

— Что ж она гласит? — вскрикивали со всех сторон непристойные предположения. — Вырезать...?

— Почти, почти, — невозмутимо подтверждал

Исаак. — Именно, духовно кастрировать. Статья 20-я, пункт «а» — объявить врагом трудящихся и изгнать из пределов СССР! Пусть там, на Западе, хоть подохнет! Я кончил.

И скромно, держа голову на бок, маленький, кудлатый, отошел к своей кровати.

Взрыв хохота потряс комнату.

— Как? Как? — заревел, захлебнувшись Хоробров, а клиент его подскочил от рывка машинки. — Изгнать? И есть такой пункт?

— Проси утяжелить? Проси утяжелить наказание! — кричали ему.

Мужик Спиридон улыбался лукаво.

Все разом говорили и разбредались.

Рубин опять лежал на животе, стараясь вникнуть в монголо-финский словарь. Он проклинал свою дурацкую манеру выскакивать, он стыдился сыгранной им роли.

КОНЧАЯ ДВАДЦАТЫЙ...

А Адамсон, все так же прижавшись плечом и щекою ко взбитой подушке, глотал и глотал «Монте-Кристо». Он лежал спиной к происходящему в комнате. Никакая комедия суда уже не могла занять его. Он только слегка обернул голову, когда говорил Челнов, потому что подробности оказались для него новы.

За двадцать лет ссылок, пересылок, следственных тюрем, изоляторов, лагерей и шарашек, Адамсон, когда-то нехрипнувший, легко будоражимый оратор, стал бесчувствен, стал чужд страданиям своим и окружающих.

Разыгранный сейчас в комнате судебный процесс был посвящен судьбе пленников, то есть, советских солдат, сперва бездарно отданных генералами в плен, потом равнодушно покинутых Сталиным на растерзание голоду. Пленники — это был поток сорок пятого — сорок шестого годов. Адамсон теоретически мог признать и признавал трагичность их судьбы, но все же это был лишь поток — один из многих и не самых замечательных. Пленники любопытны были тем, что повидали многие заморские страны («живые лжесвидетели», как шутил Потапов), но все же поток их был сер, это были беспомощные жертвы войны, а не люди, которые бы добровольно избрали политическую борьбу путем своей жизни.

Всякий поток эков в НКВД, как и всякое поколение людей на земле, имеет свою историю, своих героев. И трудно одному поколению понять другое.

Адамсону казалось, что эти люди не шли ни в какое сравнение с теми — с теми исполинами, кто, как он сам, в конце двадцатых годов добровольно избирали енисейскую ссылку вместо того, чтоб отречься от своих слов, сказанных на партсобрании, и остаться в благополучии — такой выбор давался каждому из них. Те люди не могли снести искажения и опозорения революции и готовы были отдать себя для очищения ее. Но это «племя младое, незнакомое» через тридцать лет после Октября входило в камеру и с мужицким матом запросто повторяло то самое, за что полагалось расстреливать еще в гражданскую войну.

И потому Адамсон, ни к кому лично из пленников не враждебный и ни с кем отдельно из них не спорящий, в общем не принимал этой породы.

Да и вообще Адамсон (как он сам себя уверял) давно переболел всякими арестантскими спорами, исповедями и рассказами о виденных событиях. Любопытство к тому, что говорят в другом углу камеры, если и испытывал он в молодости, то потерял давно.

Жить производством он тоже давно отгорел. Жить жизнью семьи он не мог, потому что был иногородний, свиданий ему никогда не давали, а подцензурные письма, приходившие на шарашку, были еще писавшими их невольно обеднены и высушены от соков живого бытия. Не задерживал он своего внимания и на газетах — смысл всякой газеты становился ему ясен, едва он пробежал заголовки. Музыкальные передачи он мог слушать в день не более часа, а передач, состоящих из слов, его нервы вовсе не выносили, как и лживых книг. И хотя внутри себя, где-то там, за семью перегородками, он сохранил не только живой, но самый болезненный интерес к мировым судьбам и к судьбе того учения, которому заклал свою жизнь, — наружно он воспитал себя в полном пренебрежении окружающим. Так вовремя недострелянный, вовремя недоморенный, вовремя недотравленный Адамсон любил теперь из книг не те, которых жгли правдой, а те, которые забавляли и помогали коротать его нескончаемые тюремные сроки.

...Да, в енисейской тайге в двадцать девятом году они не читали «Монте-Кристо»... На Анггару, в далекое глухое село Дошаны, куда вел через тайгу трехсотверстный санный путь, они, из мест еще на сотню верст глуше, собирались под видом встречи Нового Года на конференцию ссыльных с обсуждением международного и внутреннего положения страны. Морозы стояли за пятьдесят. Железная «буржуйка» из угла никак не могла обогреть чересчур просторной сибирской избы с разрушенной русской печью (за то изба и была отдана ссыльным). Стены избы промерзли насквозь. Среди ночной тишины время от времени брёвна сруба издавали гулкий треск — как ружейный выстрел.

Докладом о политике партии в деревне конференцию открыл Сатаневич. Он снял шапку, освободив колышавшийся черный чуб, но так и остался в полушубке с вечно торчащей из кармана книжечкой английских

идиом («врага надо знать» — объяснял он). Сатаневич вообще играл под лидера. Расстреляли его потом, кажется на Воркуте во время забастовки. Но, увы, чем страстнее обсуждались его и другие доклады, тем больше расстраивалось единство утлой кучки ссыльных: выявлялось мнений не два и не три, а столько, сколько людей. Под утро, уставши, официальную часть конференции свернули, не придя к резолюции.

Потом ели и пили из казенной посуды, для убранства обложенной еловыми ветками по грубым выдолбленным и рваным волокнам стола. Оттаявшие ветки пахли снегом и смолой, кололи руки. Пили самогон. Поднимая тосты, клялись, что из присутствующих никто никогда не подпишет капитулянтского отречения.

Потом пели славные революционные песни: «Варшавянку», «Над миром наше знамя реет», «Черного барона».

Еще спорили о чем попало, по мелочам.

Роза, работница с харьковской табачной фабрики, сидела на перине (с Украины привезла ее в Сибирь и очень этим гордилась), курила папиросу за папиросой и презрительно встряхивала стриженными кудрями: «Терпеть не могу интеллигенции! Она отвратительна мне во всех своих «тонкостях» и «сложностях». Человеческая психология гораздо проще, чем ее хотели изобразить дореволюционные писатели. Наша задача — освободить человечество от духовной перегрузки!»

И как-то дошли до женских украшений. Один из ссыльных — Патрушев, бывший одесский прокурор, к которому как раз незадолго приехала невеста из России, вызывающе воскликнул: «Зачем вы обедняете будущее общество? Почему бы мне не мечтать о том времени, когда каждая девушка сможет носить жемчуга? когда каждый мужчина сможет украсить диадемой голову своей избранницы?»

Какой поднялся шум! С какой яростью захлестали

цитатами из Маркса и Плеханова, из Кампанеллы и Фейербаха.

Будущее общество!.. О нем говорили так легко!..

Взошло солнце Нового, Девятьсот Тридцатого года, и все вышли полюбоваться. Было ядрёное морозное утро со столбами розового дыма прямо вверх, в розовое небо. По белой просторной Ангаре к обсаженной ёлками проруби бабы гнали скот на водопой. Мужиков и лошадей не было — их угнали на лесозаготовки.

И прошло два десятилетия. Отцвела и опала злободневность тогдашних тостов. Расстреляли и тех, кто был тверд до конца. Расстреляли и тех, кто капитулировал. И только в одинокой голове Адамсона, уцелевшей под оранжерейным колпаком шарашек, выросло никому не видимым древом понимание и память тех лет...

Так глаза Адамсона смотрели в книгу и не читали.

И тут на край его койки присел Нержин.

Нержин и Адамсон познакомились года три назад в бутырской камере — той же, где сидел и Потапов. Адамсон кончил тогда свою первую тюремную десятку, поражал однокамерников своим ледяным арестантским авторитетом, укоренелым скепсисом в тюремных делах, сам же, скрыто, жил безумной надеждой на близкий возврат к семье.

Разъехались. Адамсона вскоре-таки по недосмотру освободили — но ровно на столько времени, чтобы семья стронулась с места и переехала в Стерлитамак, где милиция согласилась прописать Адамсона. И как только семья переехала, — его посадили, учинили ему единственный допрос — действительно ли это он был в ссылке с 29-го по 34-й год, а с тех пор сидел в тюрьме. И установив, что да, он уже полностью отсидел, отбыл и даже пересидел всё приговорённое, — Особое Собрание присудило ему за это еще десять лет. Руководство же шарашек по большой всесоюзной арестантской картотеке узнало о посадке своего старого

работника и охотно выдернуло его вновь на шарашки. Адамсон был привезен в Маврино и здесь, как и повсюду в арестантском мире, сразу встретил своих старых знакомых, в том числе Нержина и Потапова. И когда, встретясь, они стояли и курили на лестнице, Адамсону казалось, что он не возвращался на год на волю, что он не видел своей семьи, не наградил жену за это время еще дочерью, что это был сон, безжалостный к арестантскому сердцу, единственная же устойчивая в мире реальность — тюрьма.

Теперь Нержин подсел, чтобы пригласить Адамсона к именинному столу, — решено было праздновать день рождения. Адамсон запоздало поздравил Нержина и осведомился, косясь из-под очков, — кто будет. От сознания, что придется натягивать комбинезон, разрушая так чудесно, последовательно, в одном белье проведенное воскресенье, что нужно бросать забавную книгу и идти на какие-то именины, Адамсон не испытывал ни малейшего удовольствия. Главное, он не надеялся, что приятно проведет там время, а почти был уверен, что вспыхнет политический спор, и будет он, как всегда, бесплоден, небогащающ, но в него нельзя будет не ввязаться, а ввязываться тоже нельзя, потому что свои глубоко-хранимые, столько раз оскорбленные мысли так же невозможно открыть «молодым» арестантам, как показать им свою жену обнаженной.

Нержин перечислил, кто будет. Рубин один был на шарашке по-настоящему близок Адамсону, и еще предстояло отчитать его за сегодняшней не достойный истинного коммуниста фарс. Напротив, Сологодина и Пряничкова Адамсон не любил.

Но делать было нечего, Адамсон согласился. Ему было объявлено, что пиршество начнется между кроватями Потапова и Пряничкова через полчаса, как только Андреич кончит приготовление крема.

Между разговором Нержин обнаружил, что читает Адамсон, и сказал:

— Мне в тюрьме тоже пришлось как-то перечесть «Монте-Кристо», не до конца. Я обратил внимание, что хотя Дюма старается создать ощущение жути, он рисует в замке Иф совершенно патриархальную тюрьму. Не говоря уже о нарушении таких милых подробностей, как ежедневный вынос параша из камеры, о чем Дюма по вольняшечьему недомыслию умалчивает, — разберите, почему Дантес смог убежать? Потому что у них годами не бывало в камерах шмонов, тогда как их полагается производить каждую неделю, и вот результат: подкоп не был обнаружен. Затем у них не меняли приставленных вертухаев — их же следует, как мы знаем из лучшего опыта, менять каждые два часа, чтобы один надзиратель искал упущений у другого. А в замке Иф по суткам в камеру не входят и не заглядывают. Даже глазков у них в камерах не было — так Иф был не тюрьма, а просто морской курорт. В камере считалось возможным оставить металлическую кастрюлю — и Дантес долбал ею пол. Наконец, умершего доверчиво зашивали в мешок, не прожегши его тело в морге калёным железом и не проколов на вахте штыком. Дюма следовало бы сгущать не мрачность, а элементарную методичность.

Нержин никогда не читал книг просто для развлечения. Он искал в книгах союзников или врагов, по каждой книге выносил четко-разработанный приговор и любил навязывать его другим.

Адамсон знал за ним эту тяжелую привычку. Он выслушал его, не поднимая головы с подушки, покойно глядя через квадратные очки.

— Так я приду, — ответил он и, улегшись поудобнее, продолжал чтение.

АРЕСТАНТСКИЕ МЕЛОЧИ

Нержин пошел помогать Потапову готовить крем. За голодные годы немецкого плена и советских тюрем Потапов установил, что жевательный процесс является в нашей жизни не только не презренным, не постыдным, но одним из самых усладительных, в которых нам и открывается сущность бытия.

«Люблю я час
Определять обедом, чаем
И ужином»,

— цитировал этот недюжинный в России высоковольтник, отдавший всю жизнь трансформаторам в тысячи ква, ква и ква.

А так как Потапов был из тех инженеров, у которых руки не отстают от головы, то он быстро стал изрядным поваром: в Kriegsgefangenenlager'e он выпекал оранжевый торт из одной картофельной шелухи, а на шарашке сосредоточился и усовершенствовался по сладостям.

Сейчас он хлопотал над двумя составленными тумбочками в полутемном проходе между своей кроватью и кроватью Прянчикова — приятный полумрак создавался от того, что верхние матрасы загораживали свет ламп. Из-за полукруглости комнаты (кровати стояли по радиусам) проход был в начале узок, а к окну расширялся. Огромный, в четыре с половиной кирпича толщиной, подоконник тоже весь использовался Потаповым, всюду были расставлены консервные банки, пластмассовые коробочки, миски. Потапов священнодействовал, сбивая из сгущенного какао и двух яиц (часть даров принес и всучил Рубин, постоянно полу-

чавший из дома передачи и всегда делившийся ими) — нечто, чему не было названия на человеческом языке. Он забурчал на загулявшего Нержина и велел ему изобрести недостающие рюмки (одна была — колпачок от термоса, две — лабораторные химические стаканчики; а две Потапов склеил из промасленной бумаги, вроде тех, в которые кладут на воле мороженое). Еще на два бокала Нержин предложил повернуть бритвенные стаканчики и взялся честно отмыть их горячей водой.

В полукруглой комнате установился безмятежный воскресный отдых. Одни присели поболтать на кровати к своим лежащим товарищам, другие читали и по соседству перебрасывались замечаниями, иные лежали молча, бездейственно, положив руки под затылок и установив немигающий взгляд в белый потолок.

Всё смешивалось в одну общую разноголосицу.

Вакуумщик Земеля нежился: на верхней полке он лежал разобранный до кальсон (наверху было жарковато), гладил мохнатую грудь и, улыбаясь своей неизменной беззлой улыбкой, повествовал Мордвину Мишке через два воздушных пролёта:

— Если хочешь знать — всё началось с полкопейки.

— Почему с полкопейки?

— Раньше, году в двадцать шестом, в двадцать восьмом, — ты маленький был, — над каждой кассой висела табличка: «Требуется сдача полкопейки!» И монетка такая была — полкопейки. Кассирши ее без слова отдавали. Вообще на дворе был НЭП, всё равно, что мирное время.

— Войны не было?

— Да не войны, вот чушка! Это до всех войн еще было, значит, — мирное время. Да... В учреждениях при НЭПе шесть часов работали, не как сейчас. И ничего, справлялись. А задержат тебя на пятнадцать минут — уже сверхурочные выписывают. И вот, что

ты думаешь сперва исчезло? Полкопейки! С них и началось. Потом — медь исчезла. Потом, в тридцатом году, — серебро, не стало мелких совсем. Не дают сдачу, хоть тресни. С тех пор никак и не наладится. Мелочи нет — стали на рубли считать. Нищий-то уж не копейку Христа ради просит, а требует — «Граждане, дайте рубль!» — В учреждении как зарплату получать, так сколько там тебе в ведомости копеек указано, — даже не спрашивай, смеются: мелочник! А сами — дураки! Полкопейки — это уважение к человеку, а шестьдесят копеек с рубля не сдают — это значит накатать тебе на голову. За полкопейки не постояли — вот полжизни и потеряли.

В другой стороне, — тоже наверху, один арестант отвлекся от книжки и сказал соседу:

— А дурное было царское правительство! Слышь, — Сашенька, революционерка, восемь суток голодала, чтобы начальник тюрьмы перед ней извинился, — и он, остолоп, извинился. А ну, пойди потребуй, чтоб начальник Красной Пресни извинился!

— У нас бы её, дуру, через кишку на третий день накормили, да еще второй срок бы наметали за провокацию. Где это ты вычитал?

— У Горького.

Лежавший неподалеку Двоетёсов встрепенулся:

— Кто тут Горького читает? — грозным басом спросил он.

— Я.

— На кой?

— А вот, например, фактические подробности о нижегородской тюрьме: можно приставить лестницу к стене и перелезть, никто не задерживает, представляешь? А у надзирателей, свидетельствует автор, револьверы поржавели, они ими только гвозди в стенку вколачивают. Весьма поучительно узнать.

Внизу, под ними, шел извечный камерный спор: когда лучше садиться? Постановка вопроса

уже фатально предполагала, что тюрьмы не избежать никому. (В тюрьме вообще склонны преувеличивать число заключенных, и когда на самом деле сидело всего лишь двенадцать-пятнадцать миллионов человек, зэки были уверены, что их — двадцать или даже тридцать миллионов. Зэки были уверены, что на воле почти не осталось мужчин.) «Когда лучше садиться?» — имелось в виду: в молодости или в преклонные годы? Одни (обычно — молодые) жизнерадостно доказывают в таких случаях, что лучше сесть в молодые годы: здесь успеваешь понять, что значит жизнь, что в жизни дорого, а что дерьмо, и уж лет с тридцати пяти, отбухав десятку, человек строит жизнь на разумных основаниях. Человек же, дескать, садящийся в старости, только рвет на себе волосы, что жил не так, что прожитая жизнь — цепь ошибок, а исправить их уже нельзя. Другие (обычно — пожилые) в таких случаях не менее жизнеутверждающе доказывают, напротив, что садящийся к старости переходит как бы на тихую пенсию или в монастырь, что в лучшие свои годы он брал от жизни всё (в воспоминаниях зэков это «всё» суживается до обладания женским телом, хорошими костюмами, сытной едой и вином), а в лагере со старика много шкур не сдерут. Молодого же, дескать, здесь измочалят и искалечат так, что потом он «и на бабу не захочет».

Так спорили сегодня в полукруглой комнате, и так всегда спорят арестанты, кто — утешая себя, кто — растравляя, но истина никак не вышелушивалась из их аргументов и живых примеров. В воскресенье вечером получалось, что садиться всегда хорошо, а когда вставали в понедельник утром — ясно было, что садиться — всегда плохо.

А ведь и это тоже неверно...

Спор «когда лучше садиться?» принадлежал, однако, к тем, которые не раздражают спорщиков, а умиряют их, осеняют философской грустью, этот спор никогда и нигде не приводил ко взрывам.

Томас Гоббс как-то сказал, что за истину «сумма углов треугольника равна ста восьмидесяти градусам» лилась бы кровь лишь в том случае, если бы она задевала чьи-либо интересы.

Но Гоббс не знал арестантского характера.

На крайней койке у дверей шел как раз тот спор, который мог привести к мордобою или кровопролитию, хотя он не задевал ничьих интересов: к электрику пришел токарь, чтобы скоротать вечерок с приятелем, речь у них зашла почему-то о Сестрорецке, а потом — о печах, которыми отапливаются сестрорецкие дома. Токарь сам жил в Сестрорецке одну зиму и хорошо помнил, какие там печи. Электрик сам никогда там не был, но шурин его был печником, первоклассным печником, и выкладывал печи именно в Сестрорецке, и он рассказывал как раз все обратное тому, что помнил токарь. Спор их, начавшийся с простого пререкания, уже дошел до дрожи голоса, до личных оскорблений, он уже громкостью затоплял все разговоры в комнате — спорщики переживали обидное бессилие доказать несомненность своей правоты, они тщетно пытались искать третейского суда окружающих — и вдруг вспомнили, что дворник Спиридон хорошо разбирается в печах и во всяком случае скажет другому из них, что таких несусветных печей не то что в Сестрорецке, а и вообще нигде никогда не бывает. И они быстрым шагом, к удовольствию всей комнаты, ушли к дворнику.

Но в горячности они забыли закрыть за собой дверь — и из коридора ворвался в комнату другой, не менее надрывный, спор — когда правильно встречать вторую половину XX столетия: 1 января 1950 года или 1 января 1951 года? Спор уже, видно, начался давно и уперся в вопрос: 25 декабря какого именно года родился или условно родился Христос.

Дверь прихлопнули. Перестала распухать от шума голова, в комнате стало тихо и слышно, как Хоробров рассказывал наверх лысому конструктору:

— Когда наши будут начинать первый полет на Луну, то перед стартом, около ракеты, будет, конечно, митинг. Экипаж ракеты возьмет на себя обязательство: экономить горючее, перекрыть в полете максимальную космическую скорость, не останавливать межпланетного корабля для ремонта в пути, а на Луне совершить посадку только на «хорошо» и на «отлично». Из трех членов экипажа один будет политрук. В пути он будет непрерывно вести среди пилота и штурмана массово-разъяснительную работу о пользе космических рейсов и требовать заметок в стенгазету.

Это услышал Пряничков, который с полотенцем и мылом пробегал по комнате. Он балетным движением подскочил к Хороброву и, таинственно хмурясь, сказал:

— Илья Терентьич! Я могу вас успокоить. Будет не так.

— А как?

Пряничков, как в детективном фильме, приложил палец к губам:

— Первыми на Луну полетят — американцы!

Залился колокольчатым детским смехом.

И убежал.

Гравер сидел на кровати у Сологодина. Они вели затягивающий разговор о женщинах. Гравер был сорока лет, но при еще молодом лице почти совсем седой. Это очень красило его.

Сегодня гравер находился на взлёте. Правда, утром он сделал ошибку: съел свою новеллу, скатанную в комок, хотя, оказалось, мог пронести ее через шмон и мог передать жене. Но зато на свидании он узнал, что за эти месяцы жена показала его прошлые новеллы некоторым доверенным людям и все они — в восторге. Конечно, похвалы знакомых и родных могли быть преувеличенными и отчасти несправедливыми, но заклятье! — где ж было добыть справедливые? Худо ли, хорошо ли, но гравер сохранял для вечности правду

— крики души о том, что сделал Сталин с миллионами русских пленников. И сейчас он был горд, рад, наполнен этим и твердо решил продолжать с новеллами дальше! Да и само свидание сегодняшнее прошло у него удачно: преданная ему жена ждала его, хлопотала об его освобождении, и скоро должны были вывиться успешные результаты хлопот.

И, ища выход своему торжеству, он вел длинный рассказ этому неглупому, но совершенно среднему человеку Сологдину, у которого ни впереди, ни позади ничего не было столь яркого, как у него.

Сологдин лежал на спине врастяжку с опрокинутой пустой книжонкой на груди и отпускал рассказчику немного сверкания своего взгляда. С чуть курчавящейся белокурой бородкой, ясными глазами, высоким лбом, прямыми чертами древнерусского витязя, Сологдин был неестественно, до неприличия хорош собой.

Сегодня он находился на взлёте. В груди его пела радость победы над абсолютным шифратором. Освобождение его было теперь вопросом одного года (... то есть, было бы, если бы он решился дать шифратор Антону...). Кружительная карьера могла ожидать его вслед за освобождением. Вдобавок, тело его сегодня не томилось по женщине, как всегда, а было успокоено, как бы вызорено от мути. Хотя он ставил себе штрафные палочки на розовом листе, хотя он отталкивал Ларису, но сейчас, вечером, растянувшись на койке, Сологдин сознавал, что именно этого он и хотел от нее.

И, ища выход своему торжеству, он, забавы ради, лениво скользил по извивам чьей-то чужой, безразличной для него истории, рассказываемой этим неглупым, но совершенно средним человеком, у которого ни впереди, ни позади не было ничего столь яркого, как у Сологодина.

Сологдин не уставал всем и каждому повторять о себе, что у него слабая память, ограниченные способно-

сти и полное отсутствие воли. Но что он на самом деле думал о себе — можно было догадаться не по тому, что он говорил, а по тому, как он людей слушал: он слушал их так, будто тем самым покровительствовал им и лишь из вежливости старался не подать виду.

Сперва гравер рассказывал о двух своих женах в России, потом стал вспоминать жизнь в Германии и прелестных немочек, с которыми он был там близок. Он провел новое для Солодина сравнение между женщинами русскими и немецкими. Он говорил, что, пожив с теми и другими, предпочитает немочек; что русские женщины слишком самостоятельны, независимы, слишком пристальны в любви — своими недремлющими глазами они все время изучают возлюбленного, узнают его слабые стороны, то видят в нем недостаточное благородство, то недостаточное мужество, — русскую возлюбленную ощущаешь как равную тебе; наоборот, немка в руках любимого гнется как тростиночка, ее возлюбленный для нее — бог, он — первый и лучший на земле, вся она отдается на его милость, она не смеет мечтать ни о чем, кроме как угодить ему, — и от этого с немками гравер чувствовал себя более мужчиной, более властелином.

Рубин имел неосторожность выйти в коридор покурить. Но, как каждый прохожий цепляет горох в поле, так все задирали его на шарашке. Отплевавшись от бесполезного спора в коридоре, он пересекал комнату, спеша к своим книгам, но кто-то с нижней койки схватил его за брюки и спросил:

— Лев Григорьевич! А правда, что в Китае письма доносчиков доходят без марок?

Рубин вырвался, пошел дальше. Но инженер-энергетик, свесившись с верхней койки, поймал Рубина за воротник комбинезона и стал напористо втолковывать ему окончание их прежнего спора:

— Лев Григорьевич! Надо так перестроить совесть человечества, чтобы люди гордились только трудом

собственных рук и стыдились бы быть надсмотрщиками, указчиками, трепачами... Пусть выход девушки замуж за чиновника станет стыдом всей семьи — вот при таком социализме я согласился бы жить!

Рубин освободил воротник, прорвался к своей постели и лег на живот, снова к словарям.

53

ЛИЦЕЙСКИЙ СТОЛ

Семь человек расселись за именинным столом, состоявшим из трех составленных вместе тумбочек неодинаковой высоты и застеленных куском ярко-зеленой трофейной бумаги. Сологдин и Рубин сели на кровать к Потапову, Адамсон и Кондрашёв — к Пряничкову, а именинник уселся у торца стола, на широком подоконнике. Наверху над ними дремал Земеля, остальные соседи были не рядом. Купе между двухэтажными кроватями было как бы отъединено от комнаты.

В середине стола в пластмассовой миске разложен был Надин хворост — невиданное на шарашке изделие. Для семерых мужских ртов его казалось до смешного мало. Потом было печенье просто и печенье с намазанным на него кремом и потому называвшееся пирожным. Еще была сливочная тянучка, полученная кипячением нераспечатанной банки сгущенного молока. А за спиной Нержина в темной литровой банке таилось то привлекательное нечто, для чего предназначались бокалы. Это была толика спирта, вымененная у эков химической лаборатории на кусок «классного» гетинакса. Спирт был разбавлен водой в пропорции один к четырем, а потом закрасен сгущенным какао. Это

была коричневатая малоалкогольная жидкость, которая, однако, с нетерпением ожидалась.

— А что, господа? — картинно откинувшись и даже в полутьме купе блестя глазами, призвал Сологдин. — Давайте вспомним, кто из нас и когда сидел в последний раз за пиршественным столом.

— Я — вчера, с немцами, — буркнул Рубин, не любя пафоса.

Что Сологдин называл всегда общество господами, Рубин принимал как результат его ушибленности двенадцатью годами тюрьмы. От той же ушибленности и понятия Сологдина были извращенные во многом, — Рубин старался всегда это помнить и не вспыхивать, хотя слушать приходилось вещи диковатые.

— Не-ет, — настаивал Сологдин. — Я имею в виду настоящий стол, господа! Его признаки — тяжелая бледноцветная скатерть, вино в графинах из хрустала, ну, и нарядные женщины, конечно!

Ему хотелось посмаковать и отодвинуть начало пира, но Потапов ревнивым проверяющим взглядом хозяйки дома окинул стол и гостей и в своей ворчливой манере перебил:

— Вы ж понимаете, хлопцы, пока

Гроза полуночных дозоров не накрыл нас с этим зельем, надо переходить к официальной части.

И дал знак Нержину разливать.

Все же, пока вино разливалось, молчали, и каждый невольно что-то вспомнил.

— Давно, — вздохнул Нержин.

— Вообще, не при-по-ми-на-ю! — отряхнулся Потапов. До войны в круговоротном бешенстве работы он, если и вспоминал смутно чью-то один раз женитьбу, — не мог точно сказать, была ли это женитьба его собственная или то было в гостях.

— Нет почему же? — оживился Пряничков — А век плезир! Я вам сейчас расскажу. В сорок пятом году в Париже я...

— Подождите, Валентуля — придержал Потапов, — итак...?

— За виновника нашего сборища! — громче, чем нужно, произнес Кондрашѐв-Иванов и выпрямился, хотя сидел без того прямо. — Да будет...

Но гости еще не потянулись к бокалам, как Нержин привстал — у него было чуть простора у окна — и предупредил их тихо...

— Друзья мои! Простите, я нарушу традицию! Я...

Он перевел дыхание, потому что заволновался. Семь теплот, проступившие в семи парах глаз, что-то спаяли внутри него.

— Будем справедливы! Не всё так черно в нашей жизни! Вот именно этого вида счастья — мужского вольного лицейского стола, обмена свободными мыслями без боязни, без укрыва — этого счастья ведь не было у нас на воле?

— Да, собственно, самой-то воли частенько не было, — усмехнулся Адамсон. Если не считать детства, он-таки провел на воле меньшую часть жизни.

— Друзья! — увлекся Нержин. — Мне тридцать один год. За эти годы жизнь меня уже и баловала, и низвергала. И по закону синусоидальности будут у меня, может быть, и еще всплески пустого успеха, ложного величия. Но клянусь вам, я никогда не забуду того истинного величия человека, которое узнал в тюрьме! Я горжусь, что мой сегодняшний скромный юбилей собрал такое отобранное общество. Не будем бояться возвышенного тона. Поднимем тост за дружбу, расцветающую в тюремных склепах!

Бумажные стаканчики беззвучно чокались со стеклянными и пластмассовыми. Потапов виновато усмех-

нулся, поправил простенькие свои очки и, выделяя слоги, сказал:

Ви-тий-ством резким знамениты,
Сбирались члены сей семьи
У беспокойного Ни-ки-ты,
У осторожного И-льи.

Коричневое вино пили медленно, стараясь дождаться аромата.

— А градус — есть! — одобрил Рубин. — Браво, Андреич!

— Градус есть, — подтвердил и Сологдин. Он был сегодня в настроении все хвалить.

Нержин засмеялся.

— Редчайший случай, когда Лев и Митя сходятся во мнениях! Не упомяну другого.

— Нет, почему, Глебушка? А помнишь, как-то на Новый год мы со Львом сошлись, что жене простить измену нельзя, а мужу можно?

Адамсон устало усмехнулся:

— Увы, кто ж из мужчин на этом не сойдется?

— А вот этот экземпляр, — Рубин показал на Нержина, — утверждал тогда, что можно простить и женщине, что разницы здесь нет.

— Вы говорили так? — быстро спросил Кондрашев.

— Ой, пижон! — звонко рассмеялся Пряничков. — Как же можно сравнивать?

— Само устройство тела и способ соединения доказывает, что разница здесь огромная! — воскликнул Сологдин.

— Не вините меня, друзья, — оправдывался Нержин, — ведь когда я рос, над нашими головами трепыхались кумачи с золотыми надписями Р а в е н с т в о ! С тех пор, конечно, жизнь достаточно была дурня по голове, но тогда казалось: если равны нации, равны люди, то ведь и женщина с мужчиной — во всем?

— Вас никто не винит! — так же быстро сказал Кондрашев. — Не спешите сдаваться!

— Этот бред тебе можно простить только за твой юный возраст, — присудил Сологдин. (Он был на пять лет старше.)

— Теоретически Глебка прав, — стесненно сказал Рубин. — Я тоже готов сломать сто тысяч копий за равенство мужчины и женщины, — но обнять свою жену после того, как ее обнимал другой? — бр-р! биологически не могу!

— Да, господа, просто смешно обсуждать! — выкрикнул Пряничков, но ему, как всегда, не дали договорить.

— Лев Григорьич, есть простой выход, — твердо возразил Потапов. — Не обнимайте вы сами никого, кроме вашей жены!

— Ну, знаете... — беспомощно развел Рубин руками, топя широкую улыбку в пиратской бороде.

Шумно открылась дверь, кто-то вошел. Потапов и Адамсон оглянулись. Нет, это был не надзиратель.

— А Карфаген должен быть уничтожен? — кивнул Адамсон на литровую банку.

— И чем быстрее, тем лучше. Кому охота сидеть в карцере? Викентьич, разливайте!

Нержин разлил остаток, скрупулёзно соблюдая равенство объемов.

— Ну, на этот раз вы разрешите выпить за именинника? — спросил Адамсон.

— Нет, братцы. Право именинника я использую только, чтобы нарушать традицию. Я... видел сегодня жену. И увидел в ней... всех наших жен, измученных, запуганных, затравленных. Мы терпим потому, что нам деться некуда, — а они? Выпьем — за них, приковавших себя к...

— Да! Какой святой подвиг! — воскликнул Кондрашев.

Выпили.

И немного помолчали.

— А снег-то! — заметил Адамсон.

Все оглянулись. За спиною Нержина, за отуманенными стеклами, не было видно самого снега, но мелькало много черных хлопьев — теней от снежинок, отбрасываемых на тюрьму фонарями и прожекторами зоны.

Где-то за завесой этого щедрого снегопада была сейчас и Надя Нержина.

— Даже снег нам суждено видеть не белым, а черным! — воскликнул Кондрашев.

— За дружбу выпили. За любовь выпили. Бесмертно и хорошо, — похвалил Рубин.

— В любви-то я никогда не сомневался. Но, сказать по правде, до фронта и до тюрьмы не верил я в дружбу, особенно такую, когда, знаете,... «жизнь свою за други своя». Как-то в обычной жизни — семья есть, а дружбе нет места, а?

— Это распространенное мнение, — ответил Адамсон. — Ведь вот уже лет сто пятьдесят у нас в России популярна песня «Среди долины ровныя», ее теперь часто заказывают по радио. А вслушайтесь в ее текст — ведь это гнусное скуление, жалоба мелкой души:

«Все други, все приятели
До черного лишь дня».

— Возмутительно! — отпрянул художник. — Как можно о д и н д е н ь прожить с такими мыслями? Повеситься надо!

— Верно было бы сказать наоборот: только с черного дня и начинаются д р у г и .

— Кто ж это написал?

— Мерзляков.

— И фамилья-то! Лёвка, кто такой Мерзляков?

— Поэт, лет на двадцать старше Пушкина.

— Его биографию ты, конечно, знаешь?

— Профессор Московского университета. Перевел «Освобожденный Иерусалим».

— Скажи, чего Левка не знает? Только высшей математики.

— И низшей тоже.

— Но обязательно говорит: «вынесем за скобки», «эти недостатки в квадрате»...

— Господа! Я должен вам привести пример, что Мерзляков прав! — захлебываясь и торопясь, как ребенок за столом у взрослых, вступил Пряничков. Он ни в чем не был ниже своих собеседников, соображал мгновенно, был остроумен и привлекал открытостью. Но не было в нем мужской выдержки, внешнего достоинства, от этого он выглядел на пятнадцать лет моложе, и с ним обращались, как с подростком. — Ведь это же проверено: нас предаёт именно тот, кто с нами ест из одного котелка! У меня был близкий друг, с которым мы вместе бежали из гитлеровского концлагеря, вместе скрывались от ищеек, и представьте — именно он и продал меня!

— Какое злодейство! — воскликнул художник.

— А дело было так. Я, откровенно говоря, не хотел возвращаться. Я уже работал в фирме, деньги у меня были, девочки там...

Почти все уже слышали эту историю Пряничкова. Рубину было ясно, что веселый симпатичный Валентин Пряничков, с которым на шарашке вполне можно было дружить, был в Европе в сорок пятом году фигурой объективно реакционной, и то, что он называл предательством со стороны друга (то есть, что друг помог Пряничкову против воли вернуться на родину), было не предательством, а патриотическим долгом.

Адамсон дремал за неподвижными очками. Так он и знал, что будут эти пустые разговоры. Но ведь как-то надо было всю эту ораву загрести назад.

Рубин и Нержин, в контрразведках и тюрьмах первого послевоенного года так выварившиеся в потоке пленников, текших из Европы, будто и сами четыре года протаскались в плену, — уже тоже не интере-

совались репатриантскими рассказами. Тем дружнее на своем конце стола они натолкнули Кондрашева на разговор об искусстве. Вообще-то Рубин считал Кондрашева художником не очень значительным, человеком не очень серьезным, утверждения его — слишком внезапно-экономическими и внеисторическими, но в разговорах с ним, сам того не замечая, черпал живой водицы.

Искусство для Кондрашева не было род занятий или раздел знаний. Искусство было для него — единственный способ жить. Всё, что было вокруг него — пейзаж, предмет, человеческий характер или окраска — звучало; звучало в одной из двадцати четырех тональностей, и без колебаний Кондрашев называл эту тональность (Рубину был присвоен «до минор»). Всё, что было вокруг него — человеческий голос, минутное настроение, роман или та же тональность — имело цвет, и без колебаний Кондрашев называл этот цвет (фадиез-мажор была синяя с золотом).

Одного состояния никогда не знал Кондрашев — равнодушия. Зато известны были крайние пристрастия и противоположества его, самые непримиримые суждения. Он был поклонник Рембрандта и ниспровергатель Рафаэля. Почитатель Валентина Серова и лютей враг передвижников. Ничего не умел он воспринимать наполовину, а только безгранично восхищаться и безгранично негодовать. Он слышать не хотел о Чехове, от Чайковского отталкивался, сотрясаясь («Он душит меня! он отнимает надежду и жизнь!»), — но с хоралами Баха, но с бетховенскими концертами он так сроднен был, будто сам их и занес первый на ноты.

Сейчас Кондрашева втянули в разговор о том, надо ли в картинах следовать природе или нет.

— Например, вы хотите изобразить окно, открытое летним утром в сад, — отвечал Кондрашев. Голос его был молод, в волнении переливался, и, если закрыть глаза, можно было подумать, что спорит юноша. — Если, честно следуя природе, вы изобразите всё так, как

видите, — разве это будет всё? А пение птиц? А свежесть утра? А эта невидимая, но обливающая вас чистота? Ведь вы-то, рисуя, воспринимаете их, они входят в ваше ощущение летнего утра — как же их сохранить и в картине? как их не выбросить для зрителя? Очевидно, надо их восполнить! — композицией, цветом, ничего, ничего другого в вашем распоряжении нет.

— Значит, не просто копировать?

— Конечно, нет! Да вообще, — начинал увлекаться Кондрашев, — всякий пейзаж (и всякий портрет) начинаешь с того, что любишь натурой и думаешь: ах, как хорошо! ах, как здорово! ах, если бы удалось сделать так, как оно есть! Но углубляешься в работу и вдруг замечаешь: позвольте! позвольте! Да ведь там, в природе, просто нелепость какая-то, чушь, полное несообразие! — вот в этом месте, и еще вот в этом! А должно быть вот как! вот как!! И так пишешь! — Задорно и победно Кондрашев смотрел на собеседников.

— Но, батенька, «должно быть» — это опаснейший путь! — запротестовал Рубин. — Вы станете делать из живых людей ангелов и дьяволов, ставить их на котурны. Все-таки, если пишешь портрет Андрей Андреича Потапова, то это должен быть Потапов.

— А что значит — показать таким, какой он есть? — бунтовал художник. — Внешне — да, он должен быть похож, то есть пропорции лица, разрез глаз, цвет волос. Но не опрометчиво ли считать, что вообще можно знать и видеть действительность именно такую, какова она есть? А особенно — действительность духовную? Кто это — знает и видит?.. И если, глядя на портретируемого, я разгляжу в нем душевные возможности выше тех, которые он до сих пор проявил в жизни — почему мне не осмелиться изобразить их? помочь человеку найти себя и возвыситься?

— Да вы — стопроцентный соцреалист, слушайте! — хлопнул в ладони Нержин. — Фома просто не знает, с кем он имеет дело!

— Почему я должен преуменьшать его душу?! — грозно блеснул в полутьме Кондрашев никогда не сдвигающимися с носа очками. — Я вам больше скажу: не только портретирование, но всякое общение людей, может быть, всего-то и важней этой целью: то, что увидит и назовет один в другом, — в этом другом вызывается к жизни! А?

— Одним словом, — отмахнулся Рубин, — понятия о б ъ е к т и в н о с т и для вас и здесь, как нигде, не существует!

— Да!! Я — необъективен и горжусь этим! — гремел Кондрашев-Иванов.

— Что-о? Позвольте, как это? — ошеломился Рубин.

— Так! Так! Горжусь необъективностью! — словно наносил удары Кондрашев, и только верхняя койка над ним не давала ему простора. — А вы, Лев Григорьич, а вы? Вы тоже необъективны, но считаете себя объективным, а это гораздо хуже! Мое преимущество перед вами в том, что я необъективен — и знаю это! И ставлю себе в заслугу! И в этом мое «я»!

— Я — не объективен? — поражался Рубин. — Даже я? Кто же тогда объективен?

— Да никто! — ликовал художник. — Никто!! Никогда никто не был, и никогда никто не будет! Даже всякий акт познания имеет эмоциональную предокраску — разве не так? Истина, которая должна быть последним итогом долгих исследований, — разве эта сумеречная истина не носится перед нами еще до всяких исследований? Мы берем в руки книгу, автор кажется нам почему-то несимпатичным, — и мы еще до первой страницы предвидим, что наверное она нам не понравится, — и, конечно, она нам не нравится! Вот вы занялись сравнением ста мировых языков, вы только-только обложились словарями, вам еще на сорок лет работы, — но вы уже теперь уверены, что докажете происхождение всех слов от слова «рука». Это — объективность?

Нержин громко расхохотался над Рубиным, очень довольный. Рубин рассмеялся тоже — как было сердиться на этого чистейшего человека!

— А в общественных науках такого не бывает? — закинул Нержин.

— Дитя мое, — вразумил его Рубин. — Если бы нельзя было заранее предвидеть результат, то вряд ли возможен был бы какой-нибудь прогресс...

— Прогресс, прогресс! — проворчал Нержин. — На черта мне прогресс? Искусство мне тем и нравится, что в нем не может быть никакого «прогресса».

— Как это?

— Да так! Был в семнадцатом веке Рембрандт — и сегодня Рембрандт, пойдя перепрыгни. А техника семнадцатого века кажется нам сейчас дикарской. Или какие были технические новинки в семидесятых годах прошлого века? Для нас это детская забава. Но в те же годы написана «Анна Каренина». И что ты мне можешь предложить выше?

— Ваш аргумент, Глеб Викентьич, — вмешался Адамсон, поворачиваясь к ним от Пряничкова, — можно вывернуть и иначе. Это означает, что ученые и инженеры все эти века делали большие дела — и вот продвинулись. А снобы искусства, видимо, паясничали. А прихлебатели...

— Продавались! — воскликнул Сологдин почему-то с радостью.

И такие полюсы, как они с Адамсоном, поддавались объединению одной мыслью.

— Bravo, bravo! — кричал и Пряничков! — Парниши! Пижоны! Я ж это самое вам вчера говорил в Акустической! (Он говорил вчера о преимуществах джаза, но сейчас ему показалось, что Адамсон выражает именно его мысли.)

— Я, кажется, вас помирю! — лукаво усмехнулся Потапов. — За это столетие был один исторически достоверный случай, когда некий инженер-электрик и не-

кий математик, больно ощущая прорыв в отечественной беллетристике, сочинили вдвоем художественную новеллу. Увы, она осталась незаписанной — у них не было карандаша.

— Андреич! — вскричал Нержин. — И вы смогли бы ее воссоздать?

— Да понатужась, с вашей помощью. Ведь это был в моей жизни единственный опус. Можно бы и запомнить.

— Занятно, занятно, господа! — оживился и удобнее уселся Сологдин. Очень он любил в тюрьме вот такие придумки.

— Но вы ж понимаете, как учит нас Лев Григорьевич, никакое художественное произведение нельзя понять, не зная истории его создания и социального заказа.

— Вы делаете успехи, Андреич.

— А вы, добрые господа, доедайте пирожное, для кого готовили? История же создания такова: летом тысяча девятьсот сорок шестого года в переполненной до безобразия камере санатории Бу-Тюр (такую надпись администрация выбила на мисках, и означала она: БУ-тырская ТЮРЬма), мы лежали с Викентьевичем рядышком сперва под нарами, потом на нарах, задыхались от недостатка воздуха, постанывали от голодухи — и не имели иных занятий, кроме бесед и наблюдений за нравами. И кто-то из нас первый сказал: — А что, если бы..?

— Это вы, Андреич, первый сказали: а что, если бы..? Основной образ, вошедший и в название, во всяком случае, принадлежал вам.

— А что, если бы..? — сказали мы с Глебом Викентьевичем, — а что вдруг да если бы в нашу камеру..

— Да не томите! Как же вы назвали?

— Ну что ж,

«Не мысля гордый свет забавить»,

попробуем припомнить вдвоем этот старинный рассказ, а? — глуховато-надтреснутый голос Потапова звучал в манере завязтого чтеца запыленных фолиантов. — Название это было: «УЛЫБКА БУДДЫ».

54

УЛЫБКА БУДДЫ

Действие нашего замечательного повествования относится к тому многославному пышущему жаром лету 194... года, когда арестанты в количестве, значительно превышающем легендарные сорок бочек, изнывали в набедренных повязках от неподвижной духоты за тускло-рыбьими намордниками всемирно-известной Бутырской тюрьмы.

Что сказать об этом полезном налаженном учреждении? Родословную свою оно вело от екатерининских казарм. В жестокий век императрицы не пожалели кирпича на его крепостные стены и сводчатые арки.

«Почтенный замок был построен,
Как замки строиться должны».

После смерти просвещенной корреспондентки Вольтера эти гулкие помещения, где раздавался грубый топот карабинерских сапог, на долгие годы пришли в запустение. Но по мере того, как на отчизну нашу надвигался всеми желаемый прогресс, царственные потомки упомянутой властной дамы почли за благо испомещать туда равно: еретиков, колебавших православный престол, и мракобесов, сопротивлявшихся прогрессу.

Мастерок каменщика и терка штукатурка помогли разделить эти анфилады на сотни просторных и уютных камер, а непревзойденное искусство отечественных кузнецов выковало негибкие решетки на окна и трубчатые дуги кроватей, опускаемых на ночь и поднимаемых днем. Лучшие умельцы из числа наших талантливых крепостных внесли свой драгоценный вклад в бессмертную славу Бутырского замка: ткачи ткали холщевые мешки на дуги коек; водопроводчики прокладывали мудрую систему стока нечистот; жестянщики клепали вместительные четырех- и шестиведерные параша с ручками и даже крышками; плотники прорезали в дверях кормушки; стекольщики вставляли глазки; слесари навешивали замки; а особые мастера стекло-арматурщики в сверхновое время наркома Ежова залили мутно-стеклянный раствор по проволочной арматуре и воздвигли уникальные в своем роде намордники, закрывшие от злобных арестантов последний видимый ими уголок тюремного двора, здание острожной церкви, тоже пригрозившей под тюрьму, и клочок синего неба.

Соображения удобства — иметь надзирателей большей частью без законченного высшего образования, подвинули опекунов Бутырского санатория к тому, чтобы в стены камер вмуровывать ровно по двадцать пять коечных дуг, создавая основы простого арифметического расчета: четыре камеры — сто голов, один коридор — двести голов.

И так долгие десятилетия процветало это целительное заведение, не вызывая ни нареканий общественности, ни жалоб арестантов. (Что не было нареканий и жалоб, мы судим по редкости их на страницах «Биржевых ведомостей» и полному отсутствию в «Известиях рабочих и крестьянских депутатов».)

Но время работало не в пользу генерал-майора, начальника Бутырской тюрьмы. Уже в первые дни войны пришлось нарушить узаконенную норму двадцать пять

голов в камере, помещая туда и излишних жителей, которым не доставалось койки. Когда избыток принял грозные размеры, койки были раз и навсегда опущены, парусиновые мешки с них сняты, поверх были застланы деревянные щиты, и торжествующий генерал-майор со товарищи вталкивал в камеру сперва по пятьдесят человек, а после конца войны и по семьдесят пять, что опять-таки не затрудняло надзирателей, знавших, что в коридоре теперь шестьсот голов, за что им выплачивалась премиальная надбавка.

В такую густоту уже не имело смысла давать книг, шахмат и домино, ибо их все равно не хватало. Со временем уменьшалась врагам народа хлебная пайка, рыбу заменили мясом амфибий и перепончатокрылых, а капусту и крапиву — кормовым силосом. И страшная Пугачевская башня, где императрица держала на цепи народного героя, теперь получила мирное назначение башни силосной.

А люди текли, приходили все новые, бледнела и искажалась изузстная арестантская традиция, люди не помнили и не знали, что их предшественники не жили на парусиновых мешках и читали запрещенные книги (только из тюремных библиотек их и забыли изъять). Вносился в камеру в дымящемся бачке бульон из ихтиозавра или силосная окрошка — арестанты забирались с ногами на щиты, из-за тесноты поджимали колени к груди и, опершись еще передними лапами около задних, в этих собачьих телоположениях с оскаленными зубами зорко, как дворняжки, следили за справедливостью разливки хлеба по мискам. Миски разыгрывали, отвернувшись, — «от параша к окну» и «от окна к радиатору», после чего жители нар и поднарных конур, едва не опрокидывая хвостами и лапами мисок друг другу, в семьдесят пять пастей чавкали живительною баландою — только один этот звук нарушал философское молчание камеры.

И все были довольны. И в профсоюзной газете

«Труд» и в «Вестнике московской патриархии» — жалоб не было.

Среди прочих камер была и ничем не примечательная 72-ая камера. Она была уже обречена, но мирно дремавшие под ее нарами и матюгавшиеся на ее нарах арестанты ничего не знали об ожидавших их ужасах. Накануне рокового дня они, как обычно, долго укладывались на цементном полу близ параши, лежали в набедренных повязках на щитах, обмахиваясь от застойной жары (камера не проветривалась от зимы до зимы), били мух и рассказывали друг другу о том, как хорошо было во время войны в Норвегии, в Исландии, в Гренландии. По внутреннему ощущению времени, выработавшемуся долгим упражнением, зэки знали, что оставалось не более пяти минут до того момента, когда дежурный вертухай промычит им в кормушку: «Ну, ложись, отбой был!»

Но вдруг сердца арестантов вздрогнули от отпираемых замков! Распахнулась дверь — и в двери показался стройный пружинящий капитан в белых перчатках, ч-рез-вы-чайно взволнованный. За ним гудела свита лейтенантов и сержантов. В гробовом молчании зэков вывели с вещами в коридор. (Шепотом зэки тут же родили промеж собой парашу, что их ведут на расстрел). В коридоре отсчитали из них пять раз по десять человек и втокнули в соседние камеры как раз вовремя, так что они успели там захватить себе кусочки спального плаца. Эти счастливицы избежали страшной участи двадцати пяти остальных. Последнее, что видели оставшиеся у своей дорогой 72-й камеры, — была какая-то адская машина с пульверизатором, въезжавшая в их дверь. Потом их повернули через правое плечо и под звяканье надзирательских ключей о пряжки поясов и щелканье пальцами (то были принятые в Бутырках надзирательские сигналы «Веду зэка!») повели через многие внутренние стальные двери и, спускаясь по многим лестницам, — в холл, кото-

рый не был ни подвалом расстрелов, ни пыточным подземельем, а широко был известен в народе зэков как предбанник знаменитых бутырских бань.

Предбанник имел коварно-безобидный повседневный вид: стены, скамьи и пол, выложенные шоколадной, красной и зеленой метлахской плиткой, и с грохотом выкатываемые по рельсам вагонетки из прожарок с адскими крючками для навешивания на них вшивых арестантских одежд. Легко ударяя друг друга по скулам и по зубам (ибо третья арестантская заповедь говорит: «Дают — хватай!»), зэки разобрали раскаленные крючки, повесили на них свои многострадальные одеяния, потускневшие, порыжевшие, а местами и прогоревшие от ежедневно-прожарок, — и разгоряченные служанки ада — две старые женщины, презирая постылую им наготу арестантов, с грохотом укатали вагонетки в тартар и захлопнули за собой железные двери.

Двадцать пять арестантов остались запертыми со всех сторон в предбаннике. Они держали в руках только носовые платки или заменяющие их куски разорванных сорочек. Те из них, чья худоба всё же сохранила еще тонкий слой дублёного мяса в той непритязательной части тела, посредством которой природа наградила нас счастливым даром сидеть, — те счастливики сидели на теплых каменных скамьях, выложенных изумрудными и малиново-коричневыми изразцами. (Бутырские бани по роскоши своего оформления далеко оставляют позади себя Сандуновские, и, говорят, многие любознательные иностранцы специально предавали себя в руки Чека, чтобы только помыться в этих банях.)

Другие же арестанты, исхудавшие до того, что не могли уже сидеть иначе, как на мягком, — ходили из конца в конец предбанника, не закрывая своей срамоты и жаркими спорами пытались проникнуть за завесу происходящего.

«Давно уж их воображенье
Алкало пици роковой».

Однако их столько часов продержали в предбаннике, что споры утихли, тела покрылись пупырышками, а желудки, привыкшие с десяти часов вечера ко сну, тоскливо взывали о наполнении. Среди арестантов победила партия пессимистов, утверждавших, что через решетки в стенах и в полу втекает отравленный газ, и сейчас все они умрут. Некоторым даже стало дурно от явного запаха газа.

Но загремела дверь — и всё переменялось! Не вошли, как всегда, два надзирателя в грязных халатах с засорёнными машинками для стрижки овец и не швырнули пары тупейших ножниц для того, чтобы переламывать ими ногти, — нет! — четыре парикмахерских подмастерья ввезли на колёсиках четыре зеркальных стойки с одеколоном, фиксатуаром, лаком для ногтей и даже театральными париками. И четыре очень почтенных дородных мастера, из них два армянина, вошли следом. А в парикмахерской, тут же, за дверью, арестантам не только не стригли лобков, изо всех сил нажимая стригущими плоскостями на нежные места, — но пудрили лобки розовой пудрой. Легчайшим полетом бритв касались изможденных арестантских ланит и щекотали в ухо шепотом: «не беспокоит?» Их голов не только не стригли наголо, но даже предлагали парики. Их подбородков не только не скальпировали, но оставляли по желанию клиентов начатки будущих бород и бакенбардов. А парикмахерские подмастерья, распростертые ниц, тем временем обрезали им ногти на ногах. Наконец, в дверях бани им не влили в ладони по двадцать граммов растекающегося вонючего мыла, а стоял сержант и под расписку выдавал каждому губку, дочь коралловых островов, и полный кусок туалетного мыла «Фея сирени».

После этого, как всегда, их заперли в бане и дали мыться всласть. Но арестантам было не до мытья. Их

споры были горячей бутырского кипятка. Теперь среди них победила партия оптимистов, утверждавших, что Сталин и Берия бежали в Китай, Молотов и Каганович перешли в католицизм, в России временное социал-демократическое правительство, и уже идут выборы в Учредительное собрание.

Тут с каноническим грохотом была открыта всем вам известная выходная дверь бани — и в фиолетовом вестибюле их ждали самые невероятные события: каждому выдавалось мохнатое розовое полотенце и... по полной миске овсяной каши, что соответствует шестидневной порции лагерного работяги! Арестанты бросили полотенца на пол и с изумительной быстротой без ложек и других приспособлений проглотили кашу. Даже присутствующий при этом старый тюремный майор удивился и велел принести еще по миске каши. Съели и еще по миске. Что было после — никто из вас никогда не угадает! Принесли не мороженную, не гнилую, не черную — да просто, можно сказать, съедобную картошку.

— Это исключено! — запротестовали слушатели.
— Это уже неправдоподобно!

— Но это было именно так! Правда, она была из сорта свинячьей, мелкая и в мундирах, и, может быть, насытившиеся зэки не стали бы ее есть, — но дьявольское коварство состояло в том, что принесли ее не поделенной на порции, а в одном общем ведре. С ожесточенным воем, нанося тяжелые ушибы друг другу и карабкаясь по голым спинам, зэки бросились к ведру — и через минуту, уже пустое, оно с брэнчанием прокатилось по каменному полу. В это время принесли еще соли, но соль была уже ни к чему.

Тем временем голые тела обсохли. Старый майор велел зэкам поднять с пола мохнатые полотенца и обратился с речью.

— Дорогие братья! — сказал он. — Все вы — честные советские граждане, изолированные от об-

щества лишь временно, кто на десять, кто на двадцать пять лет за свои небольшие проступки. До сих пор, несмотря на неоднократные указания лично товарища Сталина, — руководством Бутырской тюрьмы были допущены серьезные ошибки и искривления. Теперь они исправляются. (Распустят по домам! — нагло решили арестанты.) Впредь мы будем содержать вас в курортных условиях. (Остаемся сидеть! — поникли они.) Дополнительно ко всему, что вам разрешалось и раньше, вам разрешается:

- а) молиться своим богам,
- б) лежать на койках хоть днем, хоть ночью,
- в) беспрепятственно выходить из камеры в уборную,
- г) писать мемуары.

Дополнительно к тому, что вам запрещалось, вам запрещается:

- а) сморкаться в казенные простыни и занавески,
- б) просить по второй тарелке еды,
- в) при входе в камеру высоких посетителей противоречить начальству тюрьмы или жаловаться на него,
- г) брать без спросу со стола папиросы «Казбек».

Всякий, кто нарушит одно из этих правил, будет подвергнут пятнадцати суткам холодного карцера-строгача и сослан в далекие лагеря без права переписки. Понятно?

И едва лишь майор окончил речь — не гремящие вагонетки выкатили из прожарки белье и драные телогрейки арестантов, нет! — ад, поглотивший лохмотья, не возвращал их! — но вошли четыре молоденьких кастелянши, потупясь, краснея, милыми улыбка-ми подбодряя арестантов, что не всё еще для них потеряно, как для мужчин, — и стали раздавать голубое шелковое белье. Затем зэкам выдали штапельные рубашки, галстуки скромных расцветок, ярко-желтые

американские ботинки, полученные по ленд-лизу, и костюмы из поддельного коверкота.

Немые от ужаса и восторга, арестанты в строю парами были проведены вновь в свою 72-ю камеру. Но Боже, как она преобразилась!

Еще в коридоре ноги их ступали на ворсистую ковровую дорожку, заманчиво ведущую в уборную. А при входе в камеру их овенули струи свежего воздуха, и бессмертное солнце сверкнуло прямо в их глаза. (За хлопотами прошла ночь, и воссияло уже утро.) Оказалось, что за ночь решетки покрашены в голубой цвет, на м о р д н и к и с окон сняты, а на бывшей бутырской церкви, стоящей внутри двора, укреплено поворотное отражательное зеркало, и специально приставленный к нему надзиратель регулирует его так, чтобы отраженный солнечный поток все время бы падал в окна 72-й камеры. Стены камеры, еще вечером оливково-темные, теперь были обрызганы светлой масляной краской, по которой живописцы во многих местах вывели голубей и ленточки с надписью: «Мы — за мир!» и «Миру — мир!»

Деревянных щитов с клопами не было и помину. На рамы кроватей были натянуты холщевые подвески, а в них лежали перины, пуховые подушки и из-за кокетливо-отвернутого края одеяла сверкали белизной пододеяльник и простыня. У каждой из двадцати пяти коек стояли тумбочки, по стенам тянулись полки с книгами Маркса, Энгельса, блаженного Августина и Фомы Аквинского, посреди камеры стоял стол под накрахмаленной скатертью, на нем пепельница и нераспечатанная пачка «Казбека». (Всю роскошь этой волшебной ночи удалось оформить через бухгалтерию и только сорт папирос «Казбек» нельзя было подогнать ни под одну расходную статью. Начальник тюрьмы решил шикнуть «Казбеком» на свои деньги, оттого и кара за него была назначена такая строгая.)

Но более всего преобразился тот угол, где прежде

стояла параша. Стена была отмыта добела и выкрашена, вверху теплилась большая лампада перед иконой Богоматери с младенцем, сверкал ризами чудотворец Николай Мирликийский, возвышалась на этажерке белая статуя католической Мадонны, а в неглубокой нише, оставленной еще строителями, лежали Библия, Коран, Талмуд и стояла маленькая темная статуэтка Будды — по грудь. Глаза Будды были немного сощурены, углы губ отведены назад, и в потемневшей бронзе чудилось, что Будда улыбался.

Сытые кашей и картошкой и потрясенные невымесным обилием впечатлений, зэки разделись и сразу заснули. Легкий Эол колебал на окнах кружевные занавески, не допускавшие мух. Надзиратель стоял в приотворенных дверях и следил, чтобы никто не спёр «Казбека».

Так они мирно нежились до полудня, когда вбежал чрез-вы-чайно разгоряченный капитан в белых перчатках и объявил подъем. Зэки проворно оделись и заправили койки. Поспешно в камеру еще втокнули круглый столик под белым чехлом, на нем разложили «Огонёк», «СССР на стройке» и журнал «Америка», вкатили на колесиках два старинных кресла, тоже под чехлами — и наступила зловещая, невыносимая тишина. Капитан ходил между кроватями на цыпочках и красивой белой палочкой бил по пальцам тех, кто протягивал руку за журналом «Америка».

В томительной тишине арестанты слушали. Как вам хорошо известно по собственному опыту, слух — это важнейшее из чувств арестанта. Зрение арестанта обычно ограничено стенами и намордниками, обоняние насыщено недостойными ароматами, осязанию нет никаких новых предметов. Зато слух развивается необыкновенно. Каждый звук даже в дальнем углу коридора тотчас же опознаётся, истолковывает происходящие в тюрьме события и отмеряет время: разносят ли

кипяток, водят ли на прогулку или принесли кому-то передачу.

Слух и донес начало разгадки: со стороны 75-й камеры загремела стальная переборка, и в коридор вошло много людей. Слышался их сдержанный говор, шаги, заглушаемые коврами, потом выделились голоса женщин, шорох юбок, и у самой двери 72-й камеры начальник Бутырской тюрьмы приветливо сказал:

— А теперь госпоже Р....., вероятно, будет интересно посетить какую-нибудь камеру. Ну, какую же? Ну, первую попавшуюся. Например, вот 72-ю. Откройте, сержант.

И в камеру вошла госпожа Р..... в сопровождении секретаря, переводчика, двух почтенных матрон из среды квакеров, начальника тюрьмы и нескольких лиц в гражданской одежде и в форме МВД. Капитан же в белых перчатках отошел в сторону. Вдова известного деятеля, женщина передовая и проницательная, много сделавшая для защиты прав человека, госпожа Р. задалась целью посетить доблестного союзника Америки и увидеть своими глазами, как распределяется помощь ЮНРРА (Америки достигли зловредные слухи, будто продукты ЮНРРА не доходят до простого народа) и не ущемляется ли в Советском Союзе свобода совести. Ей уже показали тех простых советских граждан (переодетых чинов), которые в своих грубых рабочих спецовках благодарили ООН за бескорыстную помощь. Теперь госпожа Р. настояла, чтобы ее провели в тюрьму. Желание ее исполнилось. Она уселась в одно из кресел, свита устроилась вокруг, и начался разговор через переводчика.

Солнечные лучи от поворотного зеркала всё так же били в камеру. И дыхание Эола шевелило занавески.

Госпоже Р. очень понравилось, что в камере, выбранной наудачу и застигнутой врасплох, была такая удивительная белизна, полное отсутствие мух и, нес-

мотря на будний день, в святом углу теплилась лампада.

Заключенные поначалу робели и не двигались, но когда переводчик перевел вопрос высокой гостьи, неужели, щадя чистоту воздуха, никто из заключенных даже не курит, — один из них с развязным видом встал, распечатал коробку «Казбека», закурил сам и протянул папиросу товарищу.

Лицо генерал-майора потемнело.

— Мы боремся с курением, — выразительно сказал он, — ибо табак — это яд.

Еще один заключенный пересел к столу и стал просматривать журнал «Америка», почему-то очень торопливо.

— За что же наказаны эти люди? например, вот этот господин, который читает журнал? — спросила высокая гостья.

(«Этот господин» получил десять лет за неосторожное знакомство с американским туристом.)

Генерал-майор ответил:

— Этот человек — активный гитлеровец, он служил в Гестапо, лично сжег русскую деревню и, простите, изнасиловал трех русских крестьянок. Число убитых им младенцев не поддается учету.

— Он приговорен к повешению? — воскликнула госпожа Р.

— Нет, мы надеемся, что он исправится... Он приговорен к десяти годам честного труда.

Лицо арестанта выражало страдание, но он не вмешивался, а продолжал с судорожной поспешностью читать журнал.

В этот момент в камеру ненароком зашел русский православный священник с большим перламутровым крестом на груди — очевидно, с очередным обходом, и очень был смущен, застав в камере начальство и иностранных гостей.

Он хотел было уже уйти, но скромность его пон-

равилась госпоже Р., и она попросила его выполнить свой долг. Священник тут же всучил одному из растерявшихся арестантов карманное Евангелие, сам сел на кровать еще к одному и сказал ему, окаменевшему от удивления:

— Итак, сын мой, в прошлый раз вы просили рассказать вам о страданиях Господа нашего Иисуса Христа.

Госпожа Р. попросила генерал-майора тут же при ней задать заключенным вопрос — нет ли у кого-нибудь из них жалоб на имя Организации Объединенных Наций?

Генерал-майор угрожающе спросил:

— Внимание, заключенные! А кому было сказано про «Казбек»? Строгача захотели?

И арестанты, до сих пор зачарованно молчавшие, теперь в несколько голосов возмущенно загалдели:

— Гражданин начальник, так курица нет!

— Уши пухнут!

— Махорка-то в тех брюках осталась!

— Мы-то не знали!

Знаменитая дама видела неподдельное возмущение заключенных, слышала их искренние выкрики и с тем большим интересом выслушала перевод:

— Они единодушно протестуют против тяжелого положения негров в Америке и просят рассмотреть этот вопрос в ООН.

Так в приятной взаимной беседе прошло минут около пятнадцати. В этот момент дежурный по коридору доложил начальнику тюрьмы, что принесли обед. Гостья попросила, не стесняясь раздавать обед при ней. Распахнулась дверь, и хорошенькие молоденькие официантки (кажется, те самые переодетые кастелянши), внося в судках обыкновенную куриную лапшу, стали разливать ее по тарелкам. Во мгновение словно порыв первобытного инстинкта преобразил благообразных арестантов: они вспрыгнули в ботинках на свои посты-

ли, поджали колени к груди, оперлись еще руками около ног и в этих собачьих телоположениях с оскаленными зубами зорко наблюдали за справедливостью разливки лапши. Дамы-патронессы были шокированы, но переводчик объяснил им, что таков русский национальный обычай.

Невозможно было уговорить арестантов сесть за стол и есть мельхиоровыми ложками. Они уже вытащили откуда-то свои облезлые деревянные, и едва лишь священник благословил трапезу, а официантки разнесли тарелки по постелям, предупредив, что на столе блюдо для сбрасывания костей, — единовременно раздался страшный втягивающий звук, затем дружный хруст куриных костей — и всё, налитое в тарелки, навсегда исчезло. Блюдо для сбрасывания костей не понадобилось.

— Может быть, они голодны? — высказала нелепое предположение встревоженная гостья. — Может быть, они хотят еще?

— Д о б а в к и никто не хочет? — хрипло спросил генерал.

Но никто не хотел добавки, зная мудрое лагерное выражение — «Прокурор добавит».

Однако тюфтели с рисом зэки проглотили с той же неописуемой быстротой.

Компота же в этот день не полагалось, так как день был будний.

Убедившись в ложности инсинуаций, распускаемых злопыхателями в западном мире, миссис Р. со всей свитой вышла в коридор и там сказала:

— Но как грубы их манеры, и как низко развитие этих несчастных! Можно надеяться, однако, что за десять лет они приучатся здесь к культуре. У вас великолепная тюрьма!

Священник выскочил из камеры между свитой, торопясь, пока не захлопнули дверь.

Когда гости из коридора ушли, в камеру вбежал капитан в белых перчатках:

— Вста-ать! — закричал он. — Становись по два! Выходи в коридор!

И заметив, что слова его не всеми правильно поняты, он еще подошвою сапога дополнительно разъяснил отстающим.

Только тут обнаружилось, что один хитроумный зэк буквально понял разрешение писать мемуары и, пока все спали, с утра уже накатал две главы: «Как меня пытали» и «Мои лефортовские встречи».

Мемуары были тут же отобраны, а на ретивого писателя заведено новое следственное дело — о подлой клевете на органы госбезопасности.

И снова с пощелкиванием и позвякиванием «веду зэка» их отвели сквозь множество стальных дверей в предбанник, всё так же переливавшийся своей вечной малахитово-рубинной красотой. Там с них снято было всё, вплоть до шелкового голубого белья, и произведен был особо тщательный шмон, во время которого у одного зэка под щекой нашли вырванную из Евангелия нагорную проповедь. За это он тут же был бит сперва в правую, а потом в левую щеку. Еще отобрали у них коралловые губки и «Фею сирени», в чём опять-таки заставили каждого расписаться.

Вошли два надзирателя в грязных халатах и тупыми засорёнными машинками стали выстригать арестантам лобки, потом теми же машинками — щеки и темени. Наконец, в каждую ладонь влили по 20 граммов жидкого вонючего заменителя мыла и заперли всех в бане. Делать было нечего, арестанты еще раз помылись.

Потом с каноническим грохотом отворилась выходная дверь, и они вышли в фиолетовый вестибюль. Две старых женщины, служанки ада, с громом выкатили из прожарок вагонетки, где на раскаленных крючках висели знакомые нашим героям лохмотья.

Понуро вернулись они в 72-ю камеру, где снова на клопьяных щитах лежали пятьдесят их товарищей, стораю от любопытства узнать о происшедшем. Окна были вновь забиты намордниками, голубки покрашены темно-оливковой краской, а в углу стояла четырехверная параша.

И только в нише, забытый, загадочно улыбался маленький бронзовый Будда...

НО И СОВЕСТЬ ДАЕТСЯ ОДИН ТОЛЬКО РАЗ!

В то время, как рассказывалась эта новелла, Шагов, наблестив не новые, но еще приличные хромовые сапоги, натянув подглаженное, бывшее свое парадное, обмундирование с привинченными начищенными орденами, с пришитыми нашивками ранений (увы, мода на военную форму катастрофически устаревала в Москве, и скоро предстояло Шагову вступить в нелегкое состязание по костюмам и ботинкам), — поехал в другой конец города на Калужскую заставу, куда был зван через своего фронтового знакомого Алёшу Ланского на торжественный вечер в семью прокурора Макарыгина.

Вечер был сегодня для молодежи и вообще для семьи по тому поводу, что прокурор получил второй орден Ленина. Собственно, молодежь попадала туда довольно отдаленная, которой орден прокурора никак не касался, но папаша отпускал деньжат, и был повод покутить. Должна была там быть и Лиза, та девушка, которую Шагов назвал Наде своей невестой, но с которой еще окончательно не было решено и объявлено. Из-за Лизы Шагов и звонил Алёше, чтобы тот устроил ему приглашение на этот вечер.

Теперь с приготовленными несколькими первыми фразами он поднимался по той самой лестнице, где Кларе всё виделась моющая женщина, и в ту квартиру, где четыре года назад, елозя на коленях в рваных ватных брюках, настилал паркет тот самый человек, у которого он только что едва не отнял жены.

Дома тоже имеют свою судьбу...

Щагов надавил кнопку. Открыла ему Клара, которой он, впрочем, в лицо не знал. Но оба догадались.

Клара была в матово-зеленом платье из шерстяного крепа, схваченном в талии и просторном вниз. Резная накладная вышивка, тоже зеленая, но блестящая, змеилась на отворотах воротника, перепадала как бы цепью через грудь и как бы браслетами обтягивала рукавные запястья.

В тесном маленьком коридорчике уже висело в меру мужских и дамских шуб. Прежде чем Клара успела пригласить гостя раздеться, зазвонил висевший тут же телефон. Клара сняла трубку, стала говорить, а левой рукой усиленно показывала Щагову, чтоб он раздевался.

— Инк?.. Здравствуй... Как? Ты еще не выехал?.. Сейчас же!.. Инк, ну как может не быть настроения?.. Папа обидится... Да у тебя и голос вялый... А ты через «не могу»!.. Уж тогда подожди, я Нару позову... Нара! — крикнула она в комнату. — Твой благоверный звонит, иди! Раздевайтесь! (Щагов уже снял шинель.) Снимайте галоши! (Он и пришел-то без калош...) Слушай, он ехать не хочет. Ну, как можно?

В коридор вошла сестра Клары — Дотнара, жена дипломата, как предварял Щагова Ланский, и взяла трубку. Щагову она отчасти мешала теперь пройти, а он не спешил миновать это ароматное препятствие в светло-вишневом платье, он чуть потупился и рассматривал её. От чего-то необычного в её платье (Щагов не понял: от отсутствия грубых ложных накладных плеч, какие были у всех; оттого, что плечи её

закругленно спадали в руки той линией, которую дала природа и лучше которой придумать нельзя) Дотнара казалась женственной и гибкой, как никто. Еще показалось странным в ее наряде, что рукава были не от самого платья (у платья их не было), а от надетой сверх словно бы полунакидки.

И никому из них, толпившихся на ковре в уютном коридорчике, не могло и в голову прийти, что в этой безобидной черной полированной трубке, в этом ничтожном разговоре о приезде на вечеринку, таилась та таинственная погибель, которая подстерегает нас даже в костях мертвого коня.

С тех пор, как сегодня днем Рубин заказал записать еще телефонных разговоров каждого из подозреваемых, — трубка телефона в квартире Володина сейчас была впервые снята им самим — и в центральном узле связи зашуршала лента магнитофона с записью голоса Иннокентия Володина.

Осторожность, правда, подсказывала Володину не звонить эти дни по телефону, но жена уехала из дому без него и оставила записку, что обязательно надо быть вечером у тестя.

Он позвонил, чтобы не поехать.

Иннокентию было бы, наверно, легче, если бы после тревожной сегодняшней ночи этот бесконечный день был бы не воскресным, а будним. Он бы тогда мог судить по разным признакам, по продвижению или отмене его командировки в Париж. Но о чем можно судить в воскресенье — покой или угроза таится в праздничной неподвижности дня?

Все эти минувшие сутки ему так представлялось, что звонок его был безрассудством и почти самоубийством — к тому же, может быть, и не принесшим пользы. С раздражением вспоминал он эту растяпу, жену Доброумова, хотя, конечно, не она была виновата, не с нее эта недоверчивость шла, не ею кончалась.

Ничто не показывало, что Иннокентий разгадан,

но внутреннее предчувствие, загадочно вложенное в нас, щемило Володина, в нем росло предощущение беды — и от него-то никуда не хотелось ехать поселиться.

Он уговаривал теперь в этом жену, растягивал слова, как всегда делает человек, говоря о неприятном, жена настаивала, — и отчетливые «форманты» его «индивидуального речевого лада» ложились на узенькую коричневую магнитную пленку, чтобы к утру быть превращенными в звуки и мокрою лентою распростереться в девять часов утра перед Рубиным.

Нара не говорила в категорическом тоне, который усвоила в последние месяцы, а, тронутая ли усталым голосом мужа, очень мягко просила, чтоб он приехал хоть на часик.

Иннокентий почувствовал жалость к жене и уступил, что приедет.

Однако, положив трубку, он не сразу отнял руку от нее, а замер, словно чего-то не досказав.

Ему стало жаль не ту жену, с которой он жил и не жил сейчас и от которой через несколько дней собирался опять уехать, а ту десятиклассницу белокурую, с кудрями по плечи, ту девочку, с которой они когда-то вместе начали узнавать, что такое жизнь. Между ними накалялась тогда разгарчивая страсть, не признающая никаких доводов, не желающая слышать об отсрочке свадьбы даже на год. Инстинктом, руководящим нами среди обманчивых наружностей и лгущих нарядов, они верно угадали друг друга и не хотели упустить. Этому браку сопротивлялась мать Иннокентия, тогда уже больная тяжело (но какая мать не сопротивляется женитьбе сына?!), сопротивлялся и прокурор (но какой отец с легким сердцем отдаст восемнадцатилетнюю прелестную дочурку?!). Однако всем пришлось уступить! Молодые люди поженились и были счаст-

ливы до такой полноты, что это вошло в поговорку среди их общих знакомых.

Их брачная жизнь началась при наилучших предзнаменованиях. Они принадлежали к тому кругу общества, где не знают, что значит ходить пешком или ездить в метро, где еще до войны беспересадочному спальному вагону предпочитали самолет, где даже об обстановке квартиры нет заботы: в каждом новом месте — под Москвой ли, в Тегеране, на сирийском побережье или в Швейцарии, молодых ждала обставленная дача, вилла, квартира. Взгляды на жизнь у молодоженов совпали. Взгляд их был: «нам жизнь дается только раз!» Поэтому, от жизни надо было взять всё, что она могла дать, кроме, пожалуй, рождения ребенка, потому что ребенок — это идол, высасывающий соки твоего существа и не воздающий за них своею жертвой, хотя бы благодарностью.

С подобными взглядами они очень хорошо соответствовали обстановке, в которой жили, и обстановка соответствовала им. Они старались отпробовать каждый новый диковинный фрукт. Узнать вкус каждого коллекционного коньяка и отличие вин Роны от вин Корсики и еще от всех иных вин, давимых на виноградниках Земли. Одеться в каждое платье. Оттанцевать каждый танец. Исккупаться на каждом курорте. Заняться и теннисом и парусной яхтой. Побывать на двух актах каждого необычного спектакля. Пролистать каждую нашумевшую книжку.

И шесть лучших лет мужского и женского возраста они давали друг другу всё, чего хотел другой из них. Эти шесть лет почти все были — те самые годы, когда человечество рыдало в разлуках, умирало на фронтах и под обвалами городов, когда обезумевшие взрослые крали у детей просфорки черного хлеба. И горе мира никак не оваяло лиц Иннокентия и Дотнары.

Ведь жизнь дается нам только раз!..

Но, как любили говорить древние русские люди,

— неисповедимы пути Господни. К концу шестого года их брачной жизни, когда приземлились бомбардировщики и умолкли пушки, когда дрогнула к росту забитая черной гарью зелень, и всюду люди вспомнили, что жизнь дается нам только раз, — в эти самые месяцы Иннокентий над всеми материальными плодами земли, которые можно было обонять, осязать, пить, есть и мять, — ощутил безвкусное отвратное пресыщение.

Он испугался этого чувства, он перебарывал его в себе, как болезнь, ждал, что оно пройдет — но оно не проходило. Главное, он не мог разобраться в этом чувстве — в чем оно? Как будто всё было доступно ему, а чего-то не хватало.

И веселые приятели его, с которыми он так прочно был дружен, стали почему-то разонравливаться ему, один показался не очень умным, другой каким-то грубоватым, третий — слишком занятым собой.

Но не от друзей только, а от белокурой Дотти, как давно на европейский манер он называл Дотнару, — от жены своей, с которой привык ощущать себя слитно, он теперь себя отделял и отличал.

То казалось ему слишком резким ее суждение, то слишком уверенным голос. То в одном, то в другом она поступала не так, как он бы считал хорошо, и категорично была убеждена в своей правоте.

Их устоявшаяся шикарная жизнь стала как бы стеснять Иннокентия, но Дотти и слышать не хотела что-нибудь изменить. Больше того, если раньше она проходила сквозь вещи и без жалости покидала одни для других, лучших, — то теперь в ней возникла ненасытимая жажда удержать в своем постоянном обладании все вещи на всех квартирах. Два года в Париже Дотти использовала для того, чтоб отправлять в Москву большие картонки с отрезами, туфлями, платьями, шляпами, — и Иннокентию было это неприятно. Появилась ли в ней теперь? — или была, да он

не замечал? — манера неприятно жевать, даже чавкать, особенно, когда она ела фрукты.

Но не в друзьях, конечно, было дело и не в жене, а в самом Иннокентии. Ему не хватало чего-то, а чего — он не знал.

Давно за Иннокентием утвердилось звание эпикурейца — так называли его, и он принимал это охотно, хотя сам толком не знал, что это такое. И вот однажды в Москве, дома, по безделью, пришла ему в голову такая насмешливая мысль — почитать, а что, собственно, проповедовал учитель? И он стал искать в трех шкафах, оставшихся от умершей матери, книгу об Эпикуре, которая, помнилось ему с детства, там была.

Самую эту работу — разборку старых шкафов, Иннокентий начал с отвратительным ощущением скованности в движениях, лени к тому, что надо было наклоняться, перекладывать тяжести, дышать пылью. Он не привык даже к такому труду и очень утомился. Но всё же кое-как совладал с собой — и обновляющим ветерком потянуло на него из глубины этих старых шкафов с их особенным устоявшимся запахом. Нашел он между прочим и книгу об Эпикуре и позже как-то прочёл ее, но не в ней обнаружил для себя главное, а в письмах и жизни его покойной матери, которой он никогда не понимал, да и привязан был только в детстве. Даже смерть ее он перенес почти равнодушно и не приехал из Бейрута на похороны.

С детскими ранними годами, с посеребренными горнами, взброшенными к лепному потолку, со «Взвейтесь кострами, синие ночи!» слилось у Иннокентия первое представление об отце. Самого отца Иннокентий не помнил, он погиб в двадцать первом году в Тамбовской губернии, но все вокруг не уставали говорить сыну об отце — о знаменитом, прославленном в гражданскую войну матросском военачальнике. От всех и везде слыша эти похвалы, Иннокентий и сам привык очень гордиться отцом, его борьбой за простой народ против

богатеев, погрязших в роскоши. Зато к вечно заботливой, что-то переживающей, о чем-то грустящей и всегда обложенной книжками и грелками матери он относился почти свысока и, как это обычно для сыновей, не задумывался о том, что у матери не только был он, его детство и его надобности, но и еще какая-то своя жизнь; что вот она страдает от болезней; что вот она скончалась в сорок семь лет.

Родителям его почти никогда, очень мало пришлось жить вместе. Но и об этом малом Иннокентию, мальчишке, не было повода раньше задуматься, не приходило в голову расспросить мать.

А теперь это всё разворачивалось перед ним из писем и дневников матери. Их женитьба была не женитьба, а что-то вихреподобное, как всё в те годы. Их столкнули внезапные обстоятельства, и обстоятельства же мало давали им видеться, и обстоятельства же развели. А мать из этих дневников оказалась не просто дополнением к отцу, как привык сын, а — отдельным миром. И узнавал теперь Иннокентий, что мать всю жизнь любила другого человека, так и не сумев никогда с ним соединиться.

Перевязанные разноцветными тесемками из нежных тканей, в шкафах хранились связки писем от подруг матери, от друзей, знакомых, артистов, художников и поэтов, чьи имена были теперь вовсе забыты или вспоминались ругательно. В старинных тетрадах с синими сафьяновыми обложками шли по-русски и по-французски дневниковые записи странным маминым почерком — как будто раненая птичка металась по листу бумаги и неверно процарапывала свой причудливый след коготком. По многу страниц занимали воспоминания о литературных вечерах, о драматических спектаклях. Брало за сердце описание, как мать восторженной девушкой в толпе таких же плачущих от радости почитателей встречала белой июньской ночью на петербургском вокзале труппу Художественного

театра. Бескорыстное искусство ликовало с этих страниц — и свежестью обдало Иннокентия. Сейчас не знал он такой театральной труппы, да нельзя себе было и представить, чтобы, встречая ее, кто-то не спал бы всю ночь, кроме тех, кого пошлет Отдел культуры, выписав через бухгалтерию букеты. И уж, конечно, никому не придет в голову плакать при этом.

А дневники вели его дальше и дальше. Были такие странички: «Этические записи».

«Жалость — первое движение доброй души» — говорилось там.

Иннокентий морщил лоб. Жалость? Это чувство постыдное и унижительное для того, кто жалеет, и для того, кого жалеют, — так вынес он из школы.

«Никогда не считай себя правым больше, чем других. Уважай чужие, даже враждебные тебе, мнения».

И это было довольно старомодно. Если я обладаю правильным мировоззрением, то как же можно уважать тех, кто спорит со мной?

Сыну казалось, что он не читает, а ясно слышит, как мать говорит, ее ломкий голос:

«Что дороже всего в мире? Оказывается: сознавать, что ты не участвуешь в несправедливостях. Они сильнее тебя, они были и будут, но пусть — не через тебя».

Да, мама была слабенькая, нельзя было представить маму борющейся, совместить маму и борьбу.

Шесть лет назад Иннокентий, если бы и открыл дневники, — даже не заметил бы всех этих строк. А сейчас от читал их медленно и удивлялся. Ничего в них не было как будто такого уж сокровенного, и даже прямо неверное было — а он удивлялся. Старомодны были и самые слова, которыми выражались мама и ее подруги. Они всерьез писали с больших букв: Истина, Добро и Красота; Добро и Зло; Этический Императив. В языке, которым пользовался Иннокентий и окружаю-

щие его, слова были конкретней и потому понятней: идейность, гуманность, преданность, целеустремленность.

Но хотя Иннокентий был безусловно и идеен, и гуманен, и предан, и целеустремлен (целеустремленность больше всего ценили в себе и воспитывали все его сверстники), а сидя на низкой скамеечке у этих шкафов, он почувствовал, что нашел что-то из нехватавшего ему.

И фотоальбомы были тут, с четкой ясностью старинных фотографий. И несколько отдельных пачек составляли театральные программы Петербурга и Москвы. И ежедневная театральная газета «Зритель». И «Вестник кинематографии» — как? это уже было всё в то время? И стопы, стопы разнообразных журналов, от одних названий пестрило в глазах: «Аполлон», «Золотое Руно», «Весы», «Мир искусства», «Солнце России», «Пробуждение», «Пегас». Репродукции неведомых картин, скульптур (и духа их не было в Третьяковке!), театральных декораций. Стихи неведомых поэтов. Бесчисленные книжечки журнальных приложений — с сотнями имен европейских писателей, никогда не слыханных Иннокентием. Да что писателей! — здесь были десятки издательств — неизвестных, как провалившихся в тартарары: «Гриф», «Шиповник», «Скорпион», «Мусажет», «Альциона», «Сполохи», «Логос», «Прометей», «Общественная польза».

Несколько суток просидел он так на скамеечке у распахнутых шкафов, дыша, дыша и отравляясь этим воздухом, этим маминым мирком, в который когда-то отец его, опоясанный гранатами, в черном дождевике, вошел по ордеру на обыск.

А Дотнара пришла звать мужа на какой-то вечер. Иннокентий посмотрел на нее бессмысленно, потом собрал лоб, представил себе это напыщенное сборище, где все будут друг с другом совершенно согласны, где все проворно встанут на ноги для первого тоста за то-

варища Сталина, а потом будут много есть и пить уже без товарища Сталина, а потом играть в карты — глупо, глупо.

Из невнятной дали он вернулся к Дотти глазами — и попросил ее ехать одну.

Дотнаре дико показалось, что живой жизни званого вечера можно предпочесть ковыряние в старых альбомах. Связанные со смутными, но никогда не умирающими воспоминаниями детства, все эти находки в шкафах много говорили душе Иннокентия и ничего — его жене.

Мать добилась своего: встав из гроба, она отняла сына у невестки.

Иннокентий так ее понял, он понял ее так: как сущность пищи нельзя выразить одними калориями, так и сути жизни нельзя охватить самыми великими формулами.

Струнувшись раз, Иннокентий уже не мог остановиться. За последние годы разленившийся, отохотившийся учиться (легкость во французском, который вёз его карьеру, он приобрел еще в младенчестве от матери), Иннокентий теперь набросился на чтение.

Оказалось, что и читать — это тоже надо уметь, это не просто бегать глазами по строчкам. Так как Иннокентий с юности был огражден от книг неправильных, отверженных, и читал только заведомо правильные, то и привычка укоренилась в нем: верить каждому слову, вполне отдаваться на волю автора. И так теперь, читая авторов противоречащих, он долго не мог восстать, не мог не поддаваться сперва одному автору, потом другому, потом третьему.

Он поехал в Париж, работал там в системе Социально-Экономического комитета ООН и там еще много читал, что успевал за службой. И на какой-то поре почувствовал, что и сам держит, кажется, руль.

Не то, чтоб он открыл для себя за эти годы много, но кое-что.

Раньше истина Иннокентия была, что жизнь дается нам только раз.

Теперь созревшим новым чувством он ощутил в себе и в мире новый закон: что и совесть тоже дается нам один только раз.

И как жизни отданной не вернуть, так и испорченной совести.

Так стал понимать и думать Иннокентий, когда в субботу, за несколько дней до новой поездки в Париж, он на беду свою узнал об этой готовящейся провокации с простаком Доброумовым. Он уже довольно был развит, чтобы понять, что не одним профессором окончится такое дело, что целую кампанию сумеют вывести из этого профессора. Но и сам Доброумов был ему дорог по воспоминаниям о матери.

Несколько часов с расступившимся умом он бродил по служебному кабинету (его напарник уехал в командировку), шатался, качался, брался за голову. И решился-таки звонить, хотя представлял, что телефон Доброумова могли уже взять под контроль и что их только несколько человек в министерстве, кто знает секрет.

Это было как будто очень давно, а на самом деле только вчера.

Весь день сегодня Иннокентий прожил в смятении и не сидел дома — чтобы его не пришли арестовывать. Много раз за эти сутки в нем сменились и жестокая досада, и гадкий страх, и безразличие «будь, что будет», и страх опять. Он вчера и не ждал, что так разволнуется. Не предполагал, что так боится за себя.

Теперь такси несло его по Большой Калужской, залитой огнями. Снег шел уже густыми частыми хлопьями, и палочка-протиралочка металась, очищая ветровое стекло.

Он думал о Дотти. Отчужденность их дошла к прошлой весне до того угла, что он устроил не взять ее с собой в Рим.

Зато, вернувшись в августе, узнал, что уже делил ее с одним офицером генштаба. С упрямой женской убежденностью она и не отрицала измены, а всю вину перекладывала на Иннокентия — зачем он оставлял ее одну?

Но даже и боли потери он не ощутил, скорей — облегчение. Он не мстил ей, не ревновал, он просто перестал посещать ее комнату и вот уже четыре месяца держал в блокаде и в презрении. Конечно, не могло быть и речи о разводе — развод был губителен при его службе.

Но сейчас, в эти дни до отъезда — или до ареста! — хотелось быть с Дотти мягким. Вспомнилось о ней не плохое, а всё только хорошее.

Если его арестуют — еще довольно ее будут трепать и стращать из-за него...

Справа, за решеткой Нескучного сада, мелькнули черные стволы деревьев и ветви, белые под снежным нападком.

Густо падавший снег приносил спокойствие и забвение.

ЗВАНЫЙ УЖИН

Прокурорская квартира, вызывавшая зависть всей лестничной клетки № 2, но казавшаяся тесной самой семье Макарыгиных, была слита из двух смежных квартир пробитием стенки, и потому имела две входных двери (одну заколоченную), две ванн, две уборных, два коридора, две кухни и пять комнат, в самой просторной из которых сейчас и был сервирован ужин.

Гостей с хозяевами было человек до двадцати пяти, и с переменной блуд едва справлялись две прислуги-

башкирки: одна своя, другая — взятая на вечер от соседей. Обе башкирки были почти девочки, из одной и той же деревни и прошлым летом кончившие одну и ту же десятилетку в Чекмагуше. Напряженные, разругавшиеся от кухни лица девушек выражали серьёзность и старание. Жена прокурора, высокая, полная, еще не старая женщина, следила за прислугою с одобрением.

Первая жена прокурора, покойница, прошедшая с мужем гражданскую войну, хорошо стрелявшая из пулемета, ходившая в кожанке и жившая последними постановлениями партячейки, не только не была бы способна довести дом Макарыгина до его сегодняшнего изобилия, но не умри она при рождении Клары — трудно даже себе представить, как она была бы дальше.

Напротив, Алевтина Никаноровна, нынешняя жена Макарыгина, знала, что не может процветать хорошая семья без хорошей кухни; что ковры и скатерти есть важный признак благосостояния, а хрусталь — уместное украшение банкетов. Хрусталь она собирала годами, и не тот теперешний грубоватый перекоsobоченный, прошедший конвейер равнодушных рук, не включивший в себя искорок души мастера. Она собирала хрусталь старинный, конфискованный по судебным приговорам в двадцатые и тридцатые годы и продававшийся по случаю в закрытых распределителях судебных работников, — хрусталь, каждая ваза и каждая чаша которого таила в себе особенность своего создателя. Еще очень пополнила она свои запасы в Латвии: два послевоенных года, когда прокурор работал в Риге, жила там с ним и она, и многим обзавелась в комиссионных магазинах и прямо на толкучке — из мебели, из посуды и даже просто отдельными серебряными ложками.

Сегодня на двух больших столах при ярком свете благородный хрусталь многоцветно рассыпал искры от граней, рёбер и алмазной резьбы. Тут был рубин

— «золотой» (темно-красный), «медный» (шоколадно-красный) и «селеновый» (красный, просвеченный легким желтым дыханием). Тут была темно-густая «хромпиковая» зелень и с золотистым оттенком зелень «кадмиевая». И кобальтовая синь. И беловатомутный глушённый хрусталь. И хрусталь иризованный, весь в цветах побежалости. И хрусталь под слоновую кость. И двугорлые графины с шарообразными пробками. И из простого «белого алмаза» многоэтажные конфеты — трехслойные вазы с фруктами, орехами и конфетами, поднявшиеся над теснотой угощений. И просто вазочки, бокалы и рюмки свинцового стекла. Все это было более, чем разнообразно: никакой цвет, никакой вензель почти не повторялся здесь шесть или двенадцать раз.

За столом для старших во всем этом блеске вспыхивал еще и виновник торжества — новенький орден прокурора среди потускневших прежних, тоже навинченных для такого случая.

Стол для молодежи тянулся через всю комнату. Столы хотя и смыкались, но расставлены были с поворотом, и сидевшие не все видели друг друга, а тем более не все слышали; разговоры разбились, а всё вместе сливалось в радостный, что-то уверенно наступающий гул, из которого выплескивал молодой смех и звон чоканья.

Уже остались далеко позади стройные тосты — за товарища Сталина, за работников правосудия и за хозяина дома, чтоб этот орден был не последний. К половине одиннадцатого сменилось уже немало угощений — соленых, сладко-соленых, острых, кислых, копченых, тощих, жирных, замороженных, обогащенных витаминами, и многие из этих блюд были достойны похвал, но не ели их с тем полным вниманием и наслаждением, как делал бы каждый в одиночестве. По заклятью всех званных пиршеств приготовлено было лучшее, расставленное в непоглотимых количествах, гости

сели потесней, мешая друг другу, и задались не тем, чтобы есть, а чтобы шутливо разговаривать, выказывая пище осторожное пренебрежение.

Впрочем, Щагов, уже много лет иссыхавший в студенческой столовой, и две девочки, подруги Клары по институту, отведывали блюда с проникновением, однако старались сохранять равнодушный вид. Очень жадно ела покровительствуемая хозяйкой и сидящая рядом с нею простоватая подруга ее юности, а теперь — жена инструктора райкома в дальнем Зареченском районе. Подруга эта была несчастна: с придурковатым мужем ее нельзя было выбиться в хорошее общество. Сейчас она приехала в Москву за покупками. Хозяйке было с одной стороны приятно, что та пробовала каждое блюдо, хвалила, спрашивала рецепт и открыто восхищалась всей обстановкой и всем окружением прокурорской семьи. С другой стороны, Алевтине Никаноровне было и стыдно перед неожиданным гостем генерал-майором Словутой за эту свою почти уже и не подругу, как стыдно и за Душана Радовича, давнишнего приятеля прокурора, но почти уже и не приятеля. И эта и тот были позваны потому, что вечер среди старших сперва намечался семейный, теперь же Словута мог подумать, что у Макарыгиных принимают рвань (так Алевтина Никаноровна называла всех, кто не умеет хорошо устроиться в жизни и получать высокую зарплату). Это отравляло ей вечер. И она посадила подругу на другой конец стола от Словуты и заставляла ее говорить тише.

Тут к их концу передвинулась и Дотнара, услышав краем уха интересный для себя разговор о домашней прислуге. (Действительно, всех так быстро раскрепостили и просветили, что никто не хотел помочь другим готовить пищу, мыть посуду и стирать.) Там, в Зареченском районе устроились вот как: помогли девушке уйти из колхоза — и за это она у них в семье два года отработывает; два года пройдут — выправят ей паспорт,

и она может ехать в город. А вот на эпидемстанции платят зарплату двум санитаркам, которых отроду не бывало, и за эту зарплату девки работают домработницами у завстанцией и у заврайздрава. Дотнара наморщила атласный лобик: в районе все это проще. Но в Москве?

Динэра, черная, решительная, быстрая (редко договаривающая мысль сама и не дающая договорить другим), напротив, соскучилась у почетного стола и пошла пересесть, где моложе. Она и одета была вся в черное: импортный шелк «лакэ» покрывал ее тело как тонкая блестящая лакированная кожа, и только албастровые руки вырывались выше локтя из этой кожи.

Одну руку она еще издала подняла с вызовом в сторону Ланского:

— Алеша! Иду на вы! «Незабываемый Девятьсот Девятнадцатый»..?

С ровной улыбкой, которою он встречал всех, Ланский ответил:

— Вчера.

— А почему не на премьере? Искала вас в бинокль, хотела разить по горячим следам!

Ланский, сидящий рядом с Кларой и ждущий от нее сегодня важного ответа, без воодушевления, но уже приготовился к спору, потому что уклониться от спора с Динэрой было невозможно. Много раз на литературных квартирах, в редакциях и в ресторане Центрального дома литераторов возникали между ними словесные турниры. Динэра, не связанная никаким литературным постом и никакой партийной должностью, смело (но в рамках) нападала на драматургов, сценаристов и режиссеров, не щадя даже мужа своего, Николая Галахова. Смелость суждений, сочетаясь со смелостью туалетов и со смелостью ее всем известной биографии, очень шла к ней и приятно оживляла пресные суждения тех, чья мысль была подчинена их литературной службе. Нападала она и на литературную

критику вообще, и на статьи Алеши Ланского в частности. Ланский же с улыбкой и выдержкой, никогда не уставал разъяснять Динэре ее анархические ошибки и мелкобуржуазные вывихи. Эту шутовскую враждебность-близость с Динэрой он охотно длил еще потому, что литературная судьба его самого весьма зависела от Галахова.

«Незабываемый 1919-й» была пьеса Вишневского, написанная как будто о революционном Петрограде и балтийских морях, на самом же деле — о Сталине, о том, как Сталин спас Петроград, и всю революцию, и всю Россию. По пьесе, приуроченной к семидесятилетию Отца и Учителя, получалось, что с помощью указаний Сталина кое-как справлялся с делом и Ленин.

— Вы понимаете, — с налетом мечтательности говорила Динэра, сев на предложенное ей место против Ланского через стол. — В театральном спектакле должна быть острая выдумка, почти даже шалость или дерзость. У того же Вишневского, вспомните в «Оптимистической трагедии» — этот хор из двух моряков, эти реплики: «Не слишком ли много крови в трагедии?» — «Не больше, чем у Шекспира» — ведь это же оригинально! И вот опять идешь на пьесу Вишневского, а тут — что же? Реалистическая вещь, конечно, впечатляющий образ Вождя, историческая достоверность, но и, но и... все?

— Как? — строго спросил тот очень молодой человек, который усадил Динэру рядом с собой. В петличке его чуть небрежно, чуть-чуть наискосок была вколота планка ордена Ленина. — Вам мало? Я не помню, где еще такой трогательный образ Иосифа Виссарионовича! Многие плакали в зале.

— У меня у с а м о й слезы стояли! — осадила его Динэра. — Я не об этом! — И продолжала Ланскому: — Но в пьесе почти нет имен! Участвуют: безличные три секретаря парторганизации, семь командиров, четыре комиссара — протокол какой-то! И опять эти

примелькавшиеся матросы-«братишки», кочующие от Белоцерковского к Лавреневу, от Лавренева к Вишневному, от Вишневного к Соболеву (Динэра так и качала головой от фамилии к фамилии, с зажмуренными глазами), знаешь заранее, кто хороший, кто плохой и чем кончится...

— А почему это вам не нравится? — поразился Ланский. — Зачем вам непременно внешняя ложная занимательность? А в жизни? Разве в жизни отцы наши сомневались, чем кончится гражданская война? Или мы разве сомневались, чем кончится Отечественная, даже когда враг был в московских пригородах?

— Или драматург разве сомневался, как будет принята его пьеса? — Объясните Алёша, почему никогда не проваливаются наши премьеры? Этого страха — провала премьеры — почему нет над драматургами? Честное слово, я когда-нибудь не сдержусь, заложу два пальца в рот, да как засвищу!...

Она очень мило показала, как это сделает, хотя ясно было, что от такого закладывания свиста не получится.

Соседний молодой человек, державшийся очень значительно, налил ей вина, но она не пила.

— Объясняю, — не смутился Ланский. — Пьесы у нас никогда не проваливаются (и не могут провалиться!) потому, что между драматургом и публикой наличествует единство как в плане художественном, так и в плане общего мироощущения.

— Ну-у, Алёша, — сморщилась Динэра. — Это вы можете оставить для статьи. Эту установку я знаю: что народу неинтересно ваше личное мнение; что как критик вы должны выражать истину, а она одна...

— Конечно, — спокойно улыбался Ланский. — Обязанность критика — не поддаваться простому движению чувств. Надо соотнести эти чувства с общими задачами...

Он продолжал разъяснять, но при этом не забывал

поглядывать и на Клару и кончиками пальцев касаться ее пальцев под уклоном тарелки, как бы говоря, что на самом деле он — с ней и ждет ответа.

Клара не могла ревновать к Динэре (да Динэра и ввела Ланского в дом Макарыгиных специально для Клары), но брала досада на эту литературную болтовню, отбирающую у нее Алексея. Кроме того, глядя, как Динэра скрестила алебастровые руки, Клара пожалела, что надела глухие рукава — у нее тоже были руки неплохи.

Но вообще она довольна была тем, как выглядела сегодня. Эта короткая досада не могла испортить ее непомерного, не в себе веселья. Она не обдумывала, а у нее так складывалось — быть сегодня веселой. Необыкновенный день кончался и вечером необыкновенным. Сегодня утром — но будто не сегодня утром, а очень-очень давно — чудесный оживленный разговор с Ростиславом. И его поэтический поцелуй. И корзиночка плетёная на ёлку. А едва примчалась домой — тут уже всё было готово к вечеру, и весь вечер, по сути, был для нее. И с наслаждением надев новое зеленое платье с блестящими резными накладками из крепса-тена, она взяла на себя встречу в передней всех гостей. Перестоявшая молодость ее в двадцать четыре года распушилась второй раз. Пришла ее пора — и именно нынешняя пора, только сейчас. Она даже, кажется, утром очень увлечённо обещала Ростиславу, что будет его ждать. Она, всегда так чисто сторонившаяся прикосновений — она ли, сегодня же вечером, встречая в передней Алёшу, дала своей руке задержаться в его руке. Между ними было охлаждение последний месяц, а тут, не отпуская пожатия, Алёша сказал:

— Клара! Суди меня, как хочешь. Я на встречу Нового Года заказал в «Авроре» два места. И мы с тобой пойдем? Это стиль не наш, но просто для шутки — пойдем?

И она не успела сказать ему «нет». Она вообще

не успела ответить, как вбежал толстый Женька с требованием найти какую-то пластинку. С тех пор они ни на миг не оставались вдвоем, и полвечера уже хранилось ощущение, что разговор между ними еще будет продолжаться.

Женька, бывший сокурсник Клары по Институту связи, и девчонки-сокурсницы чувствовали себя здесь еще студентами и держались, несмотря на присутствие высоких гостей, с крайней простотой. Женька разбойно налегал на вино, а кроме того несдержанно смешил одну из соседок, пока она, вся в румянце, с восклицанием «ой, не могу!» и давясь, не вскочила из-за стола. Ее удержал и стал от поперха бить по спине молодой лейтенант внутренней службы, племянник жены прокурора. (Все его звали пограничником, потому что он носил зеленый кант и зеленый околыш, на самом же деле он жил в Москве, а служил в поездах по проверке документов.)

За стол молодежи попал и Шагов и сидел рядом со своей Лизой. Он внимательно накладывал, наливал ей, что-то говорил, но это все — не думая, а думал над тем, что видел вокруг. При равномерно-любезном выражении лица он озирает окружающее, все это расставленное, развешанное и изостланное, и тех, кто так запросто пользовался этим: от витых генерал-юристских погонов и дипломатического пальмового шитья в одном углу комнаты до планочки ордена Ленина, небрежно вколотой в отворот костюма у очень молодого соседа (а он-то думал отличиться тут своими скромными орденишками!). Шагов не мог увидеть здесь ни одного фронтовика, своего брата по минным походам, своего брата по гадкой мелкой усталой трусце перепашанным полем — трусце, оглушительно именуемой атакою. И в начале вечера он даже вызывал в себе лица товарищей, убитых в конопле, под стенкой сарая, на штурмовых плотиках. И впору было ему дернуть скатерть и крикнуть: «Сволочи! А вы где были?!»

Но вечер шел, Шагов приятно выпил — столько, что еще не был хмелен, но уже подошвы его не ощущали всей тяжести своего давления на пол. И как пол стал будто более податлив, так податливее, приёмистее стала ощущаться и вся теплая, светлая действительность. Она не отталкивала. Шагов легко мог продвигаться по ней и своими мыслями, и своим телом с занывающими ранами, с сухотою желудка.

Не устаревают ли он с этим делением людей: «солдат — не солдат»? Ведь вот и ордена фронтовые, которые так стоили и так горели когда-то, теперь чуть ли не стесняются носить. И не будешь каждого трясти за грудки: «А ты где был?» Кто воевал, кто прятался — этого теперь не разберешь, смешалось. Есть закон времени, закон забытия. Мертвым — слава, а жизнь — живым.

Он один здесь знал цену благополучию и один здесь был достоин его по-настоящему. Пусть его первый приход в этот мир, но приход уже почти насовсем. И Шагов думал, оглядывая комнату: «Мое будущее! Мое будущее!»

Молоденький сосед Шагова с орденой планочкой, в галстук ярко-голубого и палевого цветов, со светлыми приглаженными волосами, уже почему-то редкими, смотрел на все окружающее не в полные глаза. Ему было двадцать четыре года, а старался он вести себя по крайней мере на тридцать, очень сдержанно шевелил руками и с достоинством держал нижнюю губу. Несмотря на свою молодость, он уже был один из ценимых референтов в приемной Президиума Верховного Совета. Референт прекрасно понимал, что жена прокурора мечтала бы женить его на Кларе, но Клара уже становилась ему мелковата. Да и вообще, с женитьбой ему был смысл повременить. Другое дело — Динэра, излучавшая что-то такое, что-то такое, от чего он приятно чувствовал себя подле нее теленком. Его очень поднимало в своих глазах даже просто пофлиртовать с женой та-

кого известного писателя, не говоря о чем-нибудь большем. Сейчас он ухаживал за ней, стараясь иногда прикасаться, и охотно поддержал бы ее в разговоре, но по разговору получалось так, что нельзя было не указать ей на ошибки.

— Но тогда вы входите в противоречие с Горьким! Вы оспариваете, наконец, самого Горького! — отбивался Ланский от Динэры.

— Горький — основоположник социалистического реализма! — напомнил ей референт. — И ставить под сомнение Горького, это, знаете, так же преступно, как...

(Как... у него язык не поворачивался сравнить — как...)

Ланский серьезно кивнул ему. Динэра улыбнулась.

— Мама! — громко, нетерпеливо обратилась Клара. — А нельзя нашему столу пока, до чая, — отпустить?

За это время жена прокурора уже выходила на кухню распоряжаться и возвращалась, а нудная подруга ее вцепилась в Дотнару и растянута рассказывала, что в Зареченском районе дети актива все на особом учете, для них бесперебойно всегда молоко, без отказа пенициллиновые уколы. Так разговор перешел на медицину. Дотнара, несмотря на молодость, уже кое-чем начинала болеть и пристращалась к разговору о болезнях.

Сама Алевтина Никаноровна смотрела так, что у кого есть положение, тем здоровье обеспечено. Достаточно набрать номер знаменитого профессора, лучше всего лауреата сталинской премии, и он выпишет рецепт, и пройдет любой инфаркт. А можно и купить путевку в самый первоклассный санаторий. Они с мужем не боялись болезней.

Услышав восклицание Клары, мачеха укоризненно отозвалась:

— Эх ты, хозяйка! Ты — угощай, а не гони от стола!

— Нет, мы хотим танцевать! хотим танцевать! — вскричал пограничник.

Женька быстро налил себе и выпил еще вина.
— Танцевать! Танцевать! — кричали другие.
И молодежный стол рассыпался.

Из соседней комнаты донеслись мощные звуки радиолы. Заведено было танго «Осенние листья».

57

ДВА ЗЯТЯ

Дотнара тоже ушла танцевать, подругу свою хозяйка приспособила носить тарелки, и за столом старших теперь осталось только пятеро мужчин: сам Макарыгин; его закадычный друг еще по гражданской войне, профессор давно упраздненного Института Красной Профессуры серб Душан Радович; другой приятель, не давний, кончавший вместе с Макарыгиным Высшие Юридические курсы — тоже прокурор, тоже генерал-майор, Словута; да два зятя — Иннокентий Володин в мышинном мундире с пальмовыми ветвями (видеть на нем сегодня этот мундир было непременно желанием тестя) и лауреат сталинской премии, известный писатель Николай Галахов.

Собственно, Макарыгин уже давал два дня назад большой банкет для сослуживцев, а сегодня устроить хотел все по-семейному и больше для молодежи. Но Словута, важный человек по службе, не присутствовал два дня назад, только вчера вернувшись с Дальнего Востока (он был один из главных прокуроров по громкому процессу японских военных, готовивших бактериологическую войну). Пришлось его пригласить на сегодня. Однако на сегодня же был еще раньше приглашен и гость почти нелегальный — Радович, которого неловко было показывать сослуживцам, но с кем

в этот вечер молодежи Макарыгин просто собирался отвести душу в воспоминаниях. Отказать в последний момент Радовичу можно было, но казалось самому обидно трусить. И Макарыгин решил отыграться на том, чтоб обязательно были оба зятя, дипломат — в золотом шитье, а писатель — со значком лауреата.

Теперь в разговоре Макарыгин очень опасался, что Радович выпалит какую-нибудь резкость (хотя человек он был умный, но по горячности с него могло стать) — и старался увести разговор куда-нибудь на безопасное мелкое место. Поэтому после ухода дочерей он, придерживая свой густой голос, стал шутливо пенять Иннокентию, что тот не потешил его старости и не подбросил ему внучат.

— Ведь они что с женой? — жаловался он. — Подобралась парочка, баран да ярочка — живут для себя, жируют и никаких забот. Устроились! Прожигатели жизни! Вы его спросите, ведь он, сукин сын, э п и к у р е е ц. А? Иннокентий, признайся — Эпикура исповедуешь?

Невозможно было даже в шутку назвать члена Всесоюзной Коммунистической партии — младо-гегельянцем, нео-кантианцем, субъективистом, агностиком или, упаси Боже, ревизионистом. Напротив, «эпикурец» звучало так безобидно, что вовсе не мешало человеку быть ортодоксальным марксистом.

Тут и Радович, любовно знавший всякую подробность из жизни Основоположников, не преминул вставить:

— Что ж, Эпикур — хороший человек, материалист. Сам Карл Маркс писал об Эпикуре диссертацию.

Радович был худ, сух, и темный пергамент его кожи казался натянутым прямо на кости.

Иннокентий испытывал приступ воодушевления. Здесь, в этой комнате, полной оживленного гула, смеха, ярких красок, — его внезапный арест казался ему совершенно невозможным. Рассеялись последние стра-

хи, какие еще шевелились в глубине. Он ходко пил, горячел и задорно оглядывал этих, ничего не ведающих, людей. Любимцем богов он казался себе сейчас. И Макарыгин, и даже Словута, которые в другой момент могли вызвать у него презрение, сейчас были ему по-человечески милы, были участниками его безопасности.

— Эпикура? — с посверкивающими глазами принял он вызов. — Исповедую, не отрекаюсь. Но я, вероятно, вас удивлю, если скажу, что «эпикурец» принадлежит к числу слов, не понятых во всеобщем употреблении. Когда хотят сказать, что человек непомерно жаден к жизни, сластолюбив, похотлив и даже попросту свинья, говорят: «он — эпикурец». Нет, пождите, я серьезно! — не дал он Макарыгину возразить и возбужденно покачивал пустой золотой фужер в тонких чутких пальцах. — А Эпикур как раз обратен нашему дружному представлению о нем. В числе трех основных зол, мешающих человеческому счастью, Эпикур называет ненасытные желания! А? Он говорит: на самом деле человеку надо мало, и именно поэтому счастье его не зависит от судьбы! Он совсем не зовет нас к оргиям. Правда, он признает, что высшее благо есть обыкновенное человеческое удовольствие. Но добавляет: так как всякого удовольствия мы добиваемся не сразу, а сперва идет период неудовлетворенной потребности и, значит, не удовольствия, — то лучше воздерживаться вообще от всяких стремлений! — кроме самых неприхотливых. Так он освобождает человека от страха перед ударами судьбы — и поэтому он великий оптимист, Эпикур!

— Да что ты говоришь! — удивился Галахов и вынул кожаную записную книжечку с белым костяным карандашиком. Несмотря на свою шумную славу, Галахов держался протестантски, мог подмигнуть, хлопнуть по плечу. Белые сединки уже живописно светились над его чуть смугловатым, несколько располневшим лицом.

— Налей, налей ему! — сказал Словута Макарыгину, тыча в пустой фужер Иннокентия, — а то он нас заговорит.

Тесть налил, и Иннокентий выпил с наслаждением. Только сейчас впервые, когда он так изящно ее защитил, философия Эпикура ему и в самом деле показалась достойной исповедания.

Улыбнулся нестандартному кредо и Радович. Он ни капли не пил спиртного (ему нельзя было) и вообще большую часть вечера сидел неподвижно, коричневый, одетый в какой-то строгий полувоенный френч, в строгих очках недорогой оправы. (Выходя же на улицу, он до последнего времени в Стерлитамаке надевал буденовский шлем, как в гражданскую или в НЭП, — только теперь это вызывало насмешки жителей и дружную ярость собак. В Москве же сейчас вообще так нельзя было бы одеться — милиция, пожалуй, не допустила бы.)

Словута с нестарым отёкшим лицом держался чуть свысока по отношению к Макарыгину (Словуте уже была подписана вторая генеральская звезда), но знакомством с Галаховым был очень доволен и представлял, как сегодня же вечером, в том доме, куда он еще намеревался попасть, он запросто передаст, что час назад выпивал с Колькой Галаховым, и тот ему рассказывал... но вот как раз Галахов ничего сегодня не рассказывал, был сдержан, наверно обдумывал новый роман? И Словута, убедясь, что ничего больше не почерпнет, собрался уходить.

В это самое время молодежь повалила танцевать. Макарыгин всячески уговаривал Словуту побыть еще и, наконец, обломал его на том, что надо поклониться «табачному алтарю» хозяина. Макарыгин гордился своей табачной коллекцией, содержимой в кабинете. Сам он обычно курил болгарский трубочный, доставляемый по знакомству, да вечерами, когда уже накуривался,

пробивал себя сигарами. Но гостей любил поражать, поочередно угачивая каждым сортом.

Дверь в кабинет была тут же, за спиной хозяина. Он открыл ее и приглашал Словуту и зятьев. Однако зятья отказались — отговорились от стариковской компании тем, что надо идти следить за женами. Прокурор обиделся, а главное забеспокоился — не встрял бы теперь Душан. Поэтому в дверях кабинета, пропустив Словуту вперед, обернулся к идущему сзади другу и выразительно погрозил ему пальцем от груди.

Но не пойдя за ним в кабинет, свояки вовсе не спешили и к женам. Они были в том счастливом возрасте (Галахов на несколько лет постарше), когда их еще принято было считать молодыми, но никто уже не тянул танцевать — и они могли отдаться наслаждению мужского разговора меж недопитых бутылок под отдаленную музыку.

Галахов, действительно, на прошлой неделе задумал писать о заговоре империалистов и борьбе наших дипломатов за мир, причем писать в этот раз не роман, а пьесу — потому что так легче было обойти многие неизвестные ему обстоятельства, детали интерьера и одежды. Сейчас ему было как нельзя кстати проинтервьюировать свояка, заодно ища в нем типические черты советского дипломата и вылавливая характерные подробности западной жизни, где должно было происходить все действие пьесы, но где сам Галахов был лишь мельком, на одном из прогрессивных конгрессов. Галахов создавал, что это не вполне хорошо — писать о жизни, которой не знаешь, но последние годы ему казалось, что заграничная жизнь, или седая история, или даже фантазия о лунных жителях легче поддадутся его перу, чем окружающая его истинная жизнь, очень сложная, заминированная на тропинках тем.

Они разговаривали, держа головы наклоненными друг к другу через стол: прислуга шумела сменяемой

посудой, из соседней комнаты густо пела радиола, а из следующей за ней — металлически бубнил телевизор.

— Привилегия писателей — допрашивать, — кивал Иннокентий, сохраняя все тот же удачливый блеск в глазах, с каким он защищал Эпикура.

— Может быть — горе их, — возразил Галахов.

Его плосконецкий белый костяной карандашик с уже вывинченным грифелем лежал приготовленный на скатерти...

— Во всяком случае, писатели всегда мне напоминают следователей, только без отпуска и без отдыха: в поезде и за чайным столом, на базаре и в постели они все ведут следствие о преступлениях, подлинных и мнимых.

— Значит, они напоминают нашу совесть?

— Читая ваши журналы, я бы сказал: не всегда.

— Однако мы ищем в человеке не преступления его, а его достоинства, его светлые черты.

— Вот именно поэтому ваша работа и противоположна работе совести. Так ты, значит, хочешь писать книгу о дипломатах?

Галахов улыбнулся. Улыбка у него была мужественная, очень шедшая его крупным чертам, столь непохожим на изнеженные черты Иннокентия.

— «Хочешь» — «не хочешь» — не решается, Инк, так просто, как в новогодних интервью. Но запастись заранее материалами... Не всякого дипломата расспросишь. Спасибо, что ты — родственник.

— И твой выбор доказывает твою пронизательность. Посторонний дипломат, во-первых, наврет тебе с три короба. Ведь у нас есть, что скрывать.

Они смотрели глаза в глаза.

— Я понимаю. Но... этой стороны вашей деятельности... отражать не придется, так что она меня...

— Ага. Значит, тебя интересует, главным образом,

— быт посольств, наш рабочий день, ну, как проходят приемы, вручения грамот...

— Нет, глубже! И — как преломляются в душе советского дипломата...

— А-а, как преломляются... Ну, уже всё! Я понял. И до конца вечера я тебе буду рассказывать. Только... объясни и ты мне сперва... Военную тему ты что же — бросил? исчерпал?

— Исчерпать ее невозможно, — покачал головой Галахов.

— Да, вообще с этой войной вам подвезло. Коллизии, трагедии — иначе откуда б вы их брали?

Иннокентий смотрел весело.

По лбу писателя прошла забота. Он вздохнул:

— Военная тема — врезана в сердце мое.

— Ну, ты же и создал в ней шедевры!

— И, пожалуй, она для меня — вечная. Я и до смерти буду к ней возвращаться.

— А может — не надо? — очень тихо и осторожно спросил Иннокентий.

— Надо! — твердо, уверенно ответил Галахов. — Потому что война поднимает в душе человека...

— В душе? — я согласен! — быстро предупредил Иннокентий. — Но посмотри, во что вылилась фронтовая и военная литература. Высшие идеи: как занимать боевые позиции, как вести огонь на уничтожение, «не забудем, не простим», приказ командира есть закон для подчиненных. Но это гораздо лучше изложено в военных уставах. Да, еще вы показываете, как трудно беднякам полководцам водить рукой по карте.

Галахов омрачился.

Быстро положив ему руку на руку через стол, Иннокентий сказал безо всякой насмешки:

— Николай! Неужели художественная литература должна повторять боевые уставы? или газеты? или лозунги? Например, Маяковский считал за честь взять

газетную вырезку эпиграфом к стиху. То есть, он считал за честь не подняться выше газеты! Но зачем тогда и литература? Ведь писатель — это наставник других людей, ведь так понималось всегда? А большой писатель в стране — это, прости за дерзость, снижаю голос — как бы второе правительство. И поэтому никакой режим никогда не любил больших писателей, а только маленьких.

Свояки не так часто встречались, знали друг друга мало. Галахов осторожно ответил:

— То, что ты говоришь, справедливо лишь для буржуазного режима.

— Ну, конечно, — легко согласился Иннокентий. — У нас совсем другие законы. У нас удивительный пример литературы, созданной не для читателей, а для писателей.

— Ты хочешь сказать, нас мало читают? — Галахов был способен выслушивать и высказывать весьма горькие мысли обо всей литературе и о собственных книгах, но с одной надеждой он расстаться не мог: что его читают и много читают (как Ланский был уверен, что его критические статьи формируют вкус и даже характер народа). — Ты не прав. Читают нас, может быть, больше чем мы заслуживаем.

Иннокентий вернул кистью руки.

— Нет, я не то хотел... Ну, шут с ним... Мне тещина вина много наливал, потому я непоседлив. Коля, ты поверь: я не по родству, я действительно твой доброжелатель, что-то мне симпатично в тебе... И поэтому я сейчас в особом настроении спросить тебя... по-свойски... Ты — задумывался?.. как ты сам понимаешь свое место в русской литературе? Вот тебя можно уже издать в шести томиках. Вот тебе тридцать семь лет, Пушкина в это время уже ухлопали. Тебе не грозит такая опасность. Но все равно, от этого вопроса ты не уйдешь — кто ты? Какими идеями ты обогатил наш

измученный век?.. Сверх, конечно, тех неоспоримых, которые тебе дает социалистический реализм.

Переходящие складочки, как желвачки прошли по лбу Галахова, по щеке.

— Ты... касаешься трудного места... — ответил он, глядя на скатерть. — Какой же из русских писателей не примерял к себе втайне пушкинского фрака?.. толстовской рубахи?.. — два раза он повернул свой карандашик плашмя по скатерти и посмотрел на Иннокентия ничего не прячущими глазами. Ему даже захотелось сейчас высказать то, что в литературских компаниях невозможно было высказать. — Когда я был пацаном, в начале пятилеток, мне казалось — я умру от счастья, если увижу свою фамилию, напечатанную над стихотворением. И, казалось, это уже и будет начало бессмертия... Но вот...

Огибая и отодвигая пустые стулья, к ним шла Доттара.

— Ини! Коля! Вы меня не прогоните? У вас не очень умный разговор? — она округлила губки.

Иннокентий изучающе посмотрел на нее. Все те же, что и девять лет назад, ниспадали к плечам ее свободные белокурые локоны. Она ждала ответа и поигрывала концами пояса блузы-реглан. Вишневый цвет блузы усилил румянец ее щек.

Давно Иннокентий не видел ее такую. Последние месяцы она старалась подчеркнуть свою независимость от него, особенность своих взглядов на жизнь. Но вот что-то переломилось в ней — или предчувствие разлуки вошло в ее сердце? — отчего такой покорной и ласковой она стала. И хотя он не мог простить ей долгой полосы непонимания и отчужденности, хотя он признавал, что не могла она перемениться враз, — но эта ее покорность прошла теплом по его душе, и он за руку притянул ее сестру рядом, хотя по их разговору это было некстати. В ответ Дотти с гибкостью еще не располневшего тела, сев рядом с мужем, прильнула к

нему ровно настолько, чтоб это оставалось приличным, но всем бы было видно, что она любит мужа и ей с ним хорошо. У Иннокентия мелькнуло, правда, что для будущего Дотти было бы лучше не показывать этой несуществующей близости. Однако он мягко поглаживал ее руку в вишневом рукаве.

Белый костяной карандашик лежал без дела.

Облокотясь о стол, Галахов смотрел мимо супругов в большое окно, освещенное огнями Калужской заставы. Говорить откровенно о себе при бабах было и вовсе невозможно.

...Но вот... но вот... его стали печатать целыми поэмами; сотни театров страны, перенимая у столичных, ставили его пьесы; девушки списывали и учили его стихи; во время войны центральные газеты охотно предоставляли ему страницы; он испробовал силы и в очерке, и в новелле, и в критической статье; наконец, вышел его роман, и он стал лауреатом сталинской премии. И что же? Странно: слава была, а бессмертия не было.

Он сам не заметил, когда и чем обременил и приземлил птицу своего бессмертия. Может быть, взмахи ее только и были в тех немногих стихах, заучиваемых девушками. А пьесы его, рассказы его и его роман умерли у него на глазах прежде, чем автор дожил до тридцати семи лет.

Но почему обязательно гнаться за бессмертием? Большинство товарищей Галахова ни за каким бессмертием не гнались, считая важнее свое сегодняшнее положение, при жизни. Шут с ним, с бессмертием, говорили они, не важнее ли влиять на течение жизни сейчас? И они влияли. Их книги служили народу, издавались в потрясающих тиражах, фондами комплектования рассылались по всем библиотекам, еще проводились специальные месячники проталкивания. Конечно, многой правды нельзя было написать. Но они утешали себя тем, что когда-нибудь обстоятельства изменятся,

они непременно вернутся еще раз к этим событиям, переосветят их истинно, переиздадут, исправят старые книги. А сейчас следовало писать хоть ту четвертую, восьмую, шестнадцатую, ту, черт ее подери, тридцать вторую часть, которую можно было! — потому что лучше немножечко, чем ничего.

Но угнетало Галахова, что писать-то! — все трудней становилось писать каждую новую страницу. Он заставлял себя работать по расписанию, он боролся с зевотой, с ленивым мозгом, с отвлекающими мыслями, с прислушиванием, что пришел, кажется, почтальон, пойти бы посмотреть газетки. Он старался месяцами не заглядывать в Толстого, потому что толстовская навязчивая манера писать так и пёрла сама из его автоматической ручки. Он следил, чтобы в кабинете было проветрено и восемнадцать градусов Цельсия, чтобы стол был чисто протерт — иначе он никак не мог писать.

Начиная новую большую вещь, всякий раз он вспыхивал, клялся себе и друзьям, что теперь никому не уступит, что теперь-то напишет настоящую книгу. С увлечением садился он за первые страницы. Но очень скоро замечал, что пишет не один — что перед ним всплыл и все ясней маячит в воздухе образ того, для кого он пишет, чьими глазами он невольно перечитывает каждый только что написанный абзац. И этот Тот был не Читатель, брат, друг и сверстник читатель, не критик вообще — а почему-то всегда прославленный главный критик Жабов.

Так и воображал себе Галахов Жабова, как он прочтет эту новую вещь и разразится против него огромной (уж так бывало) статьей на целую полосу «Литературки». Назовет он статью: «Из какой подворотни эти веяния?» или «Еще раз о некоторых модных тенденциях на нашем испытанном пути». Начнет он ее не прямо, начнет с каких-нибудь самых святых слов Белинского или Некрасова, с которыми только злодей мо-

жет не согласиться. И тут же осторожненько вывернет эти слова, перенесет их совсем в другом смысле — и выяснится, что Белинский или Герцен горячо засвидетельствуют, что новая книга Галахова выявляет нам его фигуру антиобщественную, антигуманную, с шаткой философской основой.

И так абзац за абзацем стараясь угадать контр-аргументы Жабова и приноровиться к ним, Галахов быстро ослабевал выписывать углы, и книга сама малодушно обкатывалась, ложилась податливыми кольцами.

И, уже зайдя за половину, видел Галахов, что книгу ему подменили, опять она не получилась...

— А черты нашего дипломата? — с погрустневшей улыбкой говорил Иннокентий, рассеянно поглаживая кисть жены. — Что ж! Ты и сам можешь их себе хорошо представить: Высокая идейность. Высокая принципиальность. Беззаветная преданность нашему делу. Личная глубокая привязанность к Иосифу Виссарионовичу. Неукоснительное следование инструкциям из Москвы. У некоторых сильное, у других — слабоватое знание иностранных языков. Ну, и еще у некоторых — большая привязанность к телесным удовольствиям. Потому что, как говорят, жизнь дается нам — один только раз... Но это уже не типично.

ЗУБР

Радович был давнишний и коренной неудачник: уже в тридцатые годы лекции его отменялись, книги не печатались, и сверх всего еще терзали его болезни: в грудной клетке он носил осколок колчаковского снаряда, пятнадцать лет у него тянулась язва двенадцати-

перстной, да много лет он каждое утро делал себе мучительную процедуру промывания желудка через пищевод, без чего не мог есть и жить.

Но, знаящая меру в своих щедротах и в своих преследованиях, судьба этими самыми неудачами и спасла Радовича: заметное лицо в коминтерновских кругах, он в самые критические годы уцелел из-за того, что не выползал из больниц. За болезнями же перехоронился он и в прошлом году, когда всех сербов, оставшихся в Союзе, или загоняли в антититовское движение или сажали в тюрьму.

Отчетливо понимая подозрительность своего положения, Радович чрезвычайным усилием сдерживался, не давал себе говорить, не давал вводить себя в фанатическое состояние спора, а пытался жить бледной жизнью инвалида.

И сейчас он сдерживался с помощью табачного столика. Такой столик — овальный, из черного дерева, стоял в кабинете особо с гильзами, машинкой для набивки гильз, набором трубок в штативе и большой перламутровой пепельницей. А около столика стоял табачный же шкафчик из карельской березы с многочисленными выдвижными ящичками (как в аптеке с порошками), в каждом из которых жил особый сорт папирос, сигарет, табаков трубочных и даже нюхательного. Все это вместе и называлось «табачный алтарь».

Молча слушая теперь рассказ Словуты о подробностях подготовки бактериологической войны, об ужаснейших преступлениях японских офицеров против человечности, о которых тот судил по представленным ему следственным материалам, — Радович сладострастно разбирался и принюхивался к содержимому табачных ящичков, не решаясь, на чем остановиться. Курить ему было самоубийственно, курить ему категорически запрещалось всеми врачами, — но так как ему запрещалось еще и пить, и есть (и сегодня за ужином он то-

же почти не ел) — то обоняние и вкус его были особенно изощрены к оттенкам табака. Жизнь без курения казалась ему бескрылой. «Fumo, ergo sum» — курю, значит существую, — отвечал он на уговоры не курить и скручивал цыгарки из грубейшей базарной махорки, которую предпочитал в своих стесненных денежных обстоятельствах. В Стерлитамаке во время эвакуации он ходил к дедам на огороды, покупал лист, сам сушил и резал. В его холостом досуге работа над табаком тоже способствовала размышлениям.

Собственно, если бы Радович и «встрял» — он не сказал бы ничего ужасного, ибо он был марксист плоть от плоти и кровь от крови и обо всем рассуждал верно. Однако непримиримая к малейшим отливам больше, чем к противоположным цветам, сталинская когорта тотчас бы срубила ему голову именно за то малое, в чем он отличался.

Но благополучным образом он смолчал, и разговор перешел от японцев к сравнительным качествам сигар, в которых Словута ничего не понимал и чуть не лишился дыхания от неосторожной затяжки. Затем к тому, что нагрузка у прокуроров с годами не только не уменьшается, но, даже при росте числа прокуроров, увеличивается.

— А что говорит статистика преступлений? — спросил бесстрастно по виду Радович, закованный в броню своей пергаментной кожи.

Статистика ничего не говорила: она была и нема, и невидима, и никто не знал, жива ли она еще.

Но Словута сказал:

— Статистика говорит, что число преступлений у нас уменьшается.

Он не читал самой статистики, но читал, как в журнале выражались о ней.

И так же искренне добавил:

— А все-таки еще порядочно. Наследие старого

режима. Испорчен народ очень. Испорчен буржуазной идеологией.

Три четверти шедших через суды выросли уже после семнадцатого года, но Словуте это не приходило в голову: он нигде этого не читал.

Макарыгин тряхнул головой — его ли в этом убеждают!

— Когда Владимир Ильич говорил нам, что культурная революция будет гораздо трудней Октябрьской — мы не могли себе этого представить! И вот теперь мы понимаем, как далеко он предвидел.

У Макарыгина был крутой окат головы и оттопыренные уши.

Курили, дружно наполняя кабинет дымом.

Кабинет у Макарыгина был сборный. Письменный стол — чей-то древний, на восьми круглых коротких ножках под тумбочками; чернильный прибор — самый новейший, с изображением, чуть не в полметра высотой над столом, Спасской башни с часами и звездой. В двух массивных чернильницах (как бы вышках кремлевской стены) было сухо — кандидату юридических наук Макарыгину давно уже не приходилось что-нибудь дома писать, ибо на всё хватало служебного времени, а письма он писал авторучкой. В книжных рижских шкафах за стеклами стояли кодексы, своды законов, комплекты журнала «Советское государство и право» за много лет. Большая советская энциклопедия старая (ошибочная, с врагами народа), Большая советская энциклопедия новая (все равно с врагами народа) и Малая энциклопедия (тоже ошибочная и тоже с врагами народа).

Всего этого Макарыгин давно уже не открывал, так как, включая и ныне действующий, но уже безнадежно отставший от жизни уголовный кодекс 1926 года — все это было успешно заменено пачкою самых главных, в большинстве своем секретных инструкций, из-

вестных ему каждая по своему номеру — 083 или 005 дробь 2742. Инструкции эти, сосредоточившие в себе всю мудрость судопроизводства, подшиты были в одной небольшой папке, хранящейся у него на работе. А здесь, в кабинете, книги держались не для чтения, а для почтения. Литература же, которую Макарыгин единственно читал — на ночь, а также в поездах и санаториях, укрывалась в шкафу непрозрачном и была детективная.

Над столом прокурора висел большой портрет Сталина в форме генералиссимуса, а на этажерке стоял маленький бюст Ленина.

Утробистый, выпирающий из своего мундира и переливающийся шеей через стоячий воротник, Словута осмотрел кабинет и одобрил:

— Хорошо живешь, Макарыгин! Зять-то старший лауреат — дважды?

— Дважды, — удовлетворенно отозвался прокурор.

— А младший — советник не первого ранга?

— Еще пока второго.

— Но боек, черт, до пссла дослужится! А самую младшую за кого выдавать думаешь?

— Да упрямая девка, Словута, уж выдавал ее — не выдается. Засиделась.

— Образованная? Инженера ищет? — Словута, когда смеялся, отпыхивался животом и всем корпусом. — На восемьсот рубликов? Уж ты ее за чекиста, за чекиста выдавай, надежное дело. Ну, спасибо, Макарыгин, что не забыл, не держи меня больше, ждут, да и одиннадцать скоро. А ты, профессор, тоже бувай здоров, не болей.

— Всего хорошего, товарищ генерал.

Радович встал попрощаться, но Словута не протянул ему руки. Радович оскорбленным презрительным

взглядом проводил круглую объемную спину гостя, которого Макарыгин пошел довести до машины.

Оставшись один с книгами, Радович тотчас потянулся к ним. Проведя рукой вдоль полки, он после колебания вытянул один из томиков Плеханова и уже нес в кресло, да заметил на столе еще книжечку в пестроватом черно-красном переплете, прихватил и ее.

Но книга эта обожгла его неживые пергаментные руки. Это была только что изданная (и сразу в миллионе экземпляров) новинка: «Тито — маршал предателей» какого-то Рено де Жувенеля.

За последнюю дюжину лет попадали в руки Радовича тьмы и тьмы книг хамских, холопских, насквозь лживых, но, кажется, такой мерзости он еще в руках не держал. Опытным взглядом старого книжника пробегаая страницы новинки, он в две минуты выхватил себе — кому и зачем такая книга понадобилась, и что за гадина ее автор, и сколько новой желчи поднимет она в душах людей против не заслужившей того Югославии. И после фразы, оставшейся у него в глазах: «Нет нужды подробно останавливаться на мотивах, побудивших Ласло Райка сознаться; раз он признавался — значит был виноват», — Радович с гадливостью отшвырнул книгу.

Конечно! Нет нужды подробно останавливаться на мотивах! Нет нужды подробно останавливаться, как следователи и палачи били Райка, морили голодом, бессонницей, а может быть, распростерши на полу, носком сапога отщемляли ему половые органы (в Стерлитамаке старый арестант Адамсон, оказавшийся Радовичу с первых же слов тесно-близким, рассказывал ему о т а м о ш н и х приемчиках). Нет нужды! Раз он признался — значит, был виноват!..

Summa summarum сталинского правосудия!

Но слишком больным, слишком ранимым местом была Югославия, чтобы сейчас задевать ее в разговоре

с Петром. И когда тот вернулся, невольным любовным взглядом косясь на новый орден («не так сам орден, как то, что тебя не забывают»), Душан затаённо сидел в кресле, сложившись вдвое и прикинув к тому Плеханова.

— Ну, спасибо, Душан, ничего не ляпнул. Я боялся — ляпнешь! — сказал Макарыгин, вынул новую сигару и с размаху опустил на диван.

— А что я мог ляпнуть? — даже удивился Радович.

— Что ляпнуть? — обрезал сигару прокурор. — Мало ли что! У тебя все куда-то выпирает. — И закурил. — Вон он про японцев рассказывал — у тебя губы дрожали возражать.

Радович распрямылся:

— Потому что за десять тысяч километров провокацией пованивает!

— Да ты с ума сошел, Душан! Ведь это партийное дело, как ты можешь говорить — провокация?

— Ничего не партийное! Словуты — это не партия! А почему именно сейчас, в сорок девятом году мы обнаружили их подготовку сорок третьего года? Ведь они у нас четыре года уже в плену. И если так рассуждать, кто же, ведя войну, не готовится к ее усилению? Все ты веришь? А колорадского жука нам сбрасывают американцы с самолетов? Да?

Оттопыренные уши Макарыгина покраснели.

— Вполне допускаю. А если и не сбрасывают, так государственная политика — это как со сцены: голос надо усилить, грим набавить, иначе до публики не дойдет.

Пергаментный Радович опять залистал Плеханова. Макарыгин молча курил, возвращаясь к какой-то потерянной мысли.

Мысль нашлась. Это была мысль о Кларе. По виду все было хорошо с дочерьми Макарыгина, но на самом

деле с младшей, самой любимой, самой похожей на мать, уже давно творилось что-то неладное, а за последние месяцы особенно. Когда обедали втроем без гостей, то не отдых и не семейный уют получался за столом, а собачья свалка. Все простое человеческое, о чем можно было поговорить так, чтобы не нарушать пищеварения, Клара отвергала, а сворачивала на своих «несчастных», с которыми работала и с которыми, видимо, потеряла осмотрительность и бдительность. Она ударялась в пафос, что там сидят невинные, ей ничего не стоило оскорбить отца, что это именно он, якобы осуждает невинных, и потом подавиться от злости и убежать из-за стола, не доев.

А на днях отец застал Клару около серванта: на стойку его она поставила туфлю, лупила туда подсвечником, забивая гвоздь, и при этом пела — пела какие-то бессмысленные слова вроде «бей, барабан!», но мотив показался отцу слишком знакомым. Он заметил, стараясь спокойнее:

— Для такой работы, Клара, можно другую песню выбрать. А «Слезам залит мир безбрежный» — с этой песней люди умирали, шли на каторгу.

Она же из упрямства, или черт знает из чего, оцепенилась:

— Подумаешь, благодетели! На каторгу шли! И теперь идут!

Как? Прокурор даже осел от наглости и неоправданности сравнения. То есть до такой степени потерять всякое понимание исторической перспективы. Едва сдерживаясь, чтобы только не ударить дочь, он вырвал у нее туфлю из рук и хлопнул об пол:

— Да к а к ты можешь сравнивать! Партию рабочего класса и фашистское отребье?!..

Твердолобая, хоть кулаком ее в лоб, не заплачет! Так и стояла, одной ногой в туфле, а другой в чулке на паркетe:

— Брось ты, папа, декламировать! Какой ты рабочий класс? Ты два года когда-то был рабочим, а тридцать лет уже прокурором! Ты — рабочий, а в доме даже молотка нет! Рабочий, а тронуть руль без шофера боишься! Бытие определяет сознание, сами нас научили.

— Да общественное бытие, дура! И сознание — общественное!

— Какое это — общественное? У одних — хоромы, у других — сараи, у одних — автомобили, у других — ботинки дырявые, так какое из них — общественное?

Отцу не хватало воздуха от извечной невозможности доступно и кратко выразить глупым юным созданиям мудрость старшего поколения:

— Ты вот глупа!.. Ты... ничего не понимаешь и не учишься!..

— Ну, научи! Научи! На какие деньги ты живешь? За что тебе тысячи платят, если ты ничего не создаешь?

Хмурая молния пересекла потемненное лицо Клары.

— Накопленный труд, идиотка! Читай Маркса! Образование, специальность — это накопленный труд, за него платят больше. А тебе в твоём институте платят тысячу восемьсот — за что?

Тут на крик ворвалась и жена и тоже напустилась на Klarу, что надо было человека позвать, заплатить, сапожники на то есть, а нечего сервант портить и подсвечник.

...Сидя теперь на диване, Макарыгин сомкнул веки и живо представил любимую и ненавистную дочь, как она с находчивостью осыпала его оскорблениями, как потом подняла брошенную туфлю и, хромая, ушла в свою комнату.

— Душан, Душан, — размягченно вздохнул Макарыгин. — Что мне с дочерью делать?

— С какой дочерью? — удивился Радович. Он продолжал листать и почитывать.

Лицо Макарыгина почти не сужалось книзу. Широкость и прямоугольность его лица весьма шли к суровой общественной обязанности прокурора. Большие же отставленные уши были ему, как крылья — сфинксу. Было странно видеть на этом лице выражение растерянное.

— Душан! Как это могло случиться? Когда мы гнали Колчака — могли мы думать, что такая будет нам благодарность от детей?

Он рассказал сцену с тувлей.

Радович достал из кармана грязноватый кусок замши и с волнением протирал им стекла очков. Близорукый без них, он ответил:

— Рядом со мной живет славный молодой человек, демобилизованный офицер. Между прочим рассказывает: селился он с солдатами всегда в одном блиндаже. И вот кто ни приедет — подполковник, замполит, — все укоряют: почему ты отдельного блиндажа себе не строишь? почему тебе ординарец не готовит отдельно? Ты, значит, сам себя не уважаешь! А зачем тебе офицерский паек дают?.. У парня наше воспитание, ленинское, — так нельзя! всем глаза колет! Командир полка просто приказал: «не позорь офицерского звания!» Вот намаются солдаты с перехода, он им: стройте мне блиндаж! тащите мне мебель туда! Начальство хвалит: давно бы так!

— Ну, так что ты хочешь? — нахмурился прокурор. Неприятен с годами становился Душан. Из зависти, что у самого нет, хочет уколоть каждого.

— Что хочу? — Радович надел очки и встал, сухой, прямой. — Девчонка права! Нас об этом предупреждали. Надо уметь учиться и у врагов.

— Ты апеллируешь к анархистам? — изумился прокурор.

— Нет, Петр, я апеллирую к партийной совести! — воскликнул Душан и поднял руку с сухим перстом. —

«Слезами залит мир безбрежный»? И — накопленный труд? А может быть — пакетики? И ты получаешь тысяч восемь? А уборщица двести пятьдесят рублей?

Лицо Макарыгина стало вовсе прямоугольным. Щека одна подергивалась.

— Ты — обезумел в своей пещере! Ты утратил связь с реальной жизнью! Что же мне — пойти завтра и просить, чтобы мне платили двести пятьдесят рублей? А как я буду жить? Да меня выгонят, как сумасшедшего! Ведь другие-то не откажутся!

Разя перстом, как пикой, Радович вгорячах подтверждал свои слова колющими движениями руки:

— Нужно железное оздоровление! Нужно очиститься от этой буржуазной гнили! Посмотри, чем ты оброс? Петр! В кого ты превратился?

Макарыгин защитился распяленной ладонью.

— Да для чего тогда и жить! За что мы боролись? Вспомним Энгельса: «равенство» не значит равенства всех нулю! Мы идем к тому, чтобы все преуспевали!

— За Энгельса ты не прячься! По тебе вернее будет Фейербах: «Твоя первая обязанность — сделать счастливым себя самого! Если ты счастлив, то ты делаешь также и других счастливыми...»

— Великолепно сказано! — хлопнул ладонями Макарыгин. — Вот я не знал! Покажешь мне это место.

— Ве-ли-ко-лепно! — захохотал, не то закашлялся Радович, и в страшном хохоте этом затрясся его скелет. — Мораль уайльдовского мельника! Хью! Нет! Кто сам двадцать лет не страдал, я б тому запретил упражняться в философии!

— Ты — засохший фанатик! Ты — мумия! Ты — доисторический коммунист!

— Как быстро ты стал историческим! — Радович с письменного стола схватил рамку с фотографией бело волосой женщины в кожанке с маузером. — А Лена со Шляпниковым не была заодно, не помнишь? Скажи

спасибо, что умерла. Не то вряд ли бы тебя на Шахтинское дело взяли!

— Поставь! — приказал побледневший Макарыгин. — Памяти ее не шевели! Зубр! Зубр!

— Нет, я не зубр! Я хочу ленинской чистоты! — Радович снизил голос. — У нас ничего не пишут. В Югославии — рабочий контроль на производстве. Там...

Макарыгин неприязненно усмехнулся.

— Ты — серб, сербу трудно быть объективным. Я это понимаю и прощаю. Помнишь, что Маркс писал о «балканском провинциализме»? Балканы — это не весь мир.

— И тем не менее... — воскликнул Радович, но дальше осёкся. Здесь была грань, за которой могла хрупнуть даже дружба, начавшаяся в красногвардейском отряде. Здесь была грань, за которой Петр Макарыгин не мог не стать прокурором.

Радович погас, смолк, съёжился снова в маленького пергаментного человечка.

— Ну, договаривай, договаривай, зубр! — враждебно требовал Макарыгин. — Значит, полуфашистский режим в Югославии — это и есть социализм? А у нас значит — перерождение? термидор? Старые словечки! Мы их давно слышали, только уж на том свете те, кто их произносил. Тебе осталось еще сказать, что в схватке с капиталистическим миром мы обречены на гибель. Да?

— Нет! Нет! — убежденный и озаренный лучами провидения, снова всплеснулся Радович. — Этому не бывать! Капиталистический мир разъедается несравненно худшими, антагонистическими противоречиями! И, как предсказывали все коминтерновцы, я твердо верю: мы скоро будем свидетелями вооруженного столкновения за рынки сбыта между Соединенными Штатами и Англией!

ПЕРВЫМИ ВСТУПАЛИ В ГОРОДА

А в гостиной танцевали под радиолу, нового типа, очень большую. Пластинок у Макарыгиных был целый шкаф — и записи речей Отца Народов с его растягиваниями, мычанием и акцентом (как во всех благонастроенных домах они тут были, но, как все нормальные люди, Макарыгины их никогда не слушали); и песни «О самом родном и любимом», о самолетах, которые «первым делом», а «девушки потом» (но слушать их здесь было бы так же неприлично, как в дворянских гостиных всерьез рассказывать о библейских чудесах). Заводились же на радиоле сегодня пластинки импортные, не поступающие в общую продажу, не исполняемые по радио, и были среди них даже эмигрантские с Лещенко.

В комнате, следующей за гостиной, верхнего света не зажгли: там стоял телевизор, и Клара включила его. Еще украшало ту комнату пианино, на котором со дня покупки никто никогда не играл, и с крышки его никогда не снималась пестрая дорожка. Телевизоры только-только появились, и экран имели с почтовый конверт. Изображение у Клары получилось дробное и сбивалось с экрана. Хотя как радио-инженеру ей полагалось и самой разобраться в неполадках, она позвала Женьку. Женька был уже сильно пьян, но дело разумел (он повседневно работал на много-мега-ваттной заглушке). Он еще нашел в себе силы наладить телевизор, пока его не разобрало больше.

Из гостиной остеклённая дверь на балкон при раздвиге шелковых занавесей открывала оживленное снование Калужской заставы, фары автомобилей, красные и зеленые огоньки светофора, красные тормозные сигналы — под падающим, падающим снегом.

Мебель не давала простора сразу восьми парам, и танцевали посменно. Среди одушевленных в танцах лиц девушек и очень старательного выражения у лейтенанта внутренней службы выделялась извинительная улыбка Ланского, будто он просил окружающих простить ему такое пустяковое занятие. Молодой референт не отходил от Динэры пока она, насладясь его смятением, не велела ему потанцевать с другой. Одна из Клариных сокурсниц, худощавенькая, приятная, весь вечер не сводила глаз с государственного молодого человека. Хотя он сторонился рядовой молодежи, но тут, устало польщенный, решил вознаградить ту худенькую танцем. Им достался ту-степ. А после него сразу раздалось общее требование о перерыве.

Одна из девочек башкирок стала разносить мороженое.

Государственный молодой человек отвел девушку в углубление балконной двери, куда были задвинуты два кресла, принес мороженого, похвалил, как она танцует. Она улыбнулась ему и порывалась к чему-то. Он оглядел ее нервную шею, совсем не высокую грудь под тонкой блузкой и, пользуясь тем, что занавеси частью скрывали их от комнаты, благосклонно застиг ее руку на ее колене. Девушка взволнованно заговорила:

— Виталий Евгеньевич! Это такой счастливый случай — встретить вас здесь! Не сердитесь, что я осмеливаюсь нарушить ваш досуг. Но в приемной Верховного Совета к вам невозможно попасть. — (Виталий снял свою руку с руки девушки.) — У вас в секретариате уже полгода находится лагерная а к т и р о в к а моего отца, разбитого в лагере параличом, и мое прошение о помиловании. — (Виталий беззащитно откинулся в кресле и ложечкой сверлил шарик мороженого. Девушка же забыла о своем, неловко задела ложечку; та кувыркнулась, поставила пятно на ее платье и упала к балконной двери, где и осталась лежать.) — У него отнята вся правая сторона! Еще удар — и он

умрет. Он — обреченный человек, зачем вам теперь его заключение?

Губы референта перекинулись.

— Знаете, это... не тактично с вашей стороны — обращаться ко мне здесь. Наш служебный коммутир — не секрет, позвоните, я назначу вам прием. Впрочем, отец ваш по какой статье? По пятьдесят восьмой?

— Нет, нет, что вы! — с облегчением воскликнула девушка. — Неужели бы я посмела вас просить, если б он был политический? Он по закону от седьмого августа!

— Все равно и для седьмого августа активировка отменена.

— Но ведь это ужасно! Он умрет в лагере! Зачем держать в тюрьме обреченного на смерть?

Референт посмотрел на девушку в полные глаза.

— Если мы будем так рассуждать — что же тогда останется от законодательства? — Он усмехнулся. — Ведь он осужден по суду! Вдумайтесь! Так что значит — «умрет в лагере»? Кому-то надо умирать и в лагере. И если подошла пора умирать, так не все ли равно, где умирать?

Он встал с досадой и отошел.

Его слова прозвучали с той убежденной простотой, против которой нечего возразить и искуснейшему в риторике.

Нетактичная девушка тихо пересекла гостиную, не замеченная Кларой, скользнула в столовую, где собирался чай и торты, оделась в коридоре и ушла.

А Клара возилась у телевизора, все ухудшая изображение на нем. (Женька же отходил в ванной.)

Пропустив в двери помраченную худенькую девушку, Галахов, Иннокентий и Дотнара перешли в гостиную. Тут навстречу им вышел Ланский.

Мы всегда особенно любим тех, кто может нас оценить. Ланский тонко ценил то, что Галахов уже напи-

сал, и ждал от него еще бóльшего — с тем бóльшим удовольствием Галахов сотрудничал с Ланским и продвигал его.

Алексей был сейчас в том особенно легком бальном настроении, когда скажешь и немного дерзко, — а все получается складно.

— Николай Аркадьевич, — воскликнул он, светясь. Признайтесь! — в самой-рассамой глубине души ведь вы не писатель. А — кто?.. — (Это было как повторение вопроса Иннокентия, и Галахов смутился). — Солдат?

— Конечно, солдат! — мужественно улыбнулся Галахов.

И сощурился, как смотрят в даль. Ни от каких дней писательской славы не осталось в его сердце столько гордости и, главное, такого ощущения чистоты, как ото дня, когда его черт понес с пушкинской головой добираться до штаба полуотрезанного батальона — и попасть под артиллерийский шквал и под минный обстрел, и потом в блиндаже, растрясенным бомбежкой, поздно вечером обедать из одного котелка вчетвером с батальонным штабом — и чувствовать себя с этими обгорелыми вояками на равной ноге.

— Так разрешите вам представить моего фронтowego друга капитана Щагова!

Щагов стоял прямой, не унижая себя выражением почтения. Большой ровный нос и широкое лицо придавали ему открытость.

Напротив, знаменитый писатель при виде боевых орденов, медалей и двух нашивок ранений с размаху ударил рукой в рукопожатие:

— Майор Галахов! — улыбнулся он. — Где воевали? Ну, сядем, расскажите.

И они уселись на ковровой тахте, потеснив Иннокентия и Дотти. Хотели усадить тут же и Ланского, но он сделал таинственный знак и исчез. Действительно, встреча фронтовиков не могла же произойти на-сухую!

Щагов рассказал, что с Ланским они подружились в Польше в один сумасшедший денек пятого сентября сорок четвертого года, когда наши с ходу вырвались к Нареву и заскочили за Нарев, чуть не на бревнах переправлялись, зная, что в первый день легко, а потом и зубами не возьмешь. Пёрли нахально сквозь немцев в узком километровом коридорчике, а немцы лезли перекусить коридор, и с севера сунули триста танков, а с юга — двести.

Едва начались фронтовые воспоминания, Щагов потерял тот язык, на котором он ежедневно разговаривал в университете, Галахов же — язык редакций и секций, а тем более — тот взвешенный нарочитый язык, которым пишутся книги, и оба они выбились из языка гостинной, ибо стало просто невозможно на вытертом осторожном этом языке передать сочное и дымное фронтовое бытие. И даже после десятого слова им очень понадобились ругательства, увы, немислимые здесь.

Тут появился и Алексей с тремя рюмками и бутылкой недопитого коньяка. Он пододвинул стул, чтобы видеть обоих, и в руках стал им разливать.

— За солдатскую дружбу! — произнес Галахов, щурясь.

Выпили.

— Не всё! — укоризненно поболтал Ланский бутылку на свет.

Разлил.

— За тех, кто не вернулся! — поднял Щагов.

Выпили. Ланский воровато оглянулся и спрятал пустую бутылку за тахту.

Новое опьянение добавилось к старому. Алексей свернул рассказ в свою сторону: как в этот памятный день он, новоиспеченный военный корреспондент, за два месяца до того окончивший университет, впервые ехал на передовую, и как на попутном грузовичке (а грузовичок тот вез Щагову противотанковые мины) проскочил под немецкими минометами из Длугоседло в Кабат

коридорчиком до того узким, что «северные» немцы жахали минами в расположение немцев «южных», и как раз в том же месте в тот же день один наш генерал возвращался из отпуска с семьей на фронт — и навилесе занесся к немцам. Так и пропал.

Прислушивавшийся к ним Иннокентий спросил об ощущении страха смерти. Разогнавшийся Ланский поспешил сказать, что в такие отчаянные минуты смерть не страшна, о ней забываешь. Щагов поднял бровь, поправил:

— Смерть не страшна, пока тебя не трахнет. Сперва ничего не боишься, испытываешь — боишься всего. Но утешение то, что смерть как бы тебя не касается: ты есть — ее нет, она придет — тебя уже не будет.

На радиоле кто-то завел «Вернись ко мне, малютка!»

Для Галахова воспоминания Щагова и Ланского были безынтересны — и потому, что он не был свидетелем той операции, не знал Длугоседло, Кабата и Нове-Място; и потому, что он был не из мелких корреспондентов, как Ланский, а из корреспондентов стратегических. Бои представлялись ему не вокруг одного изгнившего дощаного мостика и не на конопельных задах деревни, — а в широком охвате, в генеральско-маршальском понимании их целесообразности.

И Галахов сбил разговор:

— Да. Война-война! Мы попадаем на нее нелепейшими горожанами, а возвращаемся с бронзовыми сердцами... Алексей! А у вас на участке «песню фронтовых корреспондентов» пели?

— Ну, как же! — и Ланский напел.

— Нэра! Нэра! — позвал Галахов. — Иди сюда! «Фронтовую корреспондентскую» — споем, помогай!

Когда на смугловатом лице Галахова мелькали ровные белые зубы, — пропадало впечатление тяжелеющих его щек.

Динэра быстро подошла.

— Извольте, друзья! — тряхнула она головой. — Извольте! Я и сама фронтовичка!

Радиолу выключили, и они запели втроем, недостаток музыкальности искупая искренностью:

От Москвы до Бреста
Нет на фронте места,
Где бы ни скитались мы в пыли,
С «лейкой» и с блокнотом,
Кто и с пулеметом,
Сквозь жару и стужу мы прошли.

Все стягивались их слушать. Молодежь с любопытством глазела на знаменитость, которую каждый день не увидишь.

От ветров и водки
Хрипли наши глотки,
Но мы скажем тем, кто упрекнет:
— С наше покочуйте,
С наше поночуйте,
С наше повоюйте хоть бы год!

Едва началась эта песня, Шагов, сохраняя все ту же улыбку на губах, внутренне охолодел, и за свое неуместное увлечение ему стало стыдно перед теми, кого здесь, конечно, не было, кто глотали днепровскую волну еще в Сорок Первом и грызли новгородскую хвойку в Сорок Втором. Алексей Ланский был милый парень, а Галахов весьма уважаемый писатель — но они мало знали тот фронт, который обратили теперь в святыню. Даже смелейшие из корреспондентов, лезшие в самое чертово пекло (а таких не было большинство), — все равно от строевиков отличались так же непереходимо, как пашущий землю граф от мужика-пахаря: они не были уставом и приказом связаны с боевым порядком, и потому никто не возбранил им и не поставил бы

в измену испуг, спасение собственной жизни, бегство с плацдарма. Отсюда зияла пропасть между психологией строевика, чьи ноги вросли в землю передовой, которому не деться никуда и, может быть, тут и погибнуть, и корреспондента с крылышками, который через два дня поспеет на свою московскую квартиру.

Там, где мы бывали,
Нам танков не давали,
Репортер погибнет — не беда,
И на «эмке» драной
С кобурой нагана
Первыми вступали в города!

Это «первыми вступали в города» были — два-три анекдота, когда, плохо разбираясь в топографической карте, корреспонденты по хорошей дороге (по плохой «эмка» не шла) заскакивали в «ничей» город и, как ошпаренные, выскакивали оттуда назад.

Рассеянно поигрывая пальцами жены, Иннокентий слушал, понимая песню тоже по-своему. Войны он не знал совсем, но он знал положение наших корреспондентов. Наш корреспондент совсем не был тем беднягой-репортером, каким изображался в этом стихе, — репортером, жизнью которого якобы не дорожат и который может потерять свою работу в газете, если опоздает с сенсацией. Наш корреспондент, едва только он показывал свою книжечку, уже был принимаем как важный начальник, от которого надо постараться скрыть недостатки своего «хозяйства», а достоинства перед ним выпятить. Он воспринимался в месте своего приезда почти как имеющий право давать «установки». И самый успех корреспонденций его зависел не от быстроты и верности полученных сведений, а от правильного освещения этих сведений, от правильного мировоззрения. Имея же правильный взгляд на вещи, корреспондент, очевидно, не имел большой нужды лезть на такой плац-

дарм или в такое пекло, потому что правильное понимание он мог сформулировать и в тылу.

Кое-как наладив, наконец, телевизор и гордая этим, вышла из полутемной комнаты Клара и стала так, что Ланский увидел ее. С мыслью о том, что она мила, да можно сказать, что и стройна, и вообще действительно нравится ему, он улыбнулся ей ясными глазами и спел так последний куплет, в котором им троим уже подпевали:

— Выпьем за победу!
Выпьем за газету!
А не доживем, мой дорогой, —
Кто-нибудь услышит,
Кто-нибудь напишет,
Кто-нибудь помянет нас с тобой...

Но не успели пропеть «с тобой» как где-то недалеко раздалось шипение, и вся квартира погрузилась во мглу.

— Раз-рыв! — крикнул голос, и смех раскатился среди молодежи. Только он стих, кто-то из молодых пошутил в темноту:

— Мика! Что ты делаешь? Это же не Люся, это я!
Опять смеялись. Потом говорили все вместе, ничего не предпринимая. В разных местах зажигали спички, дули на них, роняли непогашенные.

Окна светились. Из коридора башкирочка доложила хозяйке:

— На лестнице горит.

— А где Женька? Женька! Почини!

— Женька не может прийти, — отклонил чей-то мрачный уверенный голос.

— Надо монтера позвать! — скомандовала из столовой жена прокурора. — Кларочка, позвони в электросеть!

— Не пускайте Клару! Зачем — монтера? Она сама может!

— Это, наверно, в телевизоре... — отозвалась Клара.

— Что за глупости, молодые люди? — строго спросила жена прокурора уже где-то близко. — Вы хотите, чтобы мне дочь убило током? Пожалуйста, кто желает исправить — исправьте. А иначе будем звонить.

Наступило неприятное молчание. К чему-то было сказано о телевизоре, не то дело было в тех пробках, которые что-то затыкают под потолком. Но, сколько было их тут — полезнейших членов общества, обитателей двадцатого века — дипломат, писатель, литературный критик, референт высокого учреждения, драматический артист, пограничник, студент юридического факультета — никто из них не вызвался. И раздался лишь голос фронтовика в сапогах, чье присутствие некоторым казалось лишним:

— Разрешите, я. Клара Петровна, телевизор выключите, пожалуйста.

Щагов ушел в первый коридор, и башкирки ему там светили стеариновым огарком, фыркая. Башкирок сегодня хозяйка похвалила, и обещала по десятке заплатить сверх уговоренного. Они были очень довольны своей службой здесь и надеялись не к этой, но к следующей весне подзаработать и одеться так, чтобы выйти замуж в городе, а домой не возвращаться.

Когда свет снова зажегся — Клары не было на виду у гостей: во время темноты Ланский увлек ее во второй, непроходной коридор, и там они стояли за шкафом.

Ланский уже получил от нее согласие на встречу Нового года в «Авроре». Он праздновал, что эта девушка, беспокойная, насмешливая, будет, не миновать, его женой и придирчивым другом, не дающим остановиться или расползтись. Он наклонился и целовал ее руки и узорчатые браслеты глухих рукавов.

Клара смотрела чуть сверху на его склоненную голову и задыхалась. Она не была виновата, что тот и этот оказались не один человек, а разных два. Она не

была виновата, что наступило ее последнее предельное созревание и неумолимым законом природы она должна была, как сентябрьское яблоко, упасть в руки тому, кто ее подхватит.

ПОЕДИНОК НЕ ПО ПРАВИЛАМ

Там, на верхней койке, наедине то с круглым сводчатым потолком, как купол небес раскинувшимся над ним, то уткнувшись в разгоряченную подушку, которая представлялась ему лоном Кларинового тела, Ростислав изнывал от счастья. Уже полдня прошло от поцелуя, стомившего его с ног, а ему все еще было жаль осквернить свои счастливые губы пустою речью или жадной едой.

«Ведь вы не могли бы меня ожидать!» сказал он ей.

И она ответила:

«Почему не могла бы? М о г л а б ы . . .»

— ...Вот ты опять ускользаешь от честного мужского спора! — раздавался почти под ним сочный звонкий молодой голос. — Ты опять предпочитаешь забрасывать собеседника птичьими словами!

— А ты опять не говоришь, а заклинаешь! Пифия! Мавринская пифия! Почему ты думаешь, что я горю желанием с тобой спорить? Мне это, может быть, так же скучно, как вдалбливать старику-песочнику, что Солнце не ходит вокруг Земли. Нехай себе доживает, як знает!

— В тюрьме-то и поспорить! А где же спорить? На воле быстро попадешь, куда надо. А здесь ты встречаешься с настоящими спорщиками! — и уклоняешься? Да?

Сологдин и Рубин, как свороженные своими вечными разногласиями и каждый боясь оставить поле боя, чтоб это не было признано за его поражение, всё сидели у опустевшего именинника. Адамсон давно ушел читать «Монте-Кристо». Пряничков убежал листать прошлогодний «Огонек», откуда-то появившийся. Проводя Кондрашева-Иванова, Нержин пошел к дворнику Спиридону. Потапов, исполняя до конца обязанности хозяйки дома, помыл посуду, разнес тумбочки и лег, накрываясь подушкой от света и шума. Многие в комнате спали, другие тихо читали или переговаривались, и был тот час, когда уже сомневаешься — не пропустил ли дежурный выключить свет, заменив его на синий. А Сологдин и Рубин всё сидели на пустой постели Пряничкова у последней оставленной тумбочки.

И Сологдин увещевал, тише и мягче:

— Настоящий спор, говорю тебе из опыта, производится как п о е д и н о к . По согласию выбираем посредника — хоть Глеба сейчас позовем. Берем лист бумаги, делим его отвесной чертой пополам. Наверху через весь лист, пишем содержание спора. Затем, каждый на своей половине, предельно ясно и кратко, выражаем свою точку зрения на поставленный вопрос. Чтобы не было случайной ошибки в подборе слова — время на эту запись не ограничивается.

— Ты из меня дурака делаешь, — полусонно возразил Рубин, опуская сморщенные веки. Лицо его над бородой выражало глубочайшую усталость. — Что ж мы, до утра будем спорить?

— Напротив! — весело воскликнул Сологдин, блестя глазами. — В этом-то и замечательность подлинного мужского спора! Пустые словопрения и сотрясения воздуха могут тянуться неделями. А спор на б у м а г е иногда кончается в десять минут: сразу же становится очевидным, что противники или говорят о разных вещах, или ни в чем не расходятся. Когда же выявляется смысл продолжать спор, — начинают поочередно запи-

сывать доводы на своих половинках листа. Как в поединке: удар! — ответ! — выстрел! — выстрел! И вот: невозможность увилить, отказываться от употребленных выражений, подменять слова словами — приводит к тому, что в две-три записи явно проступает победа одного и поражение другого.

— И время — не ограничивается?

— Для одержания истины — нет!

— А еще на эспадронах мы драться не будем?

Воспламенившееся лицо Сологодина омрачилось:

— Вот так я и знал. Ты первый насакиваешь на меня...

— По-моему, ты первый!..

— ...даешь мне всякие клички, у тебя их в сумке много: мракобес! попятник! — (он избегал иноземного непонятого слова «реакционер») — увенчанный прислужник (значило: «дипломированный лакей») поповщины!.. У тебя набралось бранных слов больше, чем научных определений. Когда же я беру тебя за жабры и предлагаю честно спорить, — у тебя нет времени, нет охоты, ты устал!

Сологодина тянуло к спору, как всегда в воскресные вечера, которые он по своему распорядку отводил для забав. К тому ж сегодня у него во многом был день побед.

А Рубин действительно устал. Перед ним высилась новая, трудная и не очень-то симпатичная работа. Завтра с утра надо было в одиночку приниматься за создание целой новой науки, для этого уже с вечера беречь бы силы. И письма давно звали его, а он не писал. И еще звали Рубина монголо-финский, испано-арабский и другие словари, Чапек, Хемингуэй, Синклер. И еще — то за комическим спектаклем суда, то за мелкими подколками соседей, то за именинным обрядом, целый вечер он не мог добраться до окончательной разработки одного важного проекта общегражданского значения.

Но тюремные законы спора держали его. Ни в од-

ном споре Рубин не должен был быть побежден, ибо именно он представлял тут, на шарашке, передовую идеологию.

— Но о чем нам с тобой спорить? — развел руками Рубин. — Уж между нами все сказано.

— О чем? Предоставляю выбор тебе! — галантным широким жестом ответил Сологдин, как бы уступая выбор рода оружия и места дуэли.

— Так я выбираю: ни о чем!

— Это не по правилам!

Рубин с раздражением затеребил отструек черной бороды:

— По каким таким правилам? Что еще за правила? Что за инквизиция? Пойми ты: чтобы плодотворно спорить, надо же иметь хоть какую-то общую основу, в каких-то основных чертах все же иметь согласие...

— Во-во! Вот так ты и привык! — только среди единомышленников! А по-мужскому спорить ты не умеешь!

— А мы с тобой? Ведь куда ни копни, за что ни возьмись... Ведь для тебя, например, дуэли и сейчас еще — лучший способ решения обид!

— А попробуй доказать обратное! — откинулся Сологдин, сияя. — Если бы были дуэли — кто бы решился клеветать? Кто бы решился отталкивать слабых локтями?

— Да твои ж драчуны!.. Для тебя вообще мрак Средних веков, тупое надменное рыцарство, крестовые походы — это чуть ли не зенит истории!

— Это — вершина человеческого Духа! — выпрямляясь, подтвердил Сологдин. — Великолепное торжество духа над плотью! Это с мечом в руках неудержимое стремление к святыням!

— И вьюки награбленного добра? Ты — чистый конквистадор, понимаешь?

— Ты мне льстишь! — откинулся Сологдин, красуясь.

— Лышу?? Ужас! Ужас!! — Рубин, показывая этот ужас, запустил пальцы обеих рук в свои редющие на темени волосы. — Ты — докучный гидальго!

— А ты — библейский фанатик!.. то есть, одержимец! — парировал Сологдин.

— Вот и разберись теперь сам: о чем же мы можем спорить? О свойствах славянской души по Хомякову? Об обновлении икон?

— Хорошо, — согласился Сологдин. — Час поздний, и я не настаиваю, чтобы мы брали из главных вопросов. Но давай проверим самый прием спора-поединка на каком-нибудь легком изящном предмете. Я дам тебе на выбор несколько титлов (это значило — тем). Хочешь спорить из словесности? Это — область твоя, не моя.

— Да что из словесности?

— Ну, например, — как надо понимать Ставрогина?

— Об этом уже есть десятки критических...

— Они ни гроша не стоят! Я их читал. Ставрогин. Свидригайлов! Кириллов! — разве они понятны? Они так сложны и непонятны, как бывают только в жизни! В жизни редко мы узнаём человека сразу и никогда — до конца! Всегда выскакивают какие-то неожиданности. Тем и велик Достоевский. А словесники воображают, что могут нам просветить человека насквозь. Смешно.

Но заметив у Рубина движение уйти (сейчас как раз было время уйти, не подвергаясь бесславию), Сологдин быстро пошевелинулся:

— Хорошо! Титл нравственный: о значении гордости в жизни человека!

Рубин скучающе пожал плечами:

— Неужели мы гимназистки?

И приподнялся. Был почетный момент уйти.

— Хорошо, такой титл... — схватил его за плечо Сологдин.

— Да ну тебя, — отмахнулся Рубин не сердито. —

На зубоскальство у меня нет времени, а серьезно поспорить? Ты же — дикарь! Пещерный житель! У тебя же все в голове перевернуто! На всей планете ты один остался, кто еще не признает трех законов диалектики. А из них вытекает всё!

Сологдин светлой розовой ладонью отвел это обвинение:

— Почему не признаю? Уже признаю.

— Ка-ак? Ты — признал диалектику? — Рубин вытянул большие мясистые губы трубочкой и нарочно засююкал. — Цыпочка! Дай я тебя поцелую! Признал?

— Я не только ее признал — я над ней думал! Я два месяца думал над ней по утрам! А ты — не думал!

— Даже думал? Золотко!/? Ком-иль-фо'нчик! — все продолжал держать губы трубочкой Рубин. — Может быть ты, боюсь спросить, и критерий практики в гносеологии признал?

Сологдин нахмурился:

— Умение применять выводы на деле? Так это и есть в е щ н о е знание.

— Ну, так тогда ты — стихийный материалист! — Рубин еще не совсем вывел губы из трубочки. — Ну, немножечко примитивный. Но о чем же нам тогда спорить?

— Как?! — возмутился Сологдин. — Опять не о чем? Нет общей основы — не о чем спорить, есть общая основа — не о чем спорить! Нет уж, теперь изволь спорить!

— Да что за насилие? О чем спорить?

Сологдин вслед за Рубиным тоже встал и решительно размахивал руками:

— Изволь! Я принимаю бой на самых невыгодных для меня условиях. Я буду бить тебя оружием, вырванным из твоих же лап! О том будем спорить, что ты с а м трех великих законов не понимаешь! Затвердил, как попугай, а над существом не задумывался. Могу тебя на них ловить и ловить!

— Ну, поймай! — не мог не выкрикнуть Рубин, злясь на себя, но опять погрязая в спор.

— Пожалуйста. — Сологдин сел. — Присаживайся. Рубин остался на ногах, не теряя надежды уйти.

— Ну, с чего б нам полегче? — смаковал Сологдин. — Законы эти — указывают нам направление развития? Или нет?

— Направление?

— Да! Куда будет развиваться э-э... (он поперхнулся)... процесс?

— Конечно.

— И в чем ты это видишь? Где именно? — холодно допрашивал Сологдин.

— Ну, в самих законах. Они отражают нам движение.

Рубин тоже сел. Они стали говорить тише, по-деловому.

— Какой же именно закон дает направление?

— Ну, не первый, конечно... Второй. Пожалуй, третий.

— У-гм. Третий — дает? И как же его определить?

— Что?

— Направление, что!

Рубин нахмурился:

— Слушай, а зачем вообще эта схоластика?

— Это — схоластика?? Ты не знаком с точными науками. Если закон не дает нам числовых соотношений, да мы еще не знаем и направления развития — так мы вообще ни черта не знаем. Хорошо. Давай с другой стороны. Ты легко и часто повторяешь: «отрицание отрицания». Но что ты понимаешь за этими словами? Например, можешь ты ответить: отрицание отрицания — всегда бывает в ходе развития или не всегда?

Рубин внутренне на мгновение задумался. Вопрос был неожидан, он обычно так не ставился. Но, как принято в спорах, не давая внешне понять заминки, поспешил ответить:

— В основном — да... Большой частью.

— Во-от!! — удовлетворенно взревел Сологдин. — У тебя целый жаргон — «в основном», «большой частью»! Запутаешь так, что и концов не найти. Тебе скажи «отрицание отрицания» — и в голове у тебя отпечатано: зерно — из него стебель — из него десять зерен. Оскомина! Надоело! — Он как будто размахивал мечом, ворвавшись в толпу сарацин. — Отвечай прямо: когда «отрицание отрицания» бывает, а когда — не бывает? Когда его нужно ожидать, а когда оно невозможно?

У Рубина следа не осталось его вялости, усталости, он подсобрался сам и собирал свои уже разбредшиеся мысли на этот никому не нужный, но все равно важный спор.

— Ну, какое это имеет практическое значение — «когда бывает», «когда не бывает»?!

— Нич-чего себе! Какое деловое значение имеет один из трех основных законов, из которых все выводится! Ну, как с тобой разговаривать?!

— Ты ставишь телегу впереди лошади! — возмутился Рубин.

— Опять жаргон! жаргон! То есть, ф е н я . . .

— Телегу впереди лошади! — настаивал Рубин. — А мы считали бы позором выводить конкретный анализ явлений из готовых законов диалектики. И поэтому нам совсем не надо знать, «когда бывает», «когда не бывает»...

— А я вот тебе сейчас отвечу! Но ты сразу скажешь, что ты это знал, что это понятно, само собой разумеется... Так слушай: если получение прежнего качества вещи возможно движением в обратном направлении, то отрицания отрицания не бывает! Например, если гайка туго завернута и надо ее отвернуть — отворачивай. Тут обратный процесс, переход количества в качество, и никакого отрицания отрицания! Если же, двигаясь в обратном направлении, воспроизвести прежнее качество невозможно, то развитие мо-

жет пройти через отрицание, но если только в нем допустимы повторения. Иначе: необратимые изменения будут отрицаниями лишь там, где возможно отрицание самих этих отрицаний!

— Иван — человек, не Иван — не человек, — про- бормотал Рубин, — ты, как на параллельных брусках...

— С гайкой. Если, заворачивая ее, ты свернул резьбу, то, отворачивая, уже не вернешь ей прежнего качества — целой резьбы. Воспроизвести это качество теперь можно только так: бросить гайку в переплав, потом прокатать шестигранный прут, потом проточить и, наконец, нарезать новую гайку.

— Слушай, Митяй, — миролюбиво остановил его Рубин, — ну нельзя же серьезно излагать диалектику на гайке.

— Почему нельзя? Чем гайка хуже зерна? Без гайки ни одна машина не держится. Так вот, каждое из перечисленных состояний необратимо, оно отрицает предыдущее, а новая гайка по отношению к старой, испорченной, явится отрицанием отрицания. Просто? — и он вскинул острую французскую бородку.

— Постой! — усмотрел Рубин. — В чем же ты меня опроверг? У тебя же самого и получилось, что третий закон дает направление развития.

С рукой у груди, Сологдин поклонился:

— Если бы тебе, Лёвчик, не была свойственна быстрота соображения, я бы вряд ли имел честь с тобой беседовать! Да, даёт! Но то, что закон дает, — надо научиться брать! Ты — умеешь? Не молиться закону — а работать с ним? Вот ты вывел, что он-таки направление дает. Но ответим: всегда ли? В живой природе — всегда: рождение, рост, гибель. А в неживой природе? — далеко не всегда.

— Но нас больше всего интересуется общество.

— Кого это — нас? Я обществом не занимаюсь. Я — жиддитель. Общество? — я признаю только прекрасных дам. — Он в шутку поправил усы и сам рассмеялся.

— Ну, что ж, — раздумчиво сказал Рубин. — Может быть, во всем этом и есть какое-то рациональное зерно. Но вообще — отдает словоблудием. Обогащения диалектики — не получилось.

— Словоблудие — у тебя! — с новой запальчивостью отсек дланью Сологдин. — Если вы все выводите из этих трех законов...

— Да говорят тебе: не выводим!

— Из законов — не выводите? — изумился Сологдин.

— Нет!

— Так что они тогда — пришей кобыле хвост?

— Слушай! — Рубин стал вдалбливать собеседнику настойчиво, почти нараспев. — Ты — дуба кусок или человек? Все вопросы решаются нами из конкретного анализа материала, разумеешь? Всё экономическое учение выводится из товарной клетки. Любой общественный вопрос — из анализа классовой обстановки.

— Так что они вам? — разорялся Сологдин, не сообразуясь с тишиной комнаты, — три закона? — вообще не нужны?!

— Нет, почему, очень нужны, — быстро оговорил Рубин.

— А зачем?! Если из них ничего не выводится? Если даже и направление развития из них получать не надо, это словоблудие? Если требуется только, как попугаю, повторять «отрицание отрицания» — так на черта они нужны?..

...Потапов, который тщетно пытался укрыться под подушкой от их всё возрастающего шума, наконец сердито сорвал подушку с уха и приподнялся на постели:

— Слушайте, друзья! Самим не спится — уважайте сон других, если уж... — и он показал пальцем на лежавшего наискосок на верхней койке Руську, — если уж не можете найти более подходящего места.

И рассерженность Потапова, любящего размеренный распорядок, и устоявшаяся тишина всей полукруг-

лой комнаты, которая стала им теперь особенно слышна, и окружение стукачами (впрочем, Рубин свои убеждения мог всегда выкрикивать безбоязненно) — заставили бы очнуться всяких трезвых людей.

Эти же двое очнулись лишь чуть-чуть. Их долгий — не первый и не десятый — спор только начинался. Они поняли, что нужно выйти из комнаты, но не могли уже ни смолкнуть, ни расцепиться. Они уходили, по дороге меча друг в друга словами, пока дверь коридора не поглотила их.

И почти сразу после их ухода белый свет погас, зажегся ночной синий.

Руська Доронин, чье ухо бодрствовало ближе всех к их спору, был, однако, далее всех от того, чтобы собирать на них «материал». Он слышал недосказанный намек Потапова, понял его, хотя и не видел устремленного пальца, — и испытал прилив неразрешимой обиды, вызываемой у нас упреками людей, чье мнение мы уважаем.

Когда он затевал эту острую двойную игру с оперуполномоченным, он все предвидел, он провел бдительность Шикина, был теперь накануне зримого торжества со ста сорока семью рублями, — но он был беззащитен против подозрения друзей! Его одинокий замысел, именно из-за того, что был так необычен и таен, — предавался презрению и позору. Его удивляло, как эти зрелые, толковые, опытные люди не имели достаточной широты души, чтобы понять его, поверить, что он — не предатель.

И, как всегда бывает, когда мы теряем расположение людей, — нам становится втроене дорог тот, кто продолжает нас любить.

А если она еще и женщина?..

Клара!.. Она поймет! Он завтра же откроется ей в своей аванюре — и она поймет.

И безо всякой надежды, да и безо всякого желания уснуть он извивался в своей распаленной постели, то

вспоминая пытливые Кларины глаза, то все более уверенно нащупывая план побега под проволоку овражком до шоссе, а там сразу автобусом в центр города.

А дальше там поможет Клара.

В семимиллионной Москве человека найти трудней, чем во всем обнаженном Воркутинском крае. В Москве-то и убежать...

ХОЖДЕНИЕ В НАРОД

Дружбу Нержина с дворником Спиридоном Рубин и Сологдин благодушно называли «хождением в народ» и поисками той самой великой сермяжной правды, которую еще до Нержина тщетно искали Гоголь, Некрасов, Герцен, славянофилы, народники, Достоевский, Лев Толстой и, наконец, Васисуалий Лоханкин.

Сами же Рубин и Сологдин не искали этой сермяжной правды, ибо обладали Абсолютной прозрачной истиной.

Рубин хорошо знал, что понятие «народ» есть понятие вымышленное, есть неправомерное обобщение, что всякий народ разделен на классы, и даже классы меняются со временем. Искать высшее понимание жизни в классе крестьянства было занятием убогим, бесплодным, ибо только пролетариат до конца последователен и революционен, ему принадлежит будущее, и лишь в его коллективизме и бескорыстии можно почерпнуть высшее понимание жизни.

Не менее хорошо знал и Сологдин, что «народ» есть общее слово для совокупности людей мало интересных, серых, грубых, беспросветно занятых своим повседневным существованием. Колосс Духа зиждется не на их многочисленности. Лишь одинокие яркие личности, как

звонящие звезды разбросанные на темном небе бытия, несут в себе высшее понимание.

И оба знали, что Нержин переболеет, повзрослеет, одумается.

И, действительно, Нержин перебивал и пропутался уже во всех крайностях.

Изнывающая от боли за страдающего брата, русская литература прошлого века создала в нем, как во всех своих первочитателях, — в серебряном окладе и с нимбом седовласый образ Народа, соединившего в себе мудрость, нравственную чистоту, духовное величие.

Но это было отдельно, — на книжной полке и где-то там — в деревнях, в полях, на перепутьях девятнадцатого века. Небо же развернулось — двадцатого века, и мест этих под небом давно на Руси не было.

Не было и никакой Руси, а — Советский Союз, и в нем — большой город. В городе рос юноша Глеб, на него сыпались успехи из рога наук, он замечал, что соображает быстро, но есть соображающие и побыстрее его и подавляющие обилием знаний. И Народ продолжал стоять на полке, а понимание было такое: только те люди значительны, кто носит в своей голове груз мировой культуры, энциклопедисты, знатоки древностей, ценители изящного, мужи многообразованные и разносторонние. И надо принадлежать к избранным! А неудачник пусть плачет.

Но началась война, и Нержин сперва попал ездовым в обоз и, даваясь от обиды, неуклюжий, гонялся за лошадьми по выгону, чтобы их обратить или вспрыгнуть им на спину. Он не умел ездить верхом, не умел ладить упряжи, не умел брать сена на вилы, и даже гвоздь под его молотком непременно изгибался, как бы от хохота над неумелым мастером. И чем горше доставалось Нержину, тем гуще ржал над ним вокруг небритый, матерящийся, безжалостный, очень неприятный Народ.

Потом Нержин выбился в артиллерийские офице-

ры. Он снова помолодел, половчал, ходил обтянутый ремнями, и изящно помахивал сорванным прутиком, потому что другой ноши у него не бывало. Он лихо подъезжал на подножке мчащегося грузовика, задорно матерился на переправах, в полночь и в дождь был готов в поход и вел за собой послушный, преданный, исполнительный и потому весьма приятный Народ. И этот его собственный небольшой Народ согласно слушал его политбеседы о том большом Народe, который встал единой грудью.

Потом Нержина арестовали. В первых же следственных и пересыльных тюрьмах, в первых лагерях, тупым смертным боем ударивших по нему, он ужаснулся изнанке некоторых «избранных» людей: в условиях, где только твердость, воля и преданность друзьям являли сущность арестанта и решали участь его товарищей, — эти тонкие, чуткие, многообразованные ценители изящного оказывались частенько трусами, быстрыми на сдачу, изошренными в оправданиях своей подлости, они быстро вырождались в предателей, попрошаек и лицемеров. И самого себя Нержин увидел едва-едва не таким, как они. И он отшатнулся от тех, к кому прежде считал за честь принадлежать. Теперь он стал ненавистно высмеивать, чему поклонялся прежде. Теперь он стремился опроститься, отбить у себя последние навыки интеллигентской вежливости и размазанности. В пору беспросветных неудач, в провалах своей перешибленной судьбы, Нержин счел, что ценны и значительны только те люди, кто своими руками строгаёт дерево, обрубаёт металл, кто пашет землю и льет чугун. У людей простого труда Нержин старался теперь перенять и мудрость всё умеющих рук и философию жизни. Так для Нержина круг замкнулся, и он пришел к моде прошлого века, что надо и д т и , спускаться в н а р о д .

Но за замкнутым кругом шел еще хвостик спирали, недоступный для наших дедов. Как тем, как образованным барам XIX столетия, образованному зэку Нержину,

чтобы спускаться в народ, не надо было переодеваться и нащупывать лестничку: его просто турнули в народ, в изорванных ватных брюках, в заляпанном бушлате, и велели выработать н о р м у . Судьбу простых людей Нержин разделил не как снисходительный, все время разнящийся и потому чужой барин, но — как сами они, не отличимый от них, равный среди равных.

И не для того, чтобы подладиться к мужикам, а чтобы заработать обрубок сырого хлеба на день, пришлось Нержину учиться и вколачивать гвоздь струною в точку, и пристрагивать доску к доске. И после жестокой лагерной выучки с Нержина спало еще одно очарование. Нержин понял, что спускаться ему было дальше незачем и не к кому. Оказалось, что у Народа не было перед ним никакого кондового сермяжного преимущества. Вместе с этими людьми садясь на снег по окрику конвоя, и вместе прячась от десятника в темных закоулках строительства, вместе таская носилки на морозе и суша портянки в бараке, — Нержин ясно увидел, что люди эти ничуть не выше его. Они не стойче его переносили голод и жажду. Не тверже духом были перед каменной стеной десятилетнего срока. Не предусмотрительней, не изворотливей его в крутые минуты этапов и шмонов. Зато были они слепей и доверчивей к стукачам. Были падче на грубые обманы начальства. Ждали амнистии, которую Сталину было труднее дать, чем околеть. Если какой-нибудь лагерный держиморда в хорошем настроении улыбался — они спешили улыбаться ему навстречу. А еще они были много жадней к мелким благам: «дополнительной» прокислой стограммовой пшённой бабке, уродливым лагерным брюкам, лишь бы чуть поновей или попестрей.

В большинстве им не хватало той точки зрения, которая становится дороже самой жизни.

Оставалось — быть самим собой.

Отболев, в который раз, каким увлечением, Нержин — окончательно или нет? — понял Народ еще по-

новому, как не читал нигде: Народ — это не все, говорящие на нашем языке, но и не избранцы, отмеченные огненным знаком гения. Не по рождению, не по труду своих рук, и не по крылам своей образованности отбираются люди в народ.

А — по душе.

Душу же выковывает себе каждый сам, год от году. Надо стараться закалить, отграничить себе такую душу, чтобы стать человеком.

И через то — крупницей своего народа.

62

СПИРИДОН

Рыжего круглоголового Спиридона, на лице которого без привычки никак было не отличить почтения от насмешки, Нержин выделил сразу по его приезде на шарашку. Хотя были тут еще и плотники, и слесари, и токари, но чем-то ядреным разительно отличался от них Спиридон, так что не могло быть сомнения, что он-то и есть тот представитель Народа, у которого следовало черпать.

Однако Нержин испытал затрудненность: не мог найти повода познакомиться со Спиридоном ближе, еще не было о чем им говорить, не встречались они по работе и жили врозь. Небольшая группа рабочих жила на шарашке в отдельной комнате, отдельно проводила досуг, и когда Нержин стал нахаживать к Спиридону — Спиридон и его соседи по койкам дружно определили, что Нержин — волк и рыскает за добычей для кума.

Хотя сам Спиридон считал свое положение на шарашке последним, и нельзя себе было представить, за-

чем бы оперуполномоченные его обкладывали, но, так как они не брезгают никакой падалью, следовало остерегаться. При входе Нержина в комнату Спиридон притворно озарялся, давал место на койке и с глупым видом принимался рассказывать что-нибудь за-тридцать-земельное от политики: как трущуюся рыбу бьют остя́ми, как ее в тиховодье рогаткой лозовой цепляют под зябры, а и ловят в сетя́; или как он ходил «по лосей, по медведя рудого» (а черного с белым галстуком медведя остерегайся!); как травой медуницей змей отгоняют, дятловка же трава для косьбы больно хороша. Еще был долгий рассказ, как в двадцатые годы ухаживал он за своей Марфой Устиновной, когда она в сельском клубе в драмкружке играла; ее прочили за богатого мельника, она же по любви договорилась бежать со Спиридоном — и на Петров день он на ней женился украдом.

При этом малоподвижные больные глаза Спиридона из-под густых рыжеватых бровей добавляли: «Ну, что ходишь, волк? Не разживешься, сам видишь».

И действительно, любой стукач давно б уж отчаялся и покинул неподатливую жертву. Ничьего любопытства бы не хватило терпеливо ходить к Спиридону каждый воскресный вечер, чтобы слушать его охотничьи откровения. Но Нержин, поначалу заходивший к Спиридону с застенчивостью, именно Нержин, ненасытно желавший здесь, в тюрьме, разобраться во всем не додуманном на воле, — месяц за месяцем не отставал и не только не утомлялся от рассказов Спиридона, но они освежали его, дышали на него сыроватой приречной зарёю, обдувающим дневным полевым ветерком, переносили в то единственное в жизни России семилетие — семилетие НЭПа, которому ничего не было равного или сходного в сельской Руси, — от первых починок в дремучем бору, еще прежде Рюриков, до последнего разукрупнения колхозов. Это семилетие Нержин захватил

несмышлёнышем и очень жалел, что не родился пораньше.

Отдаваясь теплому оскрипшему голосу Спиридона, Нержин ни разу лукавым вопросом не попытался перескочить на политику. И Спиридон постепенно начал доверять, неизнудно и сам окунался в прошлое, хватка постоянной настороженности отпускала, глубоко-прорезанные бороздки его лба разморщивались, красноватое лицо осветлялось тихим свечением.

Только потерянное зрение мешало Спиридону и шарашке читать книги. Приноровляясь к Нержину, он иногда вворачивал (чаще — некстати) такие слова, как «принц», «период» и «аналогично». В те времена, когда Марфа Устиновна играла в сельском драмкружке, он там слышал со сцены и запомнил имя Есенина.

— Есенина? — не ожидал Нержин. — Вот здорово! А у меня он здесь на шарашке есть. Это ведь редкость теперь. — И принес маленькую книжечку в суперобложке, осыпанной изрезными кленовыми осенними листьями. Ему было очень интересно, неужели сейчас свершится чудо: полуграмотный Спиридон поймет и оценит Есенина.

Чуда не совершилось, Спиридон не помнил ни строчки из слышанного прежде, но живо оценил «Хороша была Танюша», «Молотьбу».

А через два дня майор Шикин вызвал Нержина и велел сдать Есенина на цензурную проверку. Кто донес, — Нержин не узнал. Но воочию пострадав от кума и потеряв Есенина как бы из-за Спиридона, Глеб окончательно вошел в его доверие. Спиридон стал звать его на «ты» и беседовали они теперь не в комнате, а под пролетом внутритюремной лестницы, где их никто не слышал.

С тех пор, последние пять-шесть воскресений, рассказы Спиридона заблестали давно желанной глубиной. Вечер за вечером перед Нержиным прошла жизнь одной единственной песчинки — русского мужика, кото-

рому в год революции было семнадцать лет, и перешло уже сорок, когда начиналась война с Гитлером.

Какие водопады ни низвергались через него! какие валы ни обтачивали рыжий окатыш головы Спиридона! В четырнадцать лет он остался хозяином в доме (отца взяли на германскую, там и убили) и пошел со стариками на покос («за полдня косить научился»). В шестнадцать работал на стекольном заводе и ходил под красными знаменами на сходку.

Как землю объявили крестьянской, — кинулся в деревню, взял надел. Этот год он с матерью и с братишками, с сестренками, славно спину наломал и к Покрову был с хлебушком. Только после Рождества стали тот хлеб сильно для города потягивать — сдай и сдай. А после Пасхи и год Спиридонов, кому восемнадцать полных, пошел девятнадцатый — дернули в Красную Армию. Идти в армию от землицы никакого расчета Спиридону не было, и он с другими парнями подался в лес, и там они были зелеными («нас не трогай — мы не тронем»). Потом всё ж и в лесу стало тесно, и угодили они к белым (тут белые наскочили ненадолго). Допрашивали белые, нет ли среди их комиссара; такого не было, а вожака их стукнули для острастки, остальным велели надеть кокарды трехцветные и дали винтовки. А вообще-то порядки у белых были старые, как и при царе. Повоевали маненько за белых — забрали в плен красные (да и не отбивались-то особо, сами подались). Тут красные офицеров расстреляли, а солдатам велели с шапок кокарды снять, надеть бантики. И утвердился Спиридон в красных до конца гражданской. И в Польшу он ходил, а после Польши их армия была трудовая, никак домой не пускали, и еще потом на масляной повезли их к Питеру и на первой неделе поста ходили они прямо по морю по льду, форт какой-то брали. Только после этого Спиридон домой вырвался.

Воротился он в деревню весной и накинудся на

землицу родную, отвоеванную. Воротился он с войны не как иные — не разбалованный, не ветром подбитый. Он быстро окреп («кто хозяин хорош — по двору пройди, рубль найдешь»), женился, завел лошадей...

Хоть власть и подпиралась бедняками, но в ту пору людям хотелось не беднеть, а богатеть, и бедняки, как и Спиридон, тоже к обзаводу тянулись, — кто работать любит, конечно. И пустили тогда по ветру слово такое: **и н т е н с и в н и к**. Слово это значило — кто хозяйство хочет вести крепко, но не на батраках (батраков иметь — ума не надо), а — по науке, со смёткой. И стал тогда Спиридон Егоров с женой помощью — интенсивник.

«Хорошо жениться — полжизни» — всегда говорил Спиридон. Марфа Устиновна была главное счастье и главный успех его жизни. Из-за нее он не пил, сторонился пустых сборищ. Она приносила ему детей-каждогодков, двух сыновей, потом дочь, — но рождение их ни на пядень не отрывало ее от мужа. Она свою пристяжку тянула — сколотить хозяйство! Была она грамотна, читала журнал «Сам себе агроном» — и так Спиридон стал интенсивником.

Интенсивников приласкивали, им давали ссуды, семена. К успеху шел успех, к деньгам деньги, уж затевали они с Марфой строить кирпичный дом, не ведая, что доброденствию такому подходит конец. Спиридон в почете был, в при́зидим его сажали, герой гражданской войны и в коммунистах уже.

И тут-то они с Марфой начисто сгорели — еле детей выхватили из огня. И стали — голота, ничто.

Но горевать долго им не привелось. Еле стали они из погорельцев выдираться, как прикатило из далекой Москвы — раскулачивание. И всех тех интенсивников, без разума выращенных, теперь без разума же перекропляли в кулаки и изводили. И порадовались Марфа со Спиридоном, что не успели кирпичного дома отгротать.

В который раз судьба человеческая закидывала загадки, и беда обёртывалась прибытком.

Вместо того, чтобы под конвоем ГПУ ехать умирать в тундру, Спиридон Егоров был сам назначен «комиссаром по коллективизации» — сбивать народ в колхозы. Он стал носить устрашающий револьвер на бедре, сам выгонял из дому и отправлял с милицией, наголе без скарбу, кулаков и не кулаков — кого нужно было по разнарядке.

И на этом, как и на других изломах своей доли, Спиридон не доступен был легкому пониманию и классовому анализу. Нержин теперь не упрекал, не разбереживал Спиридона, но можно было понять, что мутно сошлось у того на душе. Стал он тогда пить и пил так, как если б вся деревня раньше была его, а теперь он всю спускал. Он принял чин комиссара, но распоряжался плохо. Он не доглядывал, что крестьяне скот вырезают, приходят в колхоз без рога живого, без живого копыта.

За всё то Спиридона изгнали с комиссаров, да на этом не остановились, а сразу же велели ему руки взять назад, и с обнаженными наганами один милиционер сзади, другой спереди, повели его в тюрьму. Судили его быстро («у нас весь период никого долго не судят»), дали ему десять лет за «экономическую контрреволюцию» и отправили на Беломорканал, а когда кончили Беломор — на канал Москва-Волга. На каналах Спиридон работал то землекопом, то плотником, пайку получал большую, и только за Марфу, оставленную с тремя детьми, ныла его душа.

Потом Спиридону вышел пересуд. Экономическую контрреволюцию ему сменили на «злоупотребление» и тем он из социаль но - чужды х стал социаль но - близ к и й . Его вызвали и объявили, что теперь доверяют ему винтовку само о х р а н ы . И хотя еще вчера Спиридон, как порядочный зэк, бранил конвоиров последними словами, а самоохранников — еще круче, — сегодня он взял эту протянутую ему винтовку и повел своих вчерашних товарищей под конвоем, потому что

это уменьшало срок его заключения и давало сорок рублей в месяц для отсылки домой.

Вскоре начальник лагеря, у которого было две комнаты, поздравил его с освобождением. Спиридон документы выписал не в колхоз, а на завод, забрал туда Марфу с детьми и в короткое время уже попал на заводскую красную доску как один из лучших стеклодувов. Он гнал сверхурочные, чтобы наверстать всё, что потеряно было с самого пожара. Уже их мысли были о маленькой хатенке с огородом и как учить дальше детей. Детям было пятнадцать, четырнадцать и тринадцать, когда грохнула война. Очень быстро фронт стал подходить к их поселку.

На каждом повороте Спиридоновой судьбы Нержин теперь притаивался, ожидая, что еще выкинет Спиридон. Он уже предполагал, не останется ли Спиридон ждать немцев, тая злость за лагерь. Но нет! Спиридон вел себя поначалу как в лучших патриотических романах: что было добра — закопал в землю, и как только оборудование завода отправили вагонами, а рабочим раздали телеги, — посадил на тую телегу троих детей и жёнку и — «лошадь чужая, кнут не свой, погоняй не стой!» — от Почепа отступал до самой Калуги, как многие тысячи других.

Но под Калугою что-то хрустнуло, что-то нарушилось, куда-то их поток разбился, уже стали их не тысячи, а только сотни, да и то мужчин намерялись в первом же военкомате забрать в армию, а чтоб семьи ехали дальше сами.

И вот тут-то, лишь только ясно стало, что с семьей ему подкатило расставаться, Спиридон, будто и не сомневаясь в своей правоте, отбился в лесу, переждал линию фронта — и на той же телеге, и на лошади той же, но уже не безразлично-казенной, а хранимой, своей — повез семью назад, от Калуги до Почепа, и вернулся в исконную свою деревню и поселился в свободной чьей-

то хате. И тут сказали: из колхозной бывшей земли бери сколько можешь обработать — обрабатывай.

И Спиридон взял, и стал пахать ее и засеивать безо всяких угрызений совести и не очень-то следя за сводками войны, работая уверенно и ровно, как если б то шли далекие годы, когда ни колхозов не было еще, ни войны.

Приходили к нему партизаны, говорили — собирайся, Спиридон, воевать надо, а не пахать. — Кому-то и пахать, — отвечал Спиридон. И от земли не пошел.

Тогда партизаны подноровили убить немецкого мотоциклиста, да не за околицей, а посередке деревни их. Знали партизаны немецкие правила. Прикатили сразу немцы, всех выгнали из домов и дочиста сожгли всю деревню.

И опять не засомневался ничуть Спиридон, что пришла пора считаться с немцами. Отвез он Марфу с детьми к ее матери и тотчас пошел к тем самым партизанам в лес. Ему дали автомат, гранаты, и он добросовестно, со смёткой, как работал на заводе или на земле, подстреливал немецкие дозоры у полотна, отбивал обозы, помогал мостики рвать, а по праздникам ходил к семье. И получалось, что как никак, а он — с семьей.

Но возвращался фронт. Хвастали даже, что Спиридону дадут партизанскую медаль, как наши придут. И объявлено было, что теперь примут их в Советскую армию, конец их лесной жизни.

А из того села, где Марфа теперь жила, стронули немцы всех жителей, пацан прибежал, рассказал.

И в момент, не дождавшись наших и ничего больше не дожидаясь, никому не сказавшись, Спиридон покинул автомат и две диски и погнал за своей семьей. Он втерся в их поток как цивилизный и опять вровень с той же телегой и похлестывая тую же лошадку, подчиняясь в чем-то видимой им правоте нового

решения, зашагал по запруженной дороге от Почепа до Слуцка.

Тут Нержин только брался за голову и раскачивался. Он переставал что-либо понимать. Но так как не воспитывать ему надо было Спиридона, а ставить социальный эксперимент, — то опять-таки он Спиридона не бережил, только спрашивал:

— И что ж дальше, Данилыч?

Что ж дальше! Мог, конечно, он опять в лес отбиться и отбивался раз, да встреча лихая вышла с бандитами, еле спас от них дочь. И еще поехал с потоком. А потом уж стал и думать, что наши ему не поверят, всё равно припомнят, что в партизаны он не сразу пошел и убёг оттуда, и уж семь бед, один ответ — доехал до Слуцка. А там сажали на поезда и давали талоны на питание аж до Рейнской области. Сперва прошеле-стел такой слух, что с детьми брать не будут — и Спиридон уже смекал, как поворачивать. Но взяли всех — и он бросил ни за так телегу с лошадьёю и уехал. Под Майнцем его с мальчишками определили на завод, а жену с дочкой поставили работницами к бауэрам.

И вот на том заводе однажды немецкий мастер ударил сына Спиридонова младшенького. Спиридон не думал долго, а с топором подскочил и замахнулся на мастера. По законам германского рейха, дойди только до законов, замах такой значил — расстрел Спиридону. Но мастер остыл, подошел к бунтовщику и сказал, как передавал теперь Спиридон:

— Я сам — фатер. Я тебя ферштэе, понимаю.

И не доложил дальше! И узнал вскоре Спиридон, что в то самое утро мастер получил извещение о смерти сына в России.

Окаленный, с околоченными боками, Спиридон, вспоминая того рейнского мастера, не стыдясь, отирал слезу рукавом:

— После этого я на немцев не сердюся. Что хату сожгли и всё зло этот фатер снял. Ведь проникся же человек! — вот тебе и немец...

Но это было из редких, из очень редких потрясений в своей правоте, колебнувшее дух упрямого рыжего мужика. Все остальные тяжелые годы, во всех жестоких выныриваниях и окунаниях, никакие раздумки не обессиливали Спиридона в минуты решений. И так повседневной своей методикой Спиридон опровергал лучшие страницы Монтеня и Шаррона.

Несмотря на ужасающее невежество и непонятливость Спиридона Егорова в отношении высших порождений человеческого духа и общества — отличались равномерной трезвостью его действия и решения. И если знал он, что все деревенские собаки перестреляны немцами, то, хоть знал это не специально, а было это с ним, и отрубленную коровью голову клал спокойно в снежок, чего бы никак не сделал в другое время. И хоть никогда, конечно, не изучал он ни географии, ни немецкого языка, но когда со старшим сыном худо привелось им на постройке окопов в Эльзасе (еще и американцы с самолетов их поливали) — он убежал оттуда с сыном и, никого не спрашивая и не читая немецких надписей, днем перетаиваясь, одними ночами, по неизвестной земле, без дорог, прямо, как летает ворона, просёк девяносто километров и дом в дом подкрался к тому бауэру под Майнцем, у которого работала жена. Там они и досидели в бункере в саду до прихода американцев.

Ни один из вечно-проклятых вопросов о критерии истинности чувственного восприятия, об адекватности нашего познания вещам в себе — не терзал Спиридона. Он был уверен в том, что видит, слышит, обоняет и понимает всё — неоплошно.

Так же и в учении о добродетели всё у Спиридона было бесшумно и одно к одному подогнано. Он никого не оговаривал. Никогда не лжесвидетельствовал. Сквернословил только по нужде. Убивал только на войне. Дрался только из-за невесты. Ни у какого человека он не мог ни лоскутка, ни крошки украсть. А что, как он рассказывал, до женитьбы «клевал по бабам», — так и властитель дум наших Александр Пушкин признавался, что заповедь «не возжелай жены ближнего твоего» ему особенно тяжела.

И сейчас, в пятьдесят лет, заключенный, почти слепой, очевидно обреченный здесь, в тюрьме, умереть, — Спиридон не выказывал движения к святости, или к унынию, или к раскаянию, или тем более к исправлению (как это выражалось в названии лагерей), но со старательною метлою своею в руках каждый день от зари до зари мел двор и тем отстаивал свою жизнь перед комендантом и оперуполномоченным.

Что любил Спиридон — это была земля.

Что было у Спиридона — это была семья.

Понятия «родина», «религия» и «социализм», не употребительные в будничном повседневном разговоре, были словно совершенно неизвестны Спиридону — уши его будто залегли для этих слов, и язык не изворачивался их употребить.

Его родиной была — семья.

Его религией была — семья.

И социализмом тоже была семья.

И всех царей, председателей, попов и сеятелей разумного-доброего-вечного, писателей и ораторов, строчил и крикунов, прокуроров и судей, которым на протяжении жизни было дело до Спиридона, он, по вынужденности беззвучно, в сердцах посылал:

— А не пошли бы вы на...?!

КРИТЕРИЙ СПИРИДОНА

Над их головами ступени деревянной лестницы гудели и поскрипывали от переступов и шарканья ног. Иногда просыпался сверху истолченный прах и крохи мусора, но ни Спиридон, ни Нержин почти их не замечали.

Они сидели на неметенном полу в своих нечистых, давно заношенных, с задубившимися задами парашютных синих комбинезонах, охватив колени руками. Сидеть так, не подмостясь чурками, было не очень удобно, их малость запрокидывало, — оттого плечами и спинами они упирались в косо идущие доски, снизу пришитые к лестнице. Глаза же их смотрели прямо вперед, но тоже упирались — в облупленную боковую стену уборной.

Нержин, как всегда, когда нужно было что-то осознать, обнять мыслью, часто курил — и издавленные окурки складывал рядком у полусгнившего плинтуса, от которого вверх до лестницы шел треугольник грязной стены с обвалившейся штукатуркой. Спиридон же, хотя и получал, как все, папиросы «Беломорканал», еще раз своей обложкой напоминавшие ему о гиблой работе в гиблом краю, где едва не сложил он костей, — твердо не курил, подчиняясь запрету германских врачей, вернувших ему три десятых зрения одним глазом, вернувших свет.

К тем немецким врачам Спиридон сберег благодарность и почтение. Они ему, уже безнадежно слепому, вгоняли большую иглу в хребет, долго держали под повязками с мазью на глазах, потом сняли повязки в полутемной комнате и велели — «смотри!» И мир забрезжил! При свете тусклого ночника, казавшегося Спиридону ярким солнцем, он одним глазом различил

темный очерк головы своего спасителя и, припав, поцеловал его руку.

Нержин вообразил себе всегда сосредоточенное, а в этот миг смягченное лицо глазного доктора с Рейна. Да, рыжим дикарем из восточных степей должен был казаться ему этот освобожденный от повязок человек, чей теплый голос, чья захлебывающаяся благодарность так противоречила дикарскому поступку, приведшему его в больницу.

Это было уже после конца войны. Спиридон со всей семьей жил в американском лагере перемещенных лиц. И повстречался с ним односельчанин, сват, еще иначе называемый Спиридоном «сват-сучка» за какие-то дела при сколачивании колхоза. С этим сватом-сучкой они вместе ехали до Слуцка, а в Германии их раскидали. И вот теперь надо было благополучную встречу обмыть, и другого ничего не было — принес сват бутылку спирту. Спирт был неопробованный, и надпись немецкая не прочтена — зато бесплатно им достался. Что ж, и осмотрительный, недоверчивый, избегнувший тысячи опасностей Спиридон тоже ведь был не защищен от русского авося — ладно, откупоривай, сват! Чокнул Спиридон полный стакан, а остальное в одномашку допил сват-сучка! Спасибо, хоть сыновей при том не было, а то б и им по стопочке досталось. Проснувшись после полудня, Спиридон испугался ранней темноты в комнате, высунулся в окно, но света было мало и там, и он долго не мог понять, как это у американского штаба через улицу и у часового верхней половины не было, а нижняя была. Он еще хотел скрыть беду от Марфы, но к вечеру пелена полной слепоты застлала и нижнюю часть его глаз.

А сват-сучка умер.

После первой операции глазные врачи сказали: год прожить в покое, потом сделают еще одну операцию, левый будет видеть совсем, а правый — наполо-

вину. Они это точно обещали, и надо было бы дождаться, но — решила семья Егоровых ехать домой.

Внимательно посмотрел Нержин на Спиридона.

— Но ты-то, Данилыч, в общем представлял, что тебя здесь ждет?

Все окруженье глаз Спиридона — и веки, и виски, и подглазья, были мелко-морщинисты. Он усмехнулся:

— Я-то?.. Я, Глеба, верно знал, что заламчат. Правда, в листовках наши тискали — в обои уши не уберешь: все, мол, вам, прощается, братья и сестры вас ждут, колокола звонят, а то, вроде, мол, и колхозов неволею не будет, а только кто хошь. Прямо хоть ботинки скидать, босиком сюдою бечь... Только листовкам тем я не верил и что от тюрьмы-терпихи мне не уйтить — знал.

Короткие жесткие усы его, рыжие с проседью, чуть вздрагивали при воспоминании.

— Марфе Устиновне я сразу сказал: девка, озеро в рот сулят, а из лужи лакнуть еще дадут ли?.. Она мне, голову так легонько потрепавши: парень-парень, были б твои глазоньки, а там рассмотрим. Давай вторую операцию сделаем. Ну, а у детей всех трех дух загорелся: тятя! маманя! да домой! да на родину! Да что ж тут операцию ждать, что ж у нас в России глазных врачей нет? Да мы немцев разбили, так кто раненых лечил?! Мы школу русскую кончать хотим!.. Старшенький-то у меня двух классов только и не доучился. Дочка Вера из слез не выхлюпывается — вы хотите, чтоб я за немца замуж пошла? Все кажется девке, что самого главного жениха она здесь упускает... Эх, чешу в голове, детки-детки, врачи-то у нас в России есть, да мы ли до тех врачей доберемся?.. Но так я думал, однако, что всю вину на меня опрокинут, дети — причем? Меня посадят — а дети нехай живут.

И они поехали. На пограничной станции мужчин и женщин сразу же разделяли и дальше гнали в отдельных эшелонах. Семья Егоровых, всю войну про-

державшаяся вместе, теперь развалилась. Никто не спрашивал, брянский ты или саратовский. Жену с дочерью безо всякого суда сослали в Пермскую область, где дочь теперь работала в лесхозе на бензопиле. Спиридона же с сыновьями спроворили за колючку, судили и за измену Родине вlepили сыновьям, как батке, по д е с я т к е. С младшим сыном Спиридон попал в соликамский лагерь и хоть там еще попестовал его два года. А другого сына зашвырнули за Колыму.

Таков был д о м. Таковы были жених дочери и школа сыновей.

От волнений следствия, потом от лагерного недоедания (он еще сыну отдавал ежедён своих полпайки) не только не просветлялись очи Спиридона, но и меркло последнее левое. Среди той огрызаловки волчьей на какой-то глухой лесной подкомандировке просить врачей вернуть зрение было почти то, что молиться о вознесении живым на небо. Не только лечить глаза Спиридона, но и судить, где лечить их, — не лагерной было серой больничке.

Сжав ладонями голову, размышлял Нержин над загадкой своего приятеля. Не сверху вниз и не снизу вверх смотрел он на этого мужика, пристигнутого событиями, — а касаясь плеча плечом и глазами вровень. Все беседы их уже давно, и чем дальше, тем острей, толкали Нержина к одному вопросу. Вся ткань жизни Спиридона вела к этому вопросу. И, кажется, сегодня наступала пора этот вопрос задать.

Сложная жизнь Спиридона, его непрерывные переходы от одной борющейся стороны к другой — не было ли это больше, чем простое самосохранение? Не сходилась ли это как-то с толстовской истиной, что в мире нет правых и нет виноватых?.. Не являла ли себя в этих почти инстинктивных поступках рыжего мужика — мировая система философского скептицизма?..

Социальный эксперимент, предпринятый Нержи-

ным, обещал дать сегодня, здесь под лестницей, совершенно неожиданный и блестящий результат.

— Тошную я, Глеба, — говорил между тем Спиридон и намозоленной заскорблой ладонью с силой протер по небритой щеке, как будто хотел ссадить с нее кожу. — Ведь четыре месяца из дому писем не было, а?

— Ты ж сказал — у Змея письмо?

Спиридон посмотрел укоризненно (глаза его были приглашены, но никогда не казались остеклевшими, как у слепых от рождения, и оттого выражение их бывало понятно):

— После четырех-то месяцев? Что могёт быть в том письме?

— Как получишь завтра — приди, прочту.

— Да уж вбёжки к тебе.

— Может, на почте какое пропало? Может, кумовья замотали? Не волнуйся, Данилыч, зря.

— Чего — зря, как сердце скомит? За Веру боюсь. Двадцать один год девке, без отца, без братьев, и мать не рядом.

Этой Веры Егоровой Нержин видел фотографию, сделанную прошлой весной. Крупная девушка, налитая, с большими доверчивыми глазами. Сквозь всю мировую войну отец пронес ее и выхранил. Ручной гранатой он спас ее в минских лесах от злых людей, добивавшихся ее в пятнадцать лет изнасиловать. Но что он мог сделать теперь из тюрьмы?

Нержин представил себе непродёрный пермский лес; пулеметную стрельбу бензопил; отвратительный рев тракторов, трелюющих стволы; грузовики, зарывшиеся задом в болота и поднявшие к небу радиаторы как бы с мольбой; обозленных черных трактористов, разучившихся отличать мат от простого слова — и среди них девушку в спецовке, в брюках, дразняще выделяющих ее женские стати. Она спит с ними у кост-

ров; никто, проходя, не упускает случая ее облапать. Конечно, не зря ноет сердце у Спиридона.

Но утешения звучали бы жалко-бесполезно. А лучше и его отвлечь и для себя утвердить в нем, что искал, — противовес ученым своим друзьям. Не услышит ли он сейчас, здесь, народное сермяжное обоснование скептицизма, и сам тогда, может быть, утвердится на нем!

Положив руку на плечо Спиридона, а спиной по-прежнему упираясь в косую подшивку лестницы, Нержин с затруднением, издалека, начал высказывать свой вопрос:

— Давно хочу тебя спросить, Спиридон Данилыч, пойми меня верно. Вот слушаю, слушаю я про твои скитания. Крученная у тебя жизнь, да ведь, наверно, не у одного тебя, у многих... у многих. Все чего-то ты метался, пятого угла искал — ведь неспроста?.. Вернее, как ты думаешь — с каким... (он чуть не сказал — «критерием»)... с меркой какой мы должны понимать жизнь? Ну, например, разве есть люди на земле, которые нарочно хотят злого? Так и думают: сделаю-ка я людям зло? Дай-ка я их прижму, чтоб им житья не было? Вряд ли, а? Может быть, люди-то все хотят доброго — д у м а ю т, что доброго хотят, но все не безгрешны, не без ошибок, а кто и вовсе оголтелый — и вот причиняют люди друг другу столько зла. Убедят себя, что они хорошо делают, а на самом деле выходит худо. Ну, как вот по твоей пословице, что, мол, сеяли рожь, а выросла лебеда?..

Наверно, не очень он ясно выразался. Спиридон косовато, хмуро смотрел, ожидая подвоха, что ли.

— А теперь если ты, скажем, ошибаешься, а я хочу тебя поправить, говорю тебе об этом словами, а ты меня не слушаешь, даже рот мне затыкаешь — так что мне делать? Палкой тебя по голове? Так хорошо, если я прав, а если мне это только кажется, если я только в голову себе вбил, что я прав? Или, может, и был я

прав, да права мои вышли давно, уже остался я неправ? Ведь жизнь-то меняется, а? Ну, одним словом, так: если нельзя быть уверенным, что ты всегда прав, так вмешиваться можно или нет? Это мыслимо разве — человеку на земле разобраться: кто прав? кто виноват? Кто это может сказать?

— Да я тебе скажу! — с готовностью отозвался просветлевший Спиридон, с такой готовностью, будто спрашивали его, какой дежурняк заступит дежурить с утра. — Я тебе скажу: волкодав — прав, а людоед — нет!

— Как-как-как? — задохнулся Нержин от простоты и силы решения.

— Вот так, — с жестокой уверенностью повторил Спиридон, весь обернувшись к Нержину и горячо дыша ему в лицо из-под усов: — Волкодав — прав, а людоед — нет.

СЖИМАЯ КУЛАКИ

Заступивший дежурить с воскресного вечера скромный юный лейтенант с пятнышками квадратных усиков под носом прошел лично после отбоя верхним и нижним коридорами спецтюрьмы, разгоняя арестантов по комнатам спать (по воскресеньям они ложились всегда неохотно). Он прошел бы и второй раз, но не мог уже больше отойти от молодой тугонькой фельдшерницы санчасти. Фельдшерница имела в Москве мужа, но не было тому доступа к ней в запретную зону на целые сутки ее дежурства, и лейтенант очень рассчитывал сегодня ночью кое-чего добиться, она же с грубым смехом вырывалась и повторяла одно и то же:

— Перестаньте баловаться!

Поэтому разгонять заключенных во второй раз он послал за себя своего помощника старшину. Старшина видел, что лейтенант до утра из санчасти не выберется, проверять его не будет, — и не стал очень стараться укладывать всех спать, потому что за много лет надоело и ему быть собакой и потому что понимал он — взрослые люди, которым завтра на работу, поспать не забудут.

А тушить свет в коридорах и на лестнице спецтюрем не разрешалось, ибо это могло способствовать побегу или бунту.

Так за два раза никто не разогнал Рубина и Сологодина, отиравших стенку в большом главном коридоре. Шел первый час ночи, но они забыли о сне.

Это был тот безысходный яростный спор, которым, если не дракой, нередко кончается русский обряд веселья.

Спор-поединок на бумаге у них так и не сладился. За этот час или больше Рубин и Сологдин уже перебрали и два других закона диалектики, и потревожили тени Гегеля и Фейербаха, — но на этих холодных далеких высотах ни за одну неровность не мог уцепиться их спор, ни на единой площадке не мог замедлить — а, ударяясь и ударяясь о груди их, скатывался в вулканическое жерло.

— Ты же — ископаемое! ихтиозавр! — изводился Рубин. — С такими дикими взглядами — как ты будешь жить на воле? Разве общество может тебя принять?

— Ка-кое общество?! — делал Сологдин изумленное лицо. — Сколько я себя помню — я помню себя не в обществе, а в тюрьме! Вокруг меня — только колючка и надзиратели! От того общества, что за зоной, я оторван, вечно говоря, навсегда — так почему я должен готовить себя к нему?..

Они уже обспорили, такая или не такая растёт молодежь.

— Да как ты смеешь судить о молодежи! — гневался Рубин. — Я с молодежью вместе воевал на фронте, ходил с ней в разведку, а ты о ней от какого-нибудь задрипанного свистуна на пересылке слышал. Двенадцать лет ты по лагерям киснешь, а и раньше — что ты видел в стране? Патриаршьи пруды? Или выезжал по воскресеньям в село Коломенское?

— Страну? Ты берешься судить о стране? — кричал Сологдин, но сдерживаясь до придавленного звука, как будто его душили. — Позор! Тебе — позор! Сколько прошло людей в Бутырках, вспомни — Громов, Ивантеев, Яшин, Блохин, они говорили тебе трезвые вещи, они из жизни своей тебе всё рассказывали — так разве ты их слушал? А здесь? Вартапетов, потом этот, как его...

— Кто-о? Зачем я их буду слушать? Ослепленные люди! Они же просто воют, как зверь, у которого лапу ущемили. Неудачу собственной жизни они истолковывают как крах вообще... мироздания. Их обсерватория — камерная параша, у них — кочка зрения, а не точка!

И дальше, и дальше они неслись, уже теряя расстановку доводов, связь мыслей последующих и предыдущих, совсем не видя и не ощущая этого коридора, где оставалось только два полоумных шахматиста за доской, да все время кашляющий старый куряка-кузнец, и где так видны были их встревоженные размахивания рук, воспламененные лица да под углом друг к другу выставленные большая черная борода и аккуратненькая белокурая.

Каждый из них высматривал и преследовал только одно: найти бы такое место, куда побольней ударить другого.

Если бы вещество наших глаз могло сплавиться от жара выражаемого ими чувства, — глаза Сологодина

вытекли бы, с такою страстностью он смотрел на Рубина.

— С тобой разговаривать! Никаким доводам разума ты не подвластен! Подменить черное белым для тебя ничего не составляет! И что меня особенно возмущает: ведь ты внутренне исповедуешь девиз — (сгоряча у него вырвалось иностранное слово, но оно было рыцарское) — «цель оправдывает средства». А спросить тебя в лоб — признаешь ли ты его, ты отречёшься! Отречёшься, я уверен!

— Нет, почему же? — с успокоительным холодком вдруг ответил Рубин. — Лично для себя — не принимаю. Но если говорить в общественном смысле? За всю историю человечества наша цель впервые столь высока, что мы можем и сказать: она — оправдывает средства, употребленные для ее достижения.

— Ах, вот даже как! — увидев уязвимое рапире место, нанес Сологдин моментальный звонкий удар. — Так запомни: чем выше цель, тем выше должны быть и средства! Вероломные средства уничтожают и саму цель!

— То есть, как это вероломные? Чьи это — вероломные? Может быть, ты отрицаешь средства — революционные? Ты, может быть, отрицаешь и необходимость диктатуры?

— Не утягивай ты меня в политику! — отрицал Сологдин и на вытянутой руке указательным пальцем быстро покачивал, как острием шпаги, перед носом Рубина. — Я сижу по пятьдесят восьмой статье, но никогда политикой не занимался и не занимаюсь. Вот кузнец сидит неграмотный — он тоже по пятьдесят восьмой.

— Нет, ты скажи прямо! — приступил Рубин. — Ты — диктатуру пролетариата признаешь?

— О владычестве рабочих я и не заикался. Я за-

дал тебе вопрос чисто нравственный: цель оправдывает средства или нет? И ты ответил! И разоблачил себя.

— Я не сказал, что — в личном смысле!

— Хотя бы и не в личном! — придавленно вскрикивал Сологдин. — От расширения нравственность не должна терять силу! Значит, если сам ты убьешь или предашь — это злодейство. А Единственный и Непогрешимый ухлопает миллиончиков пять-десять — это закономерно и надо понимать в передовом направлении?

— Это несравнимые вещи! Это разные качества!

— Да притворяешься ты! Ты слишком умен, чтобы верить в это гадство! Человек со здравым умом не может так думать! Ты просто лжешь!

— Это ты лжешь! Это у тебя всё сплошная поза! — и идиотский «язык предельной ясности»! И игра в рыцарей! И подделка личины под Александра Невского! Всё у тебя поза, потому что ты в жизни — неудачник! И дрова твои — тоже поза!

— То-то ты на них ходить перестал! Там же надо руками работать, не языком!

— Когда перестал? Три дня?

Спор их, нигде не задерживаясь, как ночной скорый мимо полустанков, мимо фонарей, то безлюдной степью, то сверкающим городом, пронесился по темным и светлым местам их памяти — и всё, что на мгновение выныривало, бросало неверный свет или неразборчивый гул на неудержимое качество их сцепившихся мыслей.

— Ты прежде примерил бы нравственность на себя! — негодовал Рубин. — Как насчет цели и средств у тебя? В личном смысле? Ты вспомни, с чего ты начинал инженерную карьеру! О чем мечтал? Как Корейко, обязательно сорвать миллион..?

— Вспомни и ты, как учил деревенских детей доносить на родителей!..

Они два года уже знали друг друга. И теперь всё узнанное друг о друге в задушевных беседах они старались обернуть друг против друга как-нибудь самым обидным, самым уязвляющим способом. Они всё припоминали сейчас и швыряли обвинительно. Их поединок не поднимался уже к вопросам общим, а спускался и спускался к личным, где можно было истязать друга особенно больно.

— Вот твои единомышленники, вот твои лучшие друзья! — неистовствовал Сологдин. — Шишкин-Мышкин! Не понимаю, почему ты себя от них отгораживаешь? Что за лицемерие!

— Ты что?.. — задохнулся Рубин. — Ты это говоришь... — серьезно?..

Нет, сам для себя Сологдин отлично знал, что Рубин — не стукач и не будет им, но очень уж был велик искус толкнуть его со зла в одну кучу с оперуполномоченными.

— Во всяком случае, — настаивал Сологдин, — с твоей стороны это было бы гораздо более последовательно. Раз тюремщики вершат правое дело — твоя обязанность помогать им по мере сил. И почему не постучать? И Шикин тебе напишет хорошую характеристику. И твое дело пересмотрят...

— Это — кровью пахнет! — сжал Рубин немалые свои кулаки и приподнял их, как если бы хотел драться. — За такие слова морду бьют!

— Я говорю только, — по возможности сдержанно отвел Сологдин, — что было бы с твоей стороны более последовательно. Если цель оправдывает средства.

Рубин разжал ненужные кулаки и посмотрел на противника с презрением:

— Надо прежде принципы иметь! У тебя принципов нет! Болтовня абстрактная о Добре и Зле...

А Сологдин разъяснял свое:

— Ну, как же! Разбери. Поскольку мы все сидим — верно, только ты один — неверно, значит, тюремщики правы. Каждый год ты два раза пишешь просьбы о помиловании...

— Врешь. Не о помиловании, о пересмотре дела.

— Ка-кая разница?! Тебе отказывают, а ты все клянчишь. Вот ты не захотел спорить о значении гордости в жизни человека, а тебе очень даже надо гордости подзанять! Ты ради внешней свободы готов унижаться! Ты — как собаченка, посаженная на цепь — над тобой силен тот, у кого в руках цепь!

— А ты — не в руках? — разъярился Рубин. — А ты бы не клянчил?

— Нет!

— Да у тебя просто возможности нет получить свободу! А была бы возможность, так не то, чтобы клянчил, — ты бы...

— Никогда! — отрекся Сологдин.

— Уж больно ты благороден! Ты посмеиваешься, как вкальвывает Семерка, а если б сам мог отличиться — так на брюхе бы пополз!

— Никогда!! — даже затрясся Сологдин.

— А я тебе говорю! — торжествовал Рубин. — Просто у тебя способностей не хватает отличиться. Просто зелен виноград! А мог бы что-нибудь сделать... А позовут — на брюхе поползешь!

— Докажи! — сжал кулаки теперь Сологдин. — Вот за это морду бьют.

— Дай срок — докажу! Дай мне... — год! Даешь год?

— Хоть десять!

— И я тебя поймаю! Но ты, конечно, подведешь диалектику, что «всё течёт, всё изменяется».

— Это для таких, как ты, «всё течёт, всё изменяется»! Не суди по себе!

ДОТТИ

Странные эти отношения между мужчиной и женщиной — ничего в них нельзя предвидеть, никакого в них нет направления, никаких законов им нет. Иногда покажется такой глухой тупик, что только сесть и выть: все слова сказаны — и зря, все доводы придуманы и разбиты. Но случайно перекрещиваются взгляды — и стена не взорвалась, а растаяла, и там, где темень была, — ясный свет на простую понятную дорожку для двоих засиял.

Хоть и дорожку, может быть, — только на минуту.

Сам для себя Иннокентий давно решил, что с Дотти у него все кончено — не могло не быть кончено по ее чужести и мелкости. Но ответная теплота к ней, вызванная сегодня в доме тестя ее покорностью, — эта теплота не минула, когда они ушли с людских глаз и возвращались домой в автомобиле. Они дружелюбно, как давно уже не бывало, обменивались впечатлениями о вечере, Иннокентий слушал соображения Дотти о Кларином замужестве — и невольно, безрассудно обнял жену вокруг плеч и взял за руку.

Ему вдруг вошла в голову такая мысль: если б эта женщина никогда бы не была ни его женой, ни любовницей, а заведомо принадлежала бы другому и вот так бы он ее обнял в автомобиле — что бы он испытывал к ней? Сразу стало ясно: он не пожалел бы усилий, чтобы добиться ее.

Почему же, если это его собственная жена, — кажется оскорбительным желать того же самого тела?

Самое дикое и презренное было то, что именно такая — испорченная, побывавшая в чужих руках, она его и раззадоривала сейчас, тянула к себе не просто, а по-

гибельно. Как будто что-то он должен был тем доказать, доказать. Что? Кому?..

В гостиной, прощаясь с мужем, Дотти виновато прильнула головой к его груди, поцеловала куда-то в воротник и, понурясь, ушла. Иннокентий прошел к себе, переделся для сна и вдруг почувствовал, что не может не пойти к Дотти.

Отчасти еще — весь вечер его окружала от ареста, как защитной броней, толпа поющих, гудящих разговорами, смеющихся людей, — а теперь в одиночестве кабинета опять обнимал страх, и от страха этого тоже хотелось тепла и защиты.

И вот в халате со шнуровой отделкой и в беззвучных домашних туфлях он стоял перед дверьми женской спальни и колебался. Еще не решив, постучать или нет, он слегка надавил на дверь пальцем. Дотти всегда чего-то боялась и запиралась на ночь. Но сейчас дверь поддавалась нажиму пальца.

Не постучав, Иннокентий вошел, отодвинул портьеру — и справа в углу увидел Дотти, в кровати, под своим фиолетово-серебристым одеялом с длинным мягким ворсом.

Она должна была испугаться, но не пошевелилась.

Горела лампочка на низком столике у кровати и освещала ее нежное лицо, светлые рассыпанные волосы, плечи, руки и грудь в сорочке цвета телесного золота, где каждая сборка, прорез и кружевная прострочка, обдуманые неким искусником, представляли женщину во много раз притягательней, чем она была бы обнаженной.

В спальне было чуть жарковато, но Иннокентию даже приятно, он что-то зяб. Слабо пахло духами.

Он прошел к столику под дымчатой скатертью посреди комнаты и, вполборота к ней, играя океанской раковиной, сказал неприязненно:

— Я сам недоумеваю, что к тебе пришел. Я не могу себе представить, чтоб между нами еще когда-

нибудь что-нибудь было. — (Что он сам изменил жене в Риме, Иннокентий не говорил и не считал.) — Но вот почему-то подумал — а что, если пойду?

Волнуясь, он перепрокидывал ракушку и повернулся — одной головой — к женщине.

Он презирал себя.

Она чуть сползла щекой и виском с подушки и внимательно и ласково смотрела на него снизу, хотя вряд ли хорошо видела его лицо в комнатном полумраке, при абажуре ночника. В ее повиснувшей руке, окруженной пышными сборками у плеча и беспомощно оголенной от локтя, чуть держалась книга.

— А ты ляг ко мне просто, полежим немножко, — трогательно попросила она.

Просто? Просто — почему было не лечь? Другое дело — не мог мужчина простить всего, что было.

Лежа ведь и разговаривать легче. Почему-то гораздо больше можно сказать, самое затаённое, если не сидеть друг против друга в креслах, а — обняться под одеялом.

И он сделал к ней несколько неуверенных шагов.

Она же отпахнула одеяло и держала его так, открывая теплую глубину.

Не заметив, как раздавил книгу, оброненную женой на ковер, Иннокентий лег в эту глубину, и за ним запахло.

БУЛАТНОЙ САБЛИ ОСТРЫЙ КЛИНОК

И наконец шарашка спала.

Спали двести восемьдесят зэков при синих лампочках, уткнувшись в подушку или откинувшись в нее затылком, бесшумно дыша, отвратительно храпя или

бессвязно выкрикивая, сжавшись для пригрева или разметавшись от духоты. Спали на двух этажах здания и еще на двух этажах коек, видя во сне: старики — родных, молодые — женщин, кто — пропажи, кто — поезд, кто — церковь, кто — судей. Сны были разные, но во всех снах спящие тягостно помнили, что они — арестанты, что если они бродят по зеленой траве или по городу, то они сбежали, обманули, случилось недо-разумение, за ними погоня. Того полного счастливого забытья от оков, которое выдумал Лонгфелло в «Сне невольника», — не было им дано. Сотрясение незаслу-женного ареста и десяти — и двадцатипятилетнего при-говора, и лай овчарок, и молотки конвойных, и терзаю-щий звон лагерного подъема — просочились к их ко-стям сквозь все наслоения жизни, сквозь все инстинк-ты вторичные и даже первичные, так что спящий аре-стант сперва помнит, что он в тюрьме, а потом только ощущает жжение или дым и встает на пожар.

Спал разжалованный Мамурин в своей одиночке. Спала отдыхающая смена надзирателей. Равно спала и смена надзирателей бодрствующая. Дежурная фельд-шерика в медпункте, весь вечер сопротивлявшаяся лейтенанту с квадратными усиками, недавно уступила, и теперь оба они тоже спали на узком диване в сан-части. И, наконец, поставленный в главной лестничной клетке у железных окованных врат в тюрьму серень-кий маленький надзиратель, не видя, чтоб его прихо-дили проверять, и тщетно позуммерив в полевой теле-фон, — тоже заснул, сидя, положив голову на тумбоч-ку, и не заглядывая больше, как должен был, сквозь окошечко в коридор спецтюрьмы.

И, люто подстережа этот глубокий ночной час, когда мавринские тюремные порядки перестали дейст-вовать, — двести восемьдесят первый арестант тихо вышел из полукруглой комнаты, жмурясь на яркий свет и попирая сапогами густо набросанные окурки. Сапоги он натянул кое-как, без портянок, был в истре-

панной фронтовой своей шинели, наброшенной сверх одного нижнего белья. Мрачная черная борода его была всклокочена, редующие волосы с темени спадали в разные стороны, лицо выражало страдание.

Напрасно пытался он уснуть! Он встал теперь, чтобы ходить по коридору. Он не раз уже применял это средство: так развеивалось его раздражение и утишались палящая боль в затылке и распирающая боль около печени.

Но хотя он вышел ходить, — по своей привычке книжника он захватил из комнаты и пару книг, в одну из которых был вложен рукописный черновик «Проекта Гражданских Храмов» и плохо отточенный карандаш. Всё это и коробку легкого табака и трубку положив на длинном нечистом столе, Рубин стал равномерно ходить взад и вперед по коридору, руками придерживая шинель.

Он сознавал, что и всем арестантам несладко — и тем, кто посажен ни за что, и даже тем, кто — враг и посажен врагами. Но свое положение здесь он понимал трагичным в аристотелевском смысле. Из тех самых рук он получил удар, которые больше всего любил. За то посажен он был людьми равнодушными и казенными, что любил общее дело — до неприличия глубоко. И тюремным офицерам, и тюремным надзирателям, выразившим своими действиями вполне верный, правый, прогрессивный закон — Рубин по трагическому противоречию должен был каждый день противостоять, защищая человеческое достоинство свое и товарищей. А товарищи — напротив, чаще всего не были ему товарищами и во всех камерах упрекали его, бранили его, чуть не кусали — из-за того, что они видели только горе свое и не видели великой Закономерности. И в каждой камере, и при каждой новой встрече, и при каждом споре он обязан был с неистощимой силой и презирая их оскорбления, доказывать им, что в больших числах и в главном потоке всё идет

так, как надо, что процветает промышленность, изобилует сельское хозяйство, бурлит наука, играет радугою культура.

Его противники часто выдавали свою многочисленность в камерах за то, что они — народ, а Рубины — одиночки. Но всё в нем знало, что это — ложь! Народ был — вне тюрьмы и вне колючей проволоки. Народ брал Берлин, встречался на Эльбе с американцами, народ тёк демобилизационными поездами к востоку, шел восстанавливать Днепрогэс, оживлять Донбасс, строить заново Сталинград. Ощущенье единства с миллионами и не давало ему чувствовать себя одиноким в спертой камерной борьбе против десятков.

Они часто задирали его совсем не ради истины, а только чтобы выместить на нем, чего не могли на тюремщиках. Они травили его, не заботясь, что каждая такая схватка выворачивала его внутренности и приближала к могиле.

Но спорить было надо, — потому что на участке фронта «шарашка Маврино» не многие могли так, как он, отстаивать социализм.

Рубин постучал в стеклянное окошечко железных врат — раз, два, а в третий раз сильно. На третий раз лицо заспанного серенького вертухая поднялось к окошечку.

— Мне плохо, — сказал Рубин — Нужен порошок. Отведите к фельдшеру.

Надзиратель подумал.

— Ладно, позвоню.

Рубин продолжал ходить.

Он был фигурой вообще трагической.

Он раньше всех, кто сидел здесь теперь, переступил тюремный порог.

Двоюродный взрослый брат, перед которым шестнадцатилетний Лёвка преклонялся, поручил ему спрятать типографский шрифт. Лёвка схватился за это восторженно. Но не уберется соседского мальчишки.

Тот подглядел и завалил Лёвку. Лёвка не выдал брата — он сплел историю, что нашел шрифт под лестницей.

Одиночка харьковской в н у т р я н к и, двадцать лет назад, представилась Рубину, всё так же мерно, тяжелой поступью расхаживающему по коридору.

Внутрянка построена по американскому образцу, — открытый многоэтажный колодец с железными этажными переходами и лесенками, на дне колодца — регулировщик с флажками. По тюрьме гулко разносится каждый звук. Лёвка слышит, как кого-то с грохотом волокут по лестнице, — и вдруг раздирающий вопль потрясает тюрьму:

— Товарищи! Привет из холодного карцера! Долой сталинских палачей!

Его бьют (этот особенный звук ударов по мягкому!), ему зажимают рот, вопль делается прерывистым и смолкает — но триста узников в трехстах одиночках бросаются к своим дверям, колотят и истошно кричат:

- Долой кровавых псов!
- Рабочей крови захотелось?
- Опять царя на шею?
- Да здравствует ленинизм!..

И вдруг в каких-то камерах исступленные голоса начинают:

«Вставай, проклятьем заклейменный!..»

И вот уже вся незримая толпа арестантов гремит до самозабвения:

«Это есть наш последний
И решительный бой!..»

Не видно, но у многих поющих, как и у Лёвки, должны быть слёзы восторга на глазах.

Тюрьма гудит разбереженным ульем. Кучка тю-

ремщиков с ключами затаилась на лестницах в ужасе от бессмертного пролетарского гимна...

Какие волны боли в затылок! Что за распираание в правом подвздошье!

Рубин снова постучал в окошко. По второму стуку высунулось заспанное лицо того же надзирателя. Отодвинув рамку со стеклом, он буркнул:

— Звонил я. Не отвечают.

И хотел задвинуть рамку, но Рубин не дал, ухватясь рукой:

— Так сходите ногами! — с мучительным раздражением прикрикнул он. — Мне плохо, понимаете? Я не могу спать! Вызовите фельдшера!

— Ну, ладно, — согласился вертухай.

И задвинул форточку.

Рубин снова стал ходить, все также безнадежно отмеривая заплеванное, замусоренное пространство прокуренного коридора, и так же мало подвигаясь в ночном времени.

И за образом харьковской внутренки, которую он вспоминал всегда с гордостью, хотя эта двухнедельная одиночка висела потом над всеми его анкетами и всей его жизнью и отяготила его приговор сейчас, — вступили в его память воспоминания — скрываемые, палящие стыдом.

...Как-то вызвали его в парткабинет тракторного завода. Лёва считал себя одним из создателей завода. Он работал в редакции его многотиражки. Он бегал по цехам, воодушевлял молодежь, накачивал бодростью пожилых рабочих, вывешивал «молнии» об успехах ударных бригад, о прорывах и разгильдяйстве.

Двадцатилетний парень в косоворотке, он вошел в парткабинет с той же открытостью, с которой случилось ему как-то войти и в кабинет секретаря ЦК Украины. И как он там просто сказал: «Здравствуй, товарищ Постышев!» — и первый протянул ему руку,

так сказал и здесь сорокалетней женщине со стриженными волосами, повязанным красной косынкой:

— Здравствуй, товарищ Бахтина! Ты вызывала меня?

— Здравствуй, товарищ Рубин, — пожала она ему руку. — Садись.

Он сел.

Еще в кабинете был третий человек, нерабочий тип, в галстукe, костюме, желтых полуботинках. Он сидел в стороне, просматривал бумаги и не обращал на них внимания.

Кабинет парткома был строг, как исповедальня, выдержан в пламенно-красных и деловых черных тонах.

Женщина стесненно, как-то потухло, поговорила с Лёвой о заводских делах, всегда ревностно обсуждаемых ими, и вдруг, откинувшись, сказала твердо:

— Товарищ Рубин! Ты должен разоружиться перед партией!

Лёва был поражен. Как? Он ли не отдает партии всех сил, здоровья, не отличая дня от ночи?

Нет! Этого мало.

Но что ж еще?!

Теперь вежливо вмешался и тот тип. Он обращался на «вы» — и это резало пролетарское ухо. Он сказал, что надо честно и до конца рассказать все, что известно Рубину об его женатом двоюродном брате; правда ли, что тот состоял прежде активным членом оппозиционной организации, а теперь скрывает это от партии?..

И надо было сразу что-то говорить, а они вперились в него оба...

Глазами именно этого брата учился Лёва смотреть на революцию. Именно от него он узнавал, что не всё так нарядно и беззаботно, как на первомайских демонстрациях. Да, Революция была весна — потому и грязи было много, и приходилось хлюпать в ней, ища скрытую твердую почву.

Но ведь прошло четыре года. Но ведь смолкли уже споры в партии. Оппозиционеров уже начали забывать. Из тысячи утлых «лодок» крестьянских хозяйств добро ли, худо ли, но сколотили «океанский пароход» коллективизации. Уже дымили домны Магнитогорска, и тракторы четырех заводов-первенцев переворачивали колхозные пласты. И «518» и «1040» были уже почти за плечами. Все объективно свершалось во славу Мировой Революции — и стоило ли теперь воевать из-за звуков имени того человека, которым будут названы все эти великие дела? (И даже имя это само Лёвка заставил себя полюбить. Да, он уже любил его!). И за что бы было теперь арестовывать, мстить тем, кто спорил прежде?

— Я не знаю. Никогда он в оппозициях не был, — отвечал язык Лёвки, но рассудок его воспринимал, что, говоря по взрослому, без чердачной мальчишеской романтики, — запирательство было уже ненужным.

Короткие энергичные жесты секретаря парткома. Партия! Не есть ли это высшее, что мы имеем? Как можно запираться... перед Партией? Как можно не открыться... Партии?! Партия не карает, она — наша совесть. Вспомни, что говорил Ленин...

Десять пистолетных дул, уставленных в его лицо, не запугали бы Рубина. Ни холодным карцером, ни ссылкой на Соловки из него не вырвали бы истины. Но перед Партией?! — он не мог утаиться и солгать в этой черно-красной исповедальне.

Рубин открыл — когда, где состоял брат, что делал. И смолкла женщина-проповедник.

А вежливый гость в желтых полуботинках сказал:

— Значит, если я правильно вас понял... — и прочел с листа записанное.

Теперь подпишитесь вот здесь.

Рубин отпрянул:

— Кто вы?? Вы — не Партия!

— Почему не партия! — обиделся гость. — Я тоже член партии. Я — следователь ГПУ.

...Рубин снова постучал в окошко. Надзиратель явно только что оторванный ото сна, просопел:

— Ну, чего стучишь? Сколько раз звонил я — не отвечают.

Глаза Рубина стали горячими от негодования:

— Я вас сходить просил, а не звонить! Мне с сердцем плохо!! Я умру, может быть!

— Не умрё-ошь, — примирительно и даже сочувственно протянул вертухай. — До утра-то дотянешь. Ну, сам посуди — как же я уйду, а пост брошу?

— Да какой идиот ваш пост возьмет! — крикнул Рубин.

— Не в том, что возьмет, а устав запрещает. В армии — служил?

Рубину так сильно било в голову, что он и сам едва не поверил, что сейчас может кончиться. Видя его искаженное лицо, надзиратель решился:

— Ну, ладно, отойди от волчка, не стучи. Сбегаю.

И, наверно, ушел. Рубину показалось, что и боль чуть уменьшилась. Он опять стал мерно ходить по коридору.

...А сквозь память тянулись воспоминания, которых совсем не хотел он возбуждать. Которые забыть — значило исцелиться.

Вскоре после тюрьмы, заглаживая вину перед комсомолом и спеша самому себе и единственно-революционному классу доказать свою полезность, Рубин с маузером на боку поехал коллективизировать село.

Три версты босиком убегая и отстреливаясь от взбешенных мужиков, что тогда видел в этом? «Вот и я захватил гражданскую войну». Только.

Разумелось само собой! — разрывать ямы с закопанным зерном, не давать хозяевам молоть муки и печь хлеба, не давать им набрать воды из колодца. Если дитё хозяйское умирало — подышайте вы, злыдни, и со своим дитём, а хлеба испечь — не дать. И не исторгала жалости, а привычная стала, как в городе трамвай, эта одинокая телега с понуренной лошадейю, на рассвете идущая затаившимся мертвым селом. Кнутом в ставенку:

— Покойники е? Выносьтэ.

И в следующую ставенку:

— Покойники е? Выносьтэ.

А скоро и так:

— Э! Чи тут е живы?

А сейчас вжато в голову. Врезано калёной печатью. Жжёт. И чудится иногда: раны тебе — за это! Тюрьма тебе — за это! Болезни тебе — за это!

Пусть справедливо. Но если понял, что это было ужасно, но если никогда бы этого не повторил, но если уже оплачено? — как это счистить с себя? Кому бы сказать: о, этого не было! Теперь будем считать, что этого не было! Сделай так, чтоб этого не было!..

Чего ни выматывает бессонная ночь из души печальной, ошибающейся?..

...На этот раз сам надзиратель отодвинул форточку. Он решился-таки бросить пост и сходить в штаб. Оказалось, там все спали — и некому было взять трубку на зуммер. Разбуженный старшина выслушал его доклад, выругал за уход с поста и, зная, что фельдшерца спит с лейтенантом, не осмелился их будить.

— Нельзя, — сказал надзиратель в форточку. — Сам ходил, докладывал. Говорят — нельзя. Отложить до утра.

— Я — умираю! Я — умираю! — хрипел ему Рубин в форточку. — Я вам форточку разобью! Позовите сейчас же дежурного! Я голодовку объявлю!

— Чего — голодовку? Тебя кто кормит, что ли? — рассудительно возразил вертухай. — Утром завтрак будет — там и объявишь... Ну, походи, походи. Я старшине еще позвоню.

И надо было стать выше этого!

Превозмогая дурноту и боль, Рубин всё так же мерно старался ходить по коридору. Ему припоминалась басня Крылова «Булат». Басня эта на воле как-то проскользнула мимо его внимания, но в тюрьме поразила:

Булатной сабли острый клинок
Заброшен был в железный хлам;
С ним вместе вынесен на рынок
И мужику задаром продан там.

Мужик же Булатом драл лыки, щепал лучину. Булат стал весь в зубцах и ржавчине. И однажды Еж спросил Булата в избе под лавкой:

Скажи, на что вся жизнь твоя похожа?
...не стыдно ли тебе щепать лучину
Или обтёсывать тычину?

И Булат ответил ему так, как сотни раз мысленно отвечал сам Рубин:

В руках бы воина врагам я был ужасен!
А здесь мой дар — напрасен...
Нет, стыдно-то не мне, а стыдно лишь тому,
Кто не умел понять, на что я годеи..

ГРАЖДАНСКИЕ ХРАМЫ

В ногах ощутилась слабость, и Рубин подсел к столу, привалился грудью к его острому ребру.

Как ни ожесточенно он отвергал доводы Сологдина, — тем больней было ему слышать, что он знал долю справедливости в них. Да, особенно среди новейших поколений, устои добродетели пошатнулись, люди теряют ощущение поступка нравственного и поступка красивого.

В старых обществах знали, что для нравственности нужна церковь и нужен авторитетный поп. Еще и теперь какая польская крестьянка предпримет серьезный шаг в жизни без совета ксендза?

Быть может, сейчас для советской страны гораздо важнее Волго-Донского канала или Ангарстроя — поднимать людскую нравственность!

Как это сделать? — Этому послужит «Проект о создании гражданских храмов», уже вчерне подготовленный Рубиным. Нынешней ночью, пока бессонница, надо его окончательно отделать, затем при свидании постараться передать на волю. Там его перепечатают и пошлют в ЦК партии. За своей подписью послать нельзя — в ЦК обидятся, что такие советы им дает политзаключенный. Но нельзя и анонимно. Пусть подпишется кто-нибудь из фронтовых друзей — славой Рубин охотно пожертвует для хорошего дела.

Перемогая волны боли в голове, Рубин набил трубку «золотым руном» — по привычке, так как курить ему сейчас не только не хотелось, но было отвратно, — задымил и стал просматривать проект.

В шинели, накинутой поверх белья, за голым плохо-оструганным столом, пересыпанным хлебными крошками и табачным пеплом, в спертom воздухе неме-

теного коридора, через который там и сям иногда поспешно пробежали по ночным надобностям полусонные зэки, — безымянный автор просматривал свой бескорыстный проект, набросанный на многих листах торопливым разгонистым почерком.

В преамбуле говорилось о необходимости еще выше поднять и без того высокую нравственность населения, придать больше значительности революционным и гражданским годовщинам, обставить с обрядной торжественностью акты бракосочетания, присвоения имени новорожденному, вступления в совершеннолетие и гражданских панихид. (Автор мягко намекал, что и брак, и рождение ребенка, и смерть отмечаются у нас буднично, отчего слабо ощущает на себе гражданин узы семейные и общественные.)

Как выход предлагалось — повсеместно основать Гражданские Храмы, величественные по архитектуре и как бы господствующие над местностью.

Затем по разделам, а разделы дробились на параграфы, предусмотрительно излагалась организационная сторона: в населенных пунктах какого масштаба или из расчета на какую территориальную единицу строятся гражданские храмы; какие именно даты отмечаются там при массовом присутствии жителей; примерная продолжительность отдельных обрядов. Бракосочетанию предпосылалось обручение и оглашение брака за две недели. Вступающих в совершеннолетие предлагалось при массовом стечении народа в храмы — группами приводить к особой присяге с обязательствами по отношению к отчизне, родителям и общеэтического характера.

В проекте особенно настаивалось, что не безразлична обрядовая обстановка всех этих свершений. Что одежды служителей храмов должны быть необычны, должны отличаться возвышенностью убранства и говорить о белоснежной чистоте своих носителей. Что обрядовые формулы должны быть ритмически расчи-

таны, эмоциональны. Что воздействием ни на какой орган чувств посетителей храмов не следует пренебрегать: от особого аромата в воздухе храма, от мелодичной музыки и пения, от использования цветных стекол и прожекторов, от художественной стенной росписи, способствующей развитию эстетических вкусов населения, — до всего архитектурного ансамбля храма, который должен передавать дыхание величия и вечности.

Каждое слово проекта приходилось мучительно, утонченно выбирать из синонимов. Недалекие поверхностные люди могли бы из любого неосторожного слова вывести, что автор попросту предлагает возродить христианские храмы без Христа — но это глубоко не так! Любители исторических аналогий могли бы обвинить автора в повторении робеспьеровского культа Верховного Существа — но, конечно, это совсем, совсем не то!!

Самым же своеобразным в проекте автор считал раздел о новых... не священниках, но, как они там именовались, — служителях храмов. Автор считал, что ключ к успеху всего проекта состоит в том, насколько удастся или не удастся создать в стране корпус таких авторитетных служителей, пользующихся любовью и доверием народа за свою совершенно безупречную, не корыстную достойную жизнь. По принципу нравственности он предлагал партийным инстанциям произвести подбор кандидатов на курсы служителей храмов, снимая их с любой ныне исполняемой работы. После того, как схлынет первая острота нехватки, курсы эти, с годами всё удлиняясь по времени и углубляясь по программе, должны будут придавать служителям блестящую широкую образованность и особо включить в себя элоквенцию. (Проект бесстрашно утверждал, что ораторское искусство в нашей стране пришло в упадок — может быть, из-за того, что не приходится никого у б е ж д а т ь, так как всё население и без того безоговорочно поддерживает свое родное государство.)

И такова была сила этого трудолюбивого ума, что правка проекта сосредоточила его, дала если не забыть о боли, то отнестись к ней как к чему-то постороннему.

А что никто не приходил к заключенному, умирающему в неурочный час, не удивляло Рубина. Случаев подобных он довольно насмотрелся в контрразведках и на пересылках.

Поэтому, когда в дверях загремел ключ, Рубин первым толчком сердца испугался, что в глуби ночи его застают за неположенным занятием, за что последует прилипчивая, нудная кара, он сгреб свои бумаги, книги, табак — и хотел скрыться в комнату, но поздно: коренастый грубомордый старшина заметил и звал его из раскрытых дверей.

И Рубин очнулся. И сразу опять ощутил всю свою покинутость, болезненную беспомощность и оскорбленное достоинство.

— Старшина, — сказал он, медленно подходя к помощнику дежурного, — я третий час подряд добиваюсь фельдшера. Я буду жаловаться в тюремное управление МГБ и на фельдшера, и на вас.

Но старшина примирительно сказал:

— Рубин, никак нельзя было раньше, от меня не зависело. Пойдемте.

От него, и правда, зависело только, дознавшись, что бушует не кто-нибудь, а один из самых зловредных эков, решиться постучать лейтенанту. Долго не было ему ответа, потом выглянула фельдшерица, опять скрылась. Наконец лейтенант вышел, хмурясь, из медпункта и разрешил старшине привести Рубина.

Теперь Рубин надел шинель в рукава и застегнулся, скрывая белье. Старшина повел его подвальным коридором шарашки, и они поднялись в тюремный двор по трапу, на который густо напала пушничка.* В картинно-тихой ночи, где щедрые белые хлопья не

* Пушистый снег.

переставали падать, отчего мутные и темные места ночной глубины и небосклона казались прочерченными множеством белых столбиков, старшина и Рубин пересекали двор, оставляя глубокие следы в рассыпчато-воздушном снеге.

Здесь, под этим милым тучевым буро-дымчатым от ночного освещения небом, ощущая на поднятой бороде своей и на горячем лице детски-невинные прикосновения шестигранных прохладных звездочек, Рубин замер, закрыл глаза. Его пронизало наслаждение покоя, тем более острое, чем оно было кратче, — вся сила бытия, всё счастье никуда не идти, ничего не просить, ничего не хотеть — только стоять так всю ночь напролет, замерев, — блаженно, благословенно, как стоят деревья, ловить, ловить на себя снежинки.

И в этот самый миг с железной дороги, которая шла от Маврино меньше, чем в километре, донесся долгий заливчатый паровозный гудок — тот особенный, одинокий в ночи, за душу берущий паровозный гудок, который в зените лет напоминает нам детство, оттого что в детстве так много обещал к зениту лет.

Даже полчаса вот так постоять — весь бы отошел, выздоровел душой и телом, и сложил бы нежное стихотворение — о ночных паровозных гудках.

Ах, если бы можно было не идти за конвоиром!..

Но конвоир уже с подозрением оглядывался — не задуман ли здесь ночной побег?

И ноги Рубина пошли, куда предписано было.

Фельдшерица порозовела от молодого сна, кровь играла в её щеках. Она была в белом халате, но повязанном, видимо, не поверх гимнастерки и юбки, а налегке. Всякий арестант всегда и Рубин во всякое другое время сделал бы это наблюдение и старался бы лучше оглядеть контуры ее фигуры, — но сейчас строй мыслей Рубина не снисходил до этой грубой бабы, промучившей его всю ночь.

— Прошу: тройчатку и что-нибудь от бессонницы, только не люминал, мне заснуть надо — сразу.

— От бессонницы ничего нет, — механически отказала она.

— Я-про-шу-вас! — внятно повторил Рубин. — Мне с утра делать работу для министра. А я уснуть не могу.

Упоминание о министре, да и соображение, что Рубин будет стоять и неотступно просить этот порошок (а по некоторым признакам она рассчитывала, что лейтенант к ней сейчас вернется), подвигло фельдшерицу изменить своему обычаю и дать лекарство.

Она достала из шкафчика порошки и заставила Рубина всё выпить тут же, не отходя (по тюремному медицинскому уставу всякий порошок рассматривается как оружие и не может быть выдан арестанту в руки, а только в рот).

Рубин спросил, который час, узнал, что уже половина четвертого, и ушел. Проходя опять двор и с любовью оглянувшись на ночные липы, озаренные снизу отсветом пятисот- и двухсотваттных ламп зоны, он глубоко-глубоко вдохнул воздух, пахнувший снегом, наклонился, полной жменю несколько раз захватил звездчатого пушничка и им, невесомым, бестелесным, льдистым, отёр лицо, шею, набил рот.

И душа его приобщилась к свежести мира.

КОСМОПОЛИТ БЕЗРОДНЫЙ

Дверь в столовую из спальни была не притворена, и ясно раздался один полновесный удар, в каких-то вторичных отзвуках не сразу погасший в стенных часах.

Половина какого это часа, Адаму Ройтману хоте-

лось взглянуть на ручные, дружески тикавшие на тумбочке, но он боялся вспышкой света потревожить жену. Жена спала удивительно грациозно частью на боку, частью ничком, лицом она уткнулась в плечо мужа, а на руке у локтя Адам ощущал ее грудь.

Они были женаты уже пятый год, но даже в полусознании он чувствовал в себе разлитие нежности от того, что она рядом, что она как-нибудь смешно спит, грея меж его ног свои маленькие, вечно мерзнущие ступни.

Адам только что проснулся от нескладного сна. Хотел заснуть, но успели вспомниться последние вечерние новости, потом неприятности по работе, затолпились мысли, мысли, глаза размежились — установилась та ночная четкость, при которой бесполезно пытаться уснуть.

Шум, топот и передвижение мебели, с вечера долго слышавшиеся над головой, в квартире Макарыгиных, давно уже стихли.

Там, где занавеси не сходились, из окна проступало слабое сероватое свечение ночи.

В ночном белье, плашмя, лишенный сна, Адам Вениаминович Ройтман не чувствовал той твердости положения и того подъема над людьми, которые сообщались ему днем погонями майора МГБ и значком лауреата сталинской премии. Он лежал навзничь и, как всякий простой смертный, ощущал, что мир многолюден, жесток и что жить в нем — нелегко.

Вечером, когда у Макарыгиных кипело веселье, к Ройтману зашел один давнишний друг его, тоже еврей. Пришел он без жены, озабоченный, и рассказывал невеселые вещи.

Это не было ново. Это началось еще прошлой весной, началось сперва в театральной критике и выглядело как невинная расшифровка еврейских фамилий в скобках. Потом переползло в литературу. В одной второразрядной газетёнке, занимающейся чем угодно,

кроме своего прямого дела, кто-то шепнул ядовитое слово — космополит. И слово было найдено. Прекрасное гордое слово, объединявшее все миры вселенной, слово, которым венчали гениев самой широкой души — Данте, Гёте, Байрона, — это слово в газетёнке слиняло, сморщилось, зашипело и стало значить — ж и д.

А потом поползло дальше, стыдливо стало прятаться в папках за закрытыми дверьми.

А теперь холодное преддыхание достигало уже и технических кругов. Ройтман, неуклонно и с блеском шедший к славе, ощутил, как пошатнулось его положение именно за последний месяц.

Да неужели изменяет память? Ведь в революцию и еще долго после нее слово «еврей» было благонадежнее, чем «русский». Русского еще проверяли дальше — а кто были родители? а на какие доходы жили до семнадцатого года? Еврея не надо было проверять: евреи все поголовно были за революцию, избавившую их от погромов, от черты оседлости.

И вот... бич гонителя израильтян незаметно, скрываясь за второстепенными лицами, принимал Иосиф Сталин.

Когда группу людей травят за то, что они были раньше притеснителями, или членами касты, или за их политические взгляды, или за круг знакомств, — всегда есть разумное (или псевдо-разумное?) обоснование. Всегда знаешь, что ты сам выбрал свой жребий, что ты мог и не быть в этой группе. Но — национальность?..

(Внутренний ночной собеседник тут возразил Ройтману: но соцпроисхождения тоже не выбирали? А за него гнали.)

Нет, главная обида для Ройтмана в том, что ты от души хочешь быть с в о и м, таким, как все, — а тебя не хотят, отталкивают, говорят: Ты — чужой. Ты — неприкаянный. Ты — жид.

Очень неторопливо, с большим достоинством, стенные часы в столовой стали бить, но, отбив четыре, смолкли. Ройтман ждал пятого удара и обрадовался, что только четыре. Еще успеет заснуть.

Он пошевелился. Жена хмыкнула во сне, перекатилась на другой бок, но и спиной инстинктивно прижалась к мужу. Он перелег лицом к ней, повторил изгибом тела ее изгиб, обнял. Жена благодарно стихла.

И тихо-тихо спал сын в столовой. Никогда он не вскрикнет, не позовет.

Трехлетний умненький сын был гордостью молодых родителей. Адам Вениаминович с восхищением рассказывал о его нравах и проделках даже заключенным в Акустической, по обычной нечувствительности счастливых людей не понимая, что им, лишенным отцовства, это больно. Сын бойко тараторил, но произношение его не установилось, он подражал днем — матери (она была волжанка и бкала), а вечером отцу, пришедшему с работы (Адам же не только картавил, но имел в произношении досадные недостатки).

Как это бывает в жизни, если уж приходит счастье, то оно не знает краёв. Любовь и женитьба, потом рождение сына пришли к Ройтману вместе с концом войны и со сталинской премией. Впрочем, и войну он провел безбедно: в тихой Башкирии на высоком пайке Ройтман и его нынешние приятели по Мавринскому институту конструировали первую систему телефонной шифрации. Сейчас та система кажется примитивной — тогда они стали за нее лауреатами.

Как горячо они делали ее! Куда девались теперь тот порыв, те поиски, те взлёты?

С пронизательностью темного ночного бдения, когда неотвлекаемое зрение обращается внутрь, Ройтман вдруг понял сейчас — чего не хватало ему последние годы. Наверное, того не хватало, что делал теперь все не сам.

Ройтман даже не заметил, когда и как он сполз с

роли творца на роль начальника над творцами...

Как обожжённый, он отнял руку от жены, подмогнул подушку повыше, перелег опять на спину.

Да, да, да! это заманчиво, легко! — в субботу вечером, уезжая домой на полтора суток, когда сам уже охвачен ощущением домашнего уюта и воскресных семейных планов, — сказать: «Валентин Мартыныч! Так вы завтра продумаете, как нам устранить нелинейные искажения? Лев Григорьевич! Вы завтра пробежите эту статью из «Proceedings»? Тезисно основные мысли набросаете?» В понедельник утром, освеженный, он возвращается на работу — на столе у него, как в сказке, лежит по-русски резюме статьи из «Proceedings», а Пряничков докладывает, как устранить нелинейные искажения, или даже уже устранил их за воскресенье.

Очень удобно!..

И заключенные не обижаются на Ройтмана, больше того — любят. Потому что держится он не как тюремщик их, а как просто хороший человек.

Но творчество, радость блеснувших догадок и горечь непредвиденных поражений — ушли от него!

Высвободясь от одеяла, он сел в кровати, руками охватил колени, поставил на них подбородок.

Чем же он был занят все эти годы? Интригами. Борьбой за первенство в институте. С группой друзей, они делали все, чтобы опорочить и столкнуть Яконова, считая, что он заслоняет их своей маститостью, апломбом и получит сталинскую премию единолично. Пользуясь, что у Яконова подточенное прошлое, и поэтому в партию его не принимали, как он ни бился, «молодые» вели атаку через партийные собрания — ставили там его отчет, потом просили его уйти, или тут же, при нем («голосуют только члены партии») обсуждали и выносили резолюцию. И всегда Яконов по партийным резолюциям оказывался виноват. Ройтману минутами даже было жалко его. Но не было другого выхода.

И как все враждебно обернулось! В своей травле Яконова «молодые» и думать забыли, что среди них пятерых — четыре еврея. Сейчас Яконов не устает с каждой трибуны напоминать, что космополитизм — злейший враг социалистического отечества.

Вчера, после министерского гнева, в роковой день Мавринского института, заключенный Маркушев бросил мысль о слиянии систем клиппера и вокодера. Скорей всего это была чушь, но ее можно было изобразить перед начальством как коренную реформу — и Яконов распорядился немедленно перетаскивать стойку вокодера в Семерку и туда же перевести Прянчикова. Ройтман кинулся в присутствии Севастьянова возражать, спорить, но Яконов снисходительно, как слишком горячего друга, похлопал Ройтмана по плечу:

— Адам Веняминович! Не заставляйте замминистра подумать, что свои личные интересы вы ставите выше интересов Отдела спецтехники.

В этом и был трагизм теперешней обстановки: били по морде — и нельзя было плакать! Душили среди бела дня — и требовали, чтобы ты аплодировал стоя!

Пробило сразу пять — он не слышал половины.

Спать не только не хотелось — уже и кровать начинала стеснять.

Очень осторожно, нога за ногой, Адам соскользнул с кровати, сунул ноги в туфли. Беззвучно обойдя стоявший на дороге стул, он подошел к окну и больше расклонил шелковые занавески.

О-о, сколько снегу нападало!

Прямо через двор был самый дальний, запущенный угол Нескучного сада — овраг и крутые склоны его в снегу, поросшие торжественными убеленными соснами. И вдоль оконных переплетов извне тоже прилегли к стеклу пушистые снежные откосики.

Но снегопад уже почти прошел.

Коленям было горячевато от подоконных радиаторов.

И еще, почему он не успевал в науке за последние годы! — его задержали заседаниями, бумажками. Каждый понедельник — политучеба, каждую пятницу — техучеба, два раза в месяц — партсобрания, два раза — заседания партбюро, да еще на два-три вечера в месяц вызывают в министерство, раз в месяц специальное совещание о бдительности, ежемесячно составляй план научной работы, ежемесячно посылай и отчет о ней, раз в три месяца пиши зачем-то характеристики на всех заключенных (работы — на полный день). И еще каждые полчаса подчиненные подходят с накладными — любой конденсаторишка величиной с ириску, каждый метр провода и каждая радиолампа должны получить визу начальника лаборатории, иначе их не выдают со склада.

Ах, бросить бы всю эту волокиту и всю эту борьбу за первенство! — посидеть бы самому над схемами, подержать в руках паяльник, да в зеленоватом окошке электронного осциллографа поймать свою заветную кривую — будешь тогда беззаботно распевать «буги-вуги», как Пряничков. В тридцать один год какое бы это счастье! — не чувствовать на себе гнетущих эполет, забыть о внешней солидности, быть себе, как мальчишка, — что-то строить, что-то фантазировать.

Он сказал себе — «как мальчишка» — и по капризу памяти вспомнил себя мальчишкой, — с безжалостной ясностью в ночном мозгу всплыл глубоко забытый, много лет не вспоминавшийся эпизод.

Двенадцатилетний Адам в пионерском галстуке, благородно-оскорбленный, с дрожью в голосе стоял перед общешкольным пионерским собранием — и обвинял, и требовал изгнать из юных пионеров и из советской школы — агента классового врага. Выступали до него, и после него — Митька Штительман, Мишка Люксембург, и все они избличали соученика своего Олега Рождественского в антисемитизме, в посещении церкви, в чуждом классовом происхождении, и бросали на подсудимого трясущегося мальчика уничтожающие взоры.

Кончались двадцатые годы, мальчики еще жили политикой, стенгазетами, самоуправлением, диспутами. Город был южный, евреев было с половину группы. Хотя были мальчики сыновьями юристов, зубных врачей, а то и мелких торговцев, — все себя остервенелобужденно считали пролетариями.

Олег — бледный, худенький, первый ученик в классе, избегал всяких речей о политике, явно нехотя вступил в пионеры. Мальчики-энтузиасты заподозрили в нем чуждый элемент. Следили за ним, ловили. Однажды Олег попался, сказал: «Каждый человек имеет право говорить все, что он думает». — «Как — всё? — подскочил к нему Штительман. — Вот Никола меня «жидовской мордой» назвал — так и это тоже можно?» — «Говорить? — не уступал Олег, поводя узкой шейкой. — Г о в о р и т ь каждый имеет право, что хочет».

Из того и начато было на Олега дело! Нашлись друзья-доносчики, Шурик Буриков и Шурик Ворожит, кто видели, как виновник входил с матерью в церковь и как он пришел один раз в школу с крестиком на шее. Начались собрания, заседания учкома, группкома, пионерские сборы, линейки — и всюду выступали двенадцатилетние робеспьеры и клеймили перед ученической массой пособника антисемитов и проводника религиозного опиума, который две недели уже не ел от страха, скрывал дома, что исключен из пионеров и скоро будет исключен из школы.

Адам Ройтман не был там заводилой, его втянули — но даже и сейчас мерзким стыдом залились его щеки.

Кольцо обид! кольцо обид! И нет из него выхода, как нет выхода из тяжбы с Яконовым.

С кого начинать исправлять мир? — с других? или с себя?..

В голове уже выросла та тяжесть, а в груди — та опустошенность, которые нужны, чтобы уснуть.

Он пошел и тихо лег под одеяло. Пока не пробило шесть, надо непременно заснуть.

С утра — нажимать с фоноскопией! Громадный козырь! В случае успеха это предприятие может разрастись в отдельный научно-исследова...

РАССВЕТ ПОНЕДЕЛЬНИКА

Подъем на шарашке бывал в семь часов.

Но в понедельник задолго до подъема в комнату, где жили рабочие, пришел надзиратель и толкнул в плечо дворника. Спиридон храпнул тяжело, прочнулся и при свете синей лампочки посмотрел на надзирателя.

— Одевайся, Егоров. Лейтенант зовет, — тихо сказал надзиратель.

Но Егоров лежал с открытыми глазами, не шевелясь.

— Слышь, говорю, лейтенант зовет.

— Чего там? Ус..лись? — также не двигаясь, спросил Спиридон.

— Вставай, вставай, — тормошил надзиратель. — Не знаю чего.

— Э-э-эх! — широко потянулся Спиридон, заложил рыжеволосые руки за голову и с затыгом зевнул. — И когда тот день придет, что с лавки не встанешь!.. Часов-то много?

— Да шесть скоро.

— Шести-и нет?!.. Ну, иди, ладно.

И продолжал лежать.

Надзиратель покосился и вышел.

Синяя лампочка давала свет на угол подушки Спиридона до косого крыла тени от верхней койки. Так, в

свету и в тени, с руками, заложенными за голову, Спиридон лежал и не двигался.

Ему жалко было, что не досмотрел он сна.

Ехал он на телеге, наложенной сушником (а под сушником — прихоронёнными от лесника бревёшками) — ехал будто из своего ж леса к себе в деревню, но дорогою незнакомой. Дорога была незнакома, но каждую подробность ее Спиридон обоими глазами (оба будто глаза здоровы!) отчетливо видел во сне: где корни, вздувшиеся поперек дороги, где расщеплина от старой молнии, где мелкий сосóнник и глубокий песок, в котором зажирались колеса. Еще слышал Спиридон во сне все разнообразные предосенние запахи леса и вбирчиво ими дышал. Он потому так дышал, что помнил во сне отчетливо, что он — зэк, что срок ему — десять лет и пять намордника, что он отлучился с шарашки, его, должно, уже хватились, а пока не дослали псов — надо успеть привезти жене и дочке дровишек.

Но главное счастье сна происходило от того, что лошадь была не какая-нибудь, а самая любимая из перебивавших у Спиридона — розовой масти кобылка Гривна — первая лошадь, купленная им трехлетком в свое хозяйство после гражданской войны. Она была бы вся серая, если б не шел у нее по серому равномерный гнеденький перешёрсток, красинка, отчего и звали ее масть «розовой». На этой лошади он и на ноги стал, и ее закладал в корень, когда вёз украдом к венцу невесту свою Марфу Устиновну. И теперь Спиридон ехал и счастливо удивлялся, что Гривна до сих пор оказалась жива, и так же молода, так же не осекаясь вымахивала воз в горку и ретиво тянула его по песку. Вся думка Гривны была в ее ушах — высоких, серых, чутких ушах, малыми движениями которых она, не обращиваясь, говорила хозяину, как понимает она, что от нее сейчас нужно, и что она справится. Даже издали украдкой показать Гривне кнут было бы обидеть ее.

Езжая на Гривне, Спиридон никогда с собой кнута не брал.

Ему во сне хоть слезь да поцелуй Гривну в храп, такой он был радый, что Гривна молода и, должно, теперь дождется конца его срока, — как вдруг на спуске к ручью заметил Спиридон, что воз-то у него увален кой-как, и сучья расплзаются, грозя вовсе развалиться на броду.

Как толчком его скинуло с воза на землю — и это был толчок надзирателя.

Спиридон лежал теперь и вспоминал не одну свою Гривну, но десятки лошадей, на которых ему приходилось ездить и работать за жизнь (каждая из них врезалась ему, как человек живой), и еще тысячи лошадей, перевиденных со стороны, — и надсадно было ему, что так зря, безо всякого разума, сжили со свету первых помощников — тех выморив без овса и сена, тех засека в работе, тех татарам на мясо продав. Что делалось с умом, то Спиридон мог понять. Но нельзя было понять, зачем свели лошадь. Баяли тогда, что за лошадь будет работать трактор. А легло всё — на бабьи плечи.

Да одних ли лошадей? Не сам ли Спиридон вырубал фруктовые сады на хуторах, чтоб людям нечего там было терять — чтоб легче они поддались до купы?..

— Егоров! — уже громко крикнул надзиратель из двери, разбудя тем еще двоих спящих.

— Да иду же, мать твоя родина! — проворно отозвался Спиридон, спуская босые ноги на пол. И побрел к радиатору снять высохшие портянки.

Дверь за надзирателем закрылась. Сосед кузнец спросил:

— Куда, Спиридон?

— Господа кличут. Пайку отрабатывать, — в сердцах сказал дворник.

Дома у себя мужик незалёжливый, в тюрьме Спиридон не любил подхватываться в темнедь. Из-под

палки до света вставать — самое злое дело для арестанта.

Но в Севураллаге поднимают в пять часов.

Так что на шараге следовало пригнуться.

Примотав к солдатским ботинкам долгими солдатскими обмотками концы ватных брюк, Спиридон, как был, одетый и обутый, влез еще в синюю шкуру комбинезона, накинул сверху черный бушлат, шапку-малахай, перепоясался растеребленным брезентовым ремнем и пошел. Его выпустили за окованную дверь тюрьмы и дальше не сопровождали. Спиридон прошел подземным коридором, шаркая по цементному полу железными подковами, и по трапу поднялся во двор.

Ничего не видя в снежной полутьме, Спиридон безошибочно ощутил ногами, что выпало снега на полторы четверти. Значит, шел всю ночь крупный. Убравшаяся в снег, он пошел на огонек штабной двери.

На порог штаба тюрьмы как раз выступил дежурняк — лейтенант с плюгавыми усиками. Недавно выйдя от медсестры, он обнаружил беспорядок — много напало снега, за тем и вызвал дворника. Заложив теперь обе руки за ремень, лейтенант сказал:

— Давай, Егоров, давай! От парадного к вахте прочисть, от штаба к кухне. Ну, и тут... на прогулочном... Давай!

— Всем давать — мужу не останется, — буркнул Спиридон, направляясь через снежную целину за лопатой.

— Что? Что ты сказал? — грозно переспросил лейтенант.

Спиридон оглянулся:

— Говорю — явóль, начальник, явóль! (Немцы тоже так вот бывало «гыр-гыр», а Спиридон им — «явóль»). — Там на кухне скажи, чтоб картошки мне подкинули.

— Ладно, чисть.

Спиридон всегда вел себя благоразумно, с начальством не вздорил, но сегодня было особое горькое настроение от утра понедельника, от нужды, глаз не продравши, опять горбить, от близости письма из дому, в котором Спиридон предчувствовал дурное. И горечь всего его пятидесятилетнего топтанья на земле собралась вся вместе и стояла изжогой в груди.

Сверху уже не сыпало. Без шелоху стояли липы. Они белели. Но то был уже не иней вчерашний, изникший к обеду, а выпавший за ночь снег. По темному небу, по затиши Спиридон определял, что снег этот долго не продержится.

Начал работать Спиридон угрюмо, но после затравы, первой полсотни лопат, пошло ровно и даже как будто в охотку. И сам Спиридон, и жена его были такие: от всего, что сгущалось на сердце, отступ находили в работе. И легчало.

Чистить Спиридон начал не дорогу от вахты для начальства, как ему было велено, а по своему разумению: сперва дорожку на кухню, потом — в три широких фанерных лопаты — круговую дорожку на прогулочном дворе, для своего брата-зэка.

А мысли были о дочери. Жена, как и он, отжила уже свое. Сыновья, хоть и сидели за колючкой, но были мужики. Молодому крепиться — вперед пригодится. Но дочь?..

Хотя одним глазом Спиридон ничего не видел, а другим видел только на три десятых, он обвел весь прогулочный двор как отмеренным ровным продолговатым кругом — еще до свету, как раз к семи часам, когда по трапу поднялись первые любители гулять — Потапов и Хоробров, для того вставшие заранее и умывшиеся еще до подъема.

Воздух выдавался пайком и был дорог.

— Ты что, Данилыч, — спросил Хоробров, поднимая воротник черного истертого гражданского пальто,

в котором был арестован когда-то. — Ты и спать не ложился?

— Рази ж дадут спать, змеи? — отозвался Спиридон. Но утреннего зла уже в нем не было. За этот час молчаливой работы все омрачающие мысли о тюремщиках усторонились из него — и осталась светлая твердость человека, привыкшего страдать. Не говоря этого себе словами, Спиридон сердцем уже рассудил, что если дочь и сама набедила в чем, то ей не легче, и ответить надо будет помягче, а не проклинать.

Но и эта самая важная мысль о дочери, снизошедшая на него с недвижимых предутренних лип, тоже начинала утесняться мелкими мыслями дня — о двух досках, где-то занесенных снегом, о том, что метлу надо нынче насадить на метловище потуже.

Между тем надо было идти прочищать дорогу с вахты для легковых машин и для вольняшек. Спиридон перекинул лопату через плечо, обогнул здание шарашки и скрылся.

Сологдин, легкий, стройный, с телогрейкой, чуть наброшенной на немерзнущие плечи, прошел на дрова. После вчерашней бестолковой колготни с Рубиным, его раздражающих обвинений, он первую ночь за два года на шарашке, спал дурно — и теперь утром искал воздуха, одиночества и простора для обдумывания. Напиленных дров у него было, только коли.

Потапов в красноармейской шинели, выданной ему при взятии Берлина, когда его посадили десантником на танк (до плена он был офицер, но званий за пленными не признавали), медленно гулял с Хоробровым, немного выбрасывая на ходу поврежденную ногу.

Хоробров едва успел стряхнуть дремоту и умыться, но вечно-бодрствующее внимание уже вступило в его мысли. Вырывавшиеся у него слова, как бы описав бесплодную петлю в темном воздухе, бумерангом возвращались к Хороброву и терзали ему же грудь:

— Давно ли мы читали, что фордовский конвейер превращает рабочего в машину и что это есть самое бесчеловечное выражение капиталистической эксплуатации? Но прошло пятнадцать лет, и тот же конвейер под именем потока славится как высшая и новейшая форма производства! Понадобься нынче провести еще одно повальное крещение Руси — Сталин тут же бы сумел увязать это с атеизмом.

Потапов всегда был настроен с утра меланхолически. Утро было единственное время, когда он мог подумать о погубленной жизни, о растущем без него сыне, о сохнувшей без него жене. Потом суета работы затягивала, и думать уже было некогда.

В словах Хороброва он слышал слишком много раздражения, а это может вести и к собственным ошибкам. Поэтому, неловко выбрасывая поврежденную ногу, он шел молча и старался дышать поглубже и поровней.

Они делали круг за кругом.

Гуляющих прибавилось. Они ходили по одному, а то и по два, и по три. По разным причинам скрывая свои разговоры, они старались не тесниться и не обгонять друг друга без надобности.

Только-только брезжило. Снеговыми тучами закрытое небо опаздывало с отблесками утра. Фонари еще бросали на снег желтые круги.

В воздухе была та свежесть, которою веет только что выпавший снег. Под ногами он не скрипел, а мягко уплотнялся.

Высокий прямой Кондрашёв в фетровой шляпе (он еще не побывал в лагерях) ходил с маленьким щуплым Герасимовичем в кепочке, соседом своим по комнате. Герасимович не доставал Кондрашёву даже до плеча.

Герасимович, уничтоженный вчерашним свиданием, до конца воскресенья пролежал в кровати как больной. Прощальный выкрик жены потряс его. Сегодня утром он вышел на прогулку через силу, озябший, за-

пахнувшись доплотна, и сразу же хотел вернуться в тюрьму.

Но столкнулся с Кондрашёвым-Ивановым, пошел сделать с ним один круг — и увлекся на всю прогулку.

— Как?! Вы ничего не знаете о Павле Дмитриевиче Корине? — поразился Кондрашёв, будто о том знал каждый школьник. — О-о-о! У него, говорят, есть, только не видел никто, удивительная картина — «Русь уходящая»! — Одни говорят шесть метров длиной, другие — двенадцать. И в этой картине...

Начинало сереть.

Ходил надзиратель по двору и кричал, что прогулка окончена.

В подземном коридоре возвращавшиеся посвежевшие заключенные невольно толкали хмуробородого избольна бледного Рубина, проталкивающегося им навстречу. Сегодня он проспал не только дрова (на дрова немислимо было идти после ссоры с Сологдиным), но и утреннюю прогулку. От короткого искусственного сна Рубин ощущал свое тело тяжелым, ватно-бесчувственным. Еще он испытывал кислородный голод, незнакомый тем, кто может дышать, когда хочет. Он пытался теперь выбиться во двор за единым глотком свежего воздуха и жменюю снега для обтирания.

Но надзиратель, стоя у верха трапа, не пустил его.

Рубин стоял у низа трапа, в цементной яме, куда однако, тоже перепало снега и тянуло свежим воздухом. Здесь, внизу, он и сделал три медленных круговых движения руками с глубокими вздохами, затем собрал со дна ямы снегу, натёр им лицо и поплелся в тюрьму.

Туда же пошел и проголодавшийся бодрый Спиридон, уже расчистивший дорогу для машин до самой вахты.

В штабе тюрьмы два лейтенанта — сменяющийся, с квадратными усиками, и новозаступающий лейтенант

Жвакун, вскрыли пакет и познакомились с оставленным им приказом майора Мышина.

Лейтенант Жвакун — грубый широкомордый непроницаемый парень, во время войны в старшинском звании служил «исполнителем при военном трибунале» дивизии и оттуда выслужился. Он очень дорожил своим местом в спецтюрьме и, не блеща грамотностью, дважды перечел распоряжение Мышина, чтобы ничего не спутать.

Без десяти девять они пошли по комнатам делать поверку и всюду объявляли, как было велено:

«Всем заключенным в течение трех дней сдать майору Мышину перечень своих прямых родственников по форме: номер по порядку, фамилия, имя, отчество родственника, степень родства, место работы и домашний адрес.

Прямыми родственниками считаются: мать, отец, жена зарегистрированная, сын и дочь от зарегистрированного брака. Все остальные — братья, сестры, тетки, племянницы, внуки и бабушки считаются родственниками непрямыми.

С 1-го января переписка и свидания будут дозволяться только с прямыми родственниками, которых укажет в перечне заключенный.

Кроме того, с 1-го января размер ежемесячного письма устанавливается — не больше одного развернутого тетрадного листа».

Это было так худо и так неумолимо, что разум неспособен был охватить объявленное. И поэтому не было ни отчаяния, ни возмущения, а только злобно-насмешливые выкрики сопутствовали Жвакуну:

— С Новым годом!

— С новым счастьем!

— Ку-ку!

— Пишите доносы на родственников!

— А сыщики сами найти не могут?

— А размер букв почему не указан? Какой размер буквы?

Жвакун, пересчитывая наличие голов, одновременно старался запомнить, кто что кричал, чтобы потом доложить майору.

Впрочем, заключенные всегда недовольны, делай им хоть хорошо, хоть плохо...

Удрученные, расходились на работу ээки.

Даже те из них, кто сидел давно, — и те были ошеломлены жестокостью новой меры. Жестокость здесь была двойная. Одна — что сохранить тонкую живительную ниточку связи с родными отныне можно было только ценой полицейского доноса на них. А ведь многим из них на воле еще удавалось скрыть, что они имеют родственников за решеткой, — и только это обеспечивало им работу и жилье. Вторая жестокость была — что отвергались незарегистрированные жены и дети, отвергались братья, сестры, тем паче двоюродные. Но после войны, ее бомбёжек, эвакуаций, голода — иных родственников у многих ээков и не осталось. А так как к аресту не дают подготовиться, к нему не исповедываешься, не причащаешься, не кончаешь своих расчетов с жизнью — то многие оставили на воле верных подруг, но без черного штампа загса в паспорте. И вот такие подруги теперь становились чужими...

Даже у самых заклятых энтузиастов работы опустились руки. По звонку выходили долго, толпились в коридорах, курили, разговаривали. Садясь же за свои рабочие столы, опять курили и опять разговаривали, и главный занимавший всех вопрос был: неужели в центральной картотеке до сих пор не собраны и не систематизированы сведения обо всех родственниках ээков? Новички и наивные сомневались в этом. Но старые тертые ээки солидно качали головами: они объясняли, что картотека родственников в беспорядке; что за кожаными черными дверьми часто «не ловят мышей», не

выбирают данных из бесчисленных анкет; что тюремные канцелярии не делают своевременных и нужных выборок из книг свиданий и передач; что, таким образом, список родственников, требуемый Климентьевым и Мышиным, есть самый верный смертельный удар, который ты можешь нанести своим родным.

Так разговаривали ээки — и работать никто не хотел.

Но как раз в это утро начиналась последняя неделя года, в которую, по замыслу институтского начальства, надо было совершить героический рывок, чтобы выполнить годовой план 1949 года и план декабря, а также разработать и принять годовой план 1950 года, план января-марта, и отдельно план января, и еще план первой декады января. Всё, что было здесь б у м а г а, — предстояло свершить самому начальству. Всё, что было здесь р а б о т а, — предстояло исполнить заключенным. Поэтому энтузиазм заключенных был сегодня особенно важен.

Командованию институтскому совершенно была неизвестна разрушительная утренняя анонсация тюремного командования, произведенная в соответствии со своим годовым планом.

Никто бы не мог обвинить министерство госбезопасности в евангельском образе жизни! Но одна евангельская черта в нем была: правая рука его не знала, что делала левая.

Майор Ройтман, на освеженном после бритья лице которого не осталось следа ночных сомнений, как раз для информации о планах и собрал производственное совещание всех ээков и всех вольных Акустической лаборатории. У Ройтмана были негритянски-оттопыренные губы на продолговатом умном лице. На худой груди Ройтмана, поверх широковатой гимнастерки, как-то особенно некстати висела ненужная ему португепя. Он хотел храбриться сам и подбодрить подчиненных, но дыхание развала уже проникло под своды комнаты:

середина ее пустынно сиротела без унесенной стойки вокодера; не было Пряничкова, жемчужины Акустической короны; не было Рубина, запершегося со Смолосидовым на третьем этаже; наконец, и сам Ройтман торопился поскорее здесь кончить и идти туда.

А из вольняшек не было Симочки, опять дежурившей с обеда взамен кого-то. Хоть не было ее! хоть это одно облегчало Нержина! — не объясняться с нею знаками и записками.

В кружке совещания Нержин сидел, откинувшись на податливую пружинящую спинку своего стула и поставив ноги на нижний обруч другого стула. Смотрел он по большей части в окно.

За окнами поднялся западный и, видимо, сырой ветер. От него посвинцовело облачное небо, стал рыхлеть и сжиматься нападавший снег. Наступила еще одна бессмысленная гнилая оттепель.

Нержин сидел невыспавшийся, обвислый, с резкими при сером свете морщинами, с уроненными углами губ. Он испытывал знакомое многим арестантам чувство утра понедельника, когда, кажется, нет сил двигаться и жить. Суженные глаза Нержина были неосмысленно устремлены на темный забор, на вышку с попкой, стоящую прямо против его окна.

Что значат свидания раз в год! Вот только вчера было свидание. Казалось: самое срочное, самое необходимое все высказано надолго вперед! И уже сегодня..?

Когда теперь это скажешь ей? Написать? Но как об этом напишешь? Можно ли сообщить твое место работы?.. После вчерашнего и так ясно: нельзя.

Объяснить: так как не могу сообщить о тебе сведений, то переписку надо оборвать? Но адрес на конверте и будет доносом!

Не написать совсем ничего? Но что она станет думать? Еще вчера я улыбался — а сегодня замолчу навеки?

Ощущение тисков не каких-то поэтически-переносных, а громадных слесарных с насеченными губами, с прожерлиной для зажимания человеческой шеи, ощущение сходящихся на туловище тисков спирало дыхание.

Невозможно было найти выход! Плохо было — всё.

Воспитанный близорукий Ройтман мягкими глазами смотрел сквозь очки-анастигматы и голосом не начальническим, а с оттенком усталости и мольбы говорил о планах, о планах, о планах.

Однако сеял он — на камне.

70

БОЧКА ВО ДВОРЕ

И в конструкторском бюро в понедельник с утра тоже было собрано совещание. Вольные и зэки стянулись и сели вместе вокруг нескольких столов.

Хотя окна бюро выходили на юг и были в верхнем этаже, но серое утро давало мало света, и у кульманов там и сям горели лампочки.

Подполковник, начальник бюро, не поднимаясь со стула и не очень напирая, говорил о выполнении планов, о новых планах и о встречных социалистических обязательствах. Он вставил в план, но сам не верил, что к концу будущего года удастся дать технический проект абсолютного шифратора — и теперь обговаривал все это так, чтоб оставить своим конструкторам запасные лазейки.

Сологдин сидел в заднем ряду и ясным взглядом смотрел мимо голов в стену. Кожа лица его была гладка, свежа, нельзя было предположить, чтоб он сейчас

о чем-то думал или был озабочен, а скорее пользовался совещанием как случаем передохнуть.

Но, напротив, — он напряженнейше думал. У него оставалось несколько часов или минут, он не знал, сколько, — а надо было безошибочно решить задачу всей жизни. Целое утро коля дрова, он не запомнил ни одного полена и ни одного своего удара — он думал. И как в оптических устройствах кружатся многогранники зеркал, попеременно разными гранями принимая и отражая лучи, так и в нем всё это время, на валах пересекающихся и непараллельных, кружились и сыпали брызгами мысли.

Утреннее тюремное объявление он принял с усмешкой. Он давно предвидел такую меру. Он подготовился к ней первый: прервал переписку сам. Утреннее объявление только утвердило его в той догадке, что тюремный режим будет крепчать и крепчать, что естественного выхода на волю, называемого «концом срока», оставлено не будет.

Главная же горечь и досада главная остались у него от вчерашнего нелепого спора, от того, что Рубин как бы получал право быть в чем-то судьей жизни Сологодина. Можно было вычеркнуть Лёвку Рубина из скрижали друзей, постараться забыть его — но забыть брошенный вызов нельзя было. Он оставался и язвил.

Совещание кончилось, расходились по местам.

Столик Ларисы пустовал: она отгуливала свое проработанное воскресенье.

И к лучшему. Как это бывает, женщина, вчера лишь завоеванная, сегодня бы уже и мешала.

Сологдин отколол со своего кульмана покрывающий старый грязный лист — и на кульмане открылся главный узел шифратора.

Опершись о спинку стула, Сологдин долго простоял так перед чертежом.

Чем больше он впитывал в себя свое творение —

тем больше успокаивался. Зеркала в нем кружились всё медленней и медленней. И оси их как будто утверждались параллельными.

Одна из чертежниц, как заведено было у них раз в неделю, обходила конструкторов и спрашивала старые ненужные листы на уничтожение. Листы не полагалось рвать и бросать в урны, а составлялся акт об общем числе сожженных листов, и они сжигались во дворе.

Сологдин взял жирный мягкий карандаш, несколько раз небрежно перечеркнул свой узел и напачкал по нему.

Потом отколол, надорвал его с одной стороны, положил на него покрывающий грязный, подсунул снизу еще один ненужный, все вместе скрутил и протянул чертежнице:

— Три листа, пожалуйста.

Потом он сидел, открыв для чернухи справочник и поглядывая, что делается с его листом дальше.

Две чертежницы считали собранное и писали акт.

Сологдин следил, не подойдет ли кто-нибудь из конструкторов просмотреть листы.

Никто не подошел.

Это было явное упущение Шишкина-Мышкина: они слишком доверяли огню! Отчего они не создали наряду с конструкторским бюро еще оперконструкторское, которое сидело и разбирало бы все чертежи, уничтожаемые первым бюро?

Остроту было некому сказать, и Сологдин усмехнулся из-под усов сам себе.

Наконец, все активированные листы скатавши в трубки и у курильщиков взяв коробку спичек, чертежницы ушли.

Сологдин ритмически проводил штрихи по бумажке, отсчитывая: вот спустились по лестнице; одеваются; должны бы появиться во дворе.

Он так стал за своим поднятым кульманом, что мало кому в комнате был виден, а самому ему открывался как раз тот угол двора, где стояла на попа железная закопченная бочка и куда оборотливый Спиридон тоже успел с утра подраскидать дорожку. К тому ж и снег, видно, сырел, уплотнялся, обе женщины в ботиках легко добрались до бочки.

Но зажечь первый лист им долго не удавалось. Зажигали они по одной спичке и потом, кажется, сразу по несколько — но, то ветер гасил их, то спички ломались, то отлетала зажженная сера на них самих, и они с себя стряхивали испуганно. И уже едва ли что оставалось в их коробке, не пришлось бы им идти за новой.

Так время оттягивалось, а Сологодина могли вызвать к Яконову.

Но женщины крикнули что-то, манили руками — и к ним подошел в ушастой шапке с метлою Спиридон.

Он шапку снял, чтоб не опалить, положил ее на снегу рядом, обе руки и рыжую голову засунул в бочку вместе с листом, покопался там, выбрал голову наверх — но рыжесть перешла теперь на лист. Лист занялся, вспыхнул, Спиридон оставил его в бочке и живо стал подкидывать к нему другие и другие листы. Пламя вспыхивало из бочки, листы оседали черными углами.

И тут кто-то у стола начальника назвал фамилию Сологодина.

Его позвали к подполковнику.

Пришли жаловаться из фильтровой лаборатории, что до сих пор не выдали из заказанного чертежа двух кронштейников.

Подполковник не был грубый человек и сказал только, поморщась:

— Слушайте, Дмитрий Александрович, ну неужели такая сложность? Заказано было в четверг.

Сологдин подтянулся:

— Виноват. Я уже кончаю их. Через час будут готовы.

Он еще их не начинал, но нельзя же было признаться, что там всей работы ему на час.

ЛЮБИМАЯ ПРОФЕССИЯ

Оперчекистская часть на объекте Маврино подразделялась на майора Мышина — тюремного кума, и майора Шикина — производственного кума. Вращаясь в разных ведомствах и получая зарплату из разных касс, они не соперничали друг с другом. Но и сотрудничать им мешала какая-то леность: кабинеты их были в разных зданиях и на разных этажах, по телефону об оперчекистских делах не разговаривают, будучи же в равных чинах, каждый почитал обидным идти первому как бы кланяться. Так они и работали один над ночными душами, другой — над дневными, месяцами не встречаясь друг с другом, хотя в поквартальных отчетах и планах каждый писал о необходимости тесной увязки всей оперативной работы на объекте Маврино.

Как-то, читая «Правду», майор Шикин задумался над заголовком статьи «Любимая профессия». (Статья была об агитаторе, который больше всего на свете любил разъяснять что-нибудь другим: рабочим — важность повышения производительности, солдатам — необходимость жертвовать собой, избирателям — правильность политики блока коммунистов и беспартийных.) Шикину понравилось это выражение. Он заключил, что и сам, кажется, не ошибся в жизни: ни

к какой другой профессии его отроду не тянуло; он любил свою, и она его любила.

В свое время Шикин кончил училище ГПУ, позже — курсы усовершенствования следователей, но на работе собственно следовательской состоял мало, поэтому не мог назвать себя следователем. Он работал оперативником в транспортном ГПУ, во время войны был начальником армейского отделения военной цензуры, потом был в комиссии по репатриации, потом в проверочно-фильтрационном лагере, потом специнструктором по высылке греков с Кубани в Казахстан и наконец — оперуполномоченным в исследовательском институте Маврино.

В профессии Шикина было много положительных сторон. Во-первых, со времен гражданской войны она давно уже перестала быть опасной, во всякой операции обеспечивался перевес сил: двое и трое вооруженных против одного безоружного, непредупрежденного, иногда только что проснувшегося врага.

Затем, она высоко оплачивалась, давала права на лучшие закрытые распределители, на лучшие квартиры, конфискованные у осужденных, на пенсии выше, чем у военных, и на первоклассные санатории.

Она не изматывала сил: в ней не было норм выработки. Правда, друзья рассказывали Шикину, что в тридцать седьмом и сорок пятом годах следователи тянули, как лошади, но сам Шикин не попадал в такой круговорот и не очень верил. В добрую пору можно было месяцами дремать за письменным столом. Общий стиль работы был — неторопливость. К естественной неторопливости всякого сытого человека добавлялась еще неторопливость нарочитая, чтобы лучше воздействовать на психику заключенного и добиться от него показаний — медленная зачинка карандашей, подбор перьев, выбор бумаги, терпеливая запись всяких протокольных ненужностей и установочных данных. Эта

проникающая неторопливость работы очень здорово отзвывалась на нервах и вела к долголетию работников.

Не менее дорог был Шикину и сам порядок его работы. Вся она, по сути, состояла из учета в голом виде, пронизывающего учета. Ни один разговор не кончался попросту как разговор, а обязательно завершался написанием доноса, или подписанием протокола, или расписки о недаче ложных показаний, о неразглашении, о невыезде, об осведомлении, о вручении. Требовалось именно то терпеливое внимание, именно та аккуратность, которые отличали характер Шикина, чтобы не создать в этих бумажках хаоса, а распределить их, подшить и всегда найти любую. (Сам Шикин, как офицер, не мог производить физической работы подшitia бумаг, и это делала приглашаемая из общего секретариата особая засекреченная девица, долговязая и подслеповатая.)

А больше всего была приятна оперчекистская работа Шикину тем, что она давала власть над людьми, сознание своего всемогущества, в глазах же людей окружала загадочностью.

Шикину лестно было то почтение, та даже робость, которые он встречал к себе со стороны сослуживцев — тоже чекистов, но не оперчекистов. Все они — и инженер-полковник Яконов, по первому требованию Шикина должны были давать ему отчет в своей деятельности, Шикин же не отчитывался ни перед кем из них. Когда он — темнолицый, с коротко-остриженной сидящей головой, с большим портфелем под мышкой, поднимался по коврам широкой лестницы, и девушки-лейтенантки МГБ застенчиво сторонились его даже на просторе этой лестницы, спеша первыми поздороваться, — Шикин гордо ощущал свою ценность и особенность.

Если бы Шикину сказали — но ему никогда этого никто не говорил, — что он якобы заслужил к себе ненависть, что он — мучитель других людей, — он бы

непритворно возмущился. Никогда мучение людей не составляло для него удовольствия или цели. Правда, вообще такие люди бывают, он видел их в театре, в кино, это садисты, страстные любители пыток, в них нет ничего человеческого, но это всегда или белогвардейцы, или фашисты. Шикин же только выполнял свой долг, и единственная цель его была — чтобы никто ничего вредного не делал и ни о чем вредном не думал.

Однажды на главной лестнице шарашки, по которой ходили и вольные и зэки, найден был сверток, а в нем — сто пятьдесят рублей. Нашедшие два техника-лейтенанта не могли его скрыть или тайно разыскать хозяина именно потому, что их было двое. Поэтому они сдали находку майору Шикину.

Деньги на лестнице, где ходят заключенные, деньги, оброненные под ноги тем, кому иметь их строжайше запрещено — да это равнялось чрезвычайному государственному событию! Но Шикин не стал его раздвигать, а повесил на лестнице объявление:

«Кто потерял деньги 150 руб. на лестнице,
может получить их у майора Шикина
в любое время».

Деньги были немалые. Но таково было всеобщее почтение к Шикину и робость перед ним, что шли дни, шли недели, — никто не являлся за проклятой пропажей, объявление блекло, запылывалось, оторвалось с одного угла, и наконец кто-то дописал синим карандашом печатными буквами:

«ЛОПАЙ САМ, СОБАКА!»

Дежурный отодрал объявление и принес его майору. Долго после этого Шикин ходил по лабораториям и сравнивал оттенки синих карандашей. Грубое ругательство незаслуженно оскорбило Шикина. Он вовсе не собирался присваивать чужих денег. Ему гораздо больше хотелось, чтобы пришел этот человек, и можно бы-

ло бы оформить на него поучительное дело, проработать на всех совещаниях о бдительности — а деньги, пожалуйста, отдать.

Но, конечно, не выбрасывать же их зря! — через два месяца он подарил их той долговязой девице с бельмом, которая подшивала у него раз в неделю бумаги.

Образцового до тех пор семьянина, Шикина как черт попутал и приковал к этой секретарше с её запущенными тридцатью восемью годами, с грубыми толстыми ногами и которой он доходил только до плеча. Что-то неиспытанное он в ней для себя открыл. Он едва дожидался дня её прихода и настолько потерял осторожность, что при ремонте, во временном помещении, не уберется: их слышали и даже в щёлку видели двое заключенных — плотник и штукатур. Это разнеслось, и эски между собой потешались над духовным пастырем, и хотели писать жене Шикина, да не знали адреса. Вместо того донесли начальству.

Но свалить оперуполномоченного им не удалось. Генерал-майор Осколупов выговаривал тогда Шикину не за сношения с секретаршей (это была область моральных принципов секретарши) и не за то, что сношения происходили в рабочее время (ибо день у Шикина был ненормированный), а лишь за то, что узнали заключенные.

В понедельник двадцать шестого декабря (в воскресенье он разрешил себе отдохнуть) майор Шикин пришел на работу немногим позже девяти часов утра, хотя если б он пришел и к обеду — никто б ему не мог сделать замечания.

На третьем этаже против кабинета Яконова было в стене углубление или тамбур, никогда не освещаемый электрической лампочкой, и из тамбура вели две двери — одна в кабинет Шикина, другая в партком. Обе двери были обтянуты черной кожей и не имели надписей. Такое соседство дверей в темном тамбуре было весьма

удобно для Шикина: со стороны нельзя было доследить, куда именно заныривали люди.

Сегодня, подходя к кабинету, Шикин встретился с секретарем парткома Степановым, большим худым человеком в свинцово-поблескивающих очках. Обменялись рукопожатием. Степанов тихо предложил:

— Товарищ Шикин! (он никого не называл по имени-отчеству). Заходи, шаров погоняем!

Речь шла о парткомовском настольном бильярде. Шикин иногда-таки заходил погонять шары, но сегодня много важных дел ждало его, и он с достоинством покачал своей серебрящейся головой.

Степанов вздохнул и пошел гонять шары сам с собой.

Войдя в кабинет, Шикин аккуратно положил портфель на стол. (Все бумаги Шикина были секретные или совсекретные, держались в сейфе и никуда не выносились, — но ходить без портфеля не воздействовало на умы. Поэтому он носил в портфеле домой читать «Огонек», «Крокодил» и «Вокруг света», на которые самому подписываться обошлось бы в копейку.) Затем прошелся по коврику к окну, постоял — и назад к двери. Мысли будто ждали его, притаясь тут, в кабинете, — за сейфом, за шкафом, за диваном — и теперь все разом обступили и требовали к себе внимания.

Дел было!.. Дел было!..

Он растёр ладонями свой короткий седеющий ёжик.

Во-первых, надо было проверить важное начинание, обдуманное им в течение многих месяцев, утвержденное недавно Яконовым, принятое к руководству, разъясненное по лабораториям, но еще не налаженное. Это был — новый порядок ведения секретных журналов. Пытливо анализируя постановку бдительности в институте Маврино, майор Шикин установил, и очень гордился этим, что по сути настоящей секретности всё еще нет! Правда, в каждой комнате стоят несгораемые

шкафы в рост человека, в количестве пятидесяти штук привезенные от растрофеенной фирмы, правда, все документы секретные, полусекретные и лежавшие около секретных запираются в присутствии специальных дежурных в эти шкафы на обеденный перерыв, на ужинный перерыв и на ночь. Но трагическое упущение состоит в том, что запираются только законченные и незаконченные работы. Однако, в стальные шкафы все еще не запираются проблески мысли, первые догадки, неясные предположения — именно то, из чего рождаются работы будущего года, то есть самые перспективные. Ловкому шпиону, разбирающемуся в технике, достаточно проникнуть через колючую проволоку в зону, найти где-нибудь в мусорном ящике клочок промокательной бумаги с таким чертежом или схемой, потом выйти из зоны — и уже американской разведкой перехвачено направление нашей работы. Будучи человеком добросовестным, майор Шикин однажды заставил дворника Егорова в своем присутствии разобрать весь мусорный ящик во дворе. При этом нашлись две промокших, смёрзшихся со снегом и с золой бумажки, на которых явно были когда-то начертаны схемы. Шикин не побрезговал взять эту дрянь за уголки и принести на стол к Яконову. И Яконову некуда было деваться!

Так был принят проект Шикина об учреждении индивидуальных именных секретных журналов. Подходящие журналы были немедленно приобретены на писчебумажных складах МГБ; они содержали по двести больших страниц каждый, были пронумерованы, прошнурованы и просургучены. Журналы предполагалось теперь раздать всем, кроме слесарей, токарей и дворника. Вменялось в обязанность не писать ни на чем, кроме как на страницах своего журнала. Помимо упразднения губительных черновиков здесь было еще второе важное начинание: осуществлялся контроль за мыслью! Так как каждый день в журнале должна

проставляться дата, то теперь майор Шикин мог проверить любого заключенного — много ли он думал в среду и сколько нового придумал в пятницу. Двести пятьдесят таких журналов будут еще двумястами пятьюдесятью Шикиными, неотступно висящими над головой каждого арестанта. Арестанты всегда хитры и ленивы, они всегда стараются не работать, если это возможно. Рабочего проверяют по его продукции. Проверить инженера, проверить ученого — в этом и состояло изобретение майора Шикина (увы, оперчекистам не дают сталинских премий!). Сегодня как раз и требовалось проконтролировать, розданы ли журналы на руки и начато ли их заполнение.

Другая сегодняшняя забота Шикина была — укомплектовать до конца список заключенных на этап, намеченный тюремным управлением на этих днях, и уточнить, когда же именно обещают транспорт.

Еще владело Шикиным грандиозно начатое им, но пока плохо продвигавшееся «Дело о поломке токарного станка», — когда десять заключенных перетаскивали станок из третьей лаборатории в мехмастерские, и станок дал трещину в станине. За неделю следствия уже было исписано до восьмидесяти страниц протоколов, но истина никак не выяснялась: арестанты попались все не новички.

Еще нужно было произвести следствие по поводу того, откуда взялась книга Диккенса, о которой Дорнин донес, что ее читали в полукруглой комнате, в частности Адамсон. Вызвать на допрос Адамсона, повторника, было бы потерей времени. Значит, надо было вызвать вольных из его окружения и сразу пугануть их, что все раскрыто.

Так много было сегодня у Шикина дел! (И ведь он еще не знал, что нового ему расскажут осведомители! Он не знал, что ему предстояло разбираться в глумлении над правосудием в форме спектакля «Суд

над князем Игорем») Шикин в отчаянии растер себе виски и лоб, чтобы все это множество мыслей как-нибудь уложилось, осело.

Колеблясь, с чего начать, Шикин решил выйти в массы, то есть пройтись немного по коридору в надежде встретить какого-нибудь осведомителя, который движением бровей даст понять, что у него донесение срочное, не ждущее явки по графику.

Но едва он вышел к столу дежурного, как услышал разговор того по телефону о какой-то новой группе.

Как? Возможна ли такая стремительность? За воскресенье, пока Шикина не было, на объекте образовалась новая группа?

Дежурный рассказал.

Удар был крепок! — приезжал замминистра, приезжали генералы — а Шикина на объекте не было! Досада овладела майором. Дать замминистру повод подумать, что Шикин не терзается о бдительности! И не предупредить, не отсоветовать вовремя: нельзя же включать в столь ответственную группу этого проклятого Рубина — двурушника, человека насквозь фальшивого: клянется, что верит в победу коммунизма — и отказывается стать осведомителем! Еще эту демонстративную бороду носит, мерзавец! Васко да Гама! Сбрить!

Спеша медленно, делая ножками в мальчиговских ботинках осторожные шажки, крупноголовый Шикин направился к комнате 21.

Была, впрочем, управа и на Рубина: на днях он подал (каждый год два раза подает) прошение в Верховный суд о пересмотре дела. От Шикина зависело — сопроводить прошение похвальной характеристикой или гнусно-отрицательной (как прошлые разы).

Дверь № 21 была сплошная, без стеклянных шибок. Майор толкнул ее, она оказалась запертой. Он по-

стучал. Не было слышно шагов, но дверь вдруг открылась. В ее растворе стоял Смолосидов с недобрым черным чубом. Увидя Шикина, он не пошевелился и не раскрывал двери шире.

— Здравствуйте, — неопределенно сказал Шикин, не привыкший к такому приему. Смолосидов был еще более оперчекист, чем сам Шикин.

Черный Смолосидов с чуть отведенными кривыми руками стоял пригнувшись, как боксер. И молчал.

— Я... Мне... — растерялся Шикин. — Пустите, мне нужно познакомиться с вашей группой.

Смолосидов отступил на полшага и, продолжая загораживать собою комнату, поманил Шикина. Шикин втиснулся в узкий раствор двери и оглянулся вслед пальцу Смолосидова. На второй половинке двери изнутри была привешена бумажка:

«Список лиц, допущенных в комнату 21.

1. Зам. министра МГБ — Севастьянов
2. Нач. отдела — генерал-майор Бульбанюк
3. Нач. отдела — генерал-майор Осколупов
4. Нач. группы — инженер-майор Ройтман
5. Лейтенант Смолосидов
6. Заключенный Рубин.

У т в е р д и л

министр Госбезопасности Абакумов».

Шикин в благоговейном трепете отступил в коридор.

— Мне бы... Рубина вызвать... — шепотом сказал он.

— Нельзя! — так же шепотом отклонил Смолосидов.

И запер дверь.

ОСВОБОЖДЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ

Поначалу в жизни мавринских вольных имел большое принципиальное значение профсоюз. Но однажды об этом узнал один высокопоставленный товарищ (так что даже неудобно было назвать его «товарищем»). И он сказал: «Да вы что?» (и не добавил — «товарищи», полагая, что не следует этим баловать подчиненных). «Ведь Маврино — воинская часть. Какой такой профсоюз? Вы знаете, чем это пахнет?»

И в тот же день профсоюз в Маврино был упразднен.

Но это не сотрясало мавринской жизни.

Теперь чрезвычайно возросло в Маврино значение организации партийной, бывшее немалым и прежде. И в обкоме партии признали необходимым иметь в Маврино освобожденного секретаря. Просмотрев несколько анкет, представленных отделом кадров, бюро обкома постановило рекомендовать на эту должность

Степанова Бориса Сергеевича, 1900 года рождения, уроженца села Лупачи, Бобровского уезда, социальное происхождение — из батраков, после революции — сельский милиционер, профессии не имеет, социальное положение — служащий, образование — 4 класса и двухгодичная партшкола, член партии с 1921 года, на партийной работе с 1923 года, колебаний в проведении линии партии не было, в оппозициях не участвовал, в войсках и учреждениях белых правительств не служил, в революционном и партизанском движении участия не принимал, под оккупацией не был, за границей не был, иностранных языков не знает, языков народностей СССР не знает, имеет контузию в голо-

ву, орден «Красной Звезды» и медаль «За победу в Отечественной войне над Германией».

В те дни, когда обком рекомендовал Степанова, сам он находился в Волоколамском районе агитатором на уборочной. Используя каждую минуту отдыха колхозников, садились ли они обедать или покурить, он тотчас собирал их на полевом стане (а вечерами еще созывал и в правление) и неустанно разъяснял им важность того, чтобы земля каждый год засеивалась и притом доброкачественным зерном; чтобы посеянное зерно было выращено в количестве, желательном большем, чем посеяно; чтобы затем оно было убрано без потерь и хищений и как можно быстрее сдано государству. Не зная отдыха, он тут же переходил к трактористам и объяснял им важность экономии горючего, бережного отношения к материальной части, совершенную недопустимость простоев, а также нехотя отвечал на их вопросы о плохом качестве ремонта и отсутствии спецодежды.

Тем временем общее собрание парторганизации Маврино горячо присоединилось к рекомендации обкома и единодушно избрало Степанова своим освобожденным секретарем, так и не повидав его. В те же дни агитатором в Волоколамский район был послан некий кооперативный работник, снятый в Егорьевском районе из-за материальных недостатков, а в Маврино Степанову обставили кабинет рядом с кабинетом оперуполномоченного — и он приступил к руководству.

Руководство он начал с принятия дел от прежнего, не освобожденного секретаря. Прежним секретарем был лейтенант Клыкачѳв. Клыкачѳв был худ — потому, наверно, что очень подвижен и не знал отдыха. Он успевал и руководить в лаборатории дешифрирования, и контролировать криптографическую и статистическую группы, и вести комсомольский семинар, и быть душой «группы молодых», и сверх всего быть секретарем парткома. И хотя начальство называло его требо-

вательным, а подчиненные — вьедливым, новый секретарь сразу заподозрил, что партийные дела в Мавринском институте окажутся запущенными.

Так и оказалось.

Начался прием дел. Он длился неделю. Не выйдя ни разу из кабинета, Степанов просмотрел все до единой бумаги, каждого партийца узнав сперва по личному делу и по фотографии, и лишь позже — в натуре. Клыкачѳв почувствовал на себе нелегкую руку нового секретаря.

Упущение вскрывалось за упущением. Не говоря уже о неполноте анкетных данных, неполноте подбора справок в личных делах, не говоря уже об отсутствии развернутых характеристик на каждого члена и кандидата, — наблюдалось по отношению ко всем мероприятиям общее порочное направление: проводить их, но не фиксировать документально, отчего сами мероприятия становились как бы призрачными.

— Но кто же поверит? Кто же поверит вам теперь, что мероприятия эти действительно проводились?! — возглашал Степанов, держа руку с дымящейся папиросой над лысой головой.

И он терпеливо разъяснял Клыкачѳву, что все это сделано на бумаге (потому что — только на словесных уверениях), а не на деле (то есть, не на бумаге, не в виде протоколов).

Например, что толку, что физкультурники института (речь шла, разумеется, не о заключенных) каждый обеденный перерыв режутся в волейбол (даже имея манеру прихватывать часть рабочего времени)? Может быть, это и так. Может быть, они действительно играют. Но ни мы с вами, ни любые проверяющие не станут же выходить во двор смотреть, прыгает ли там мяч. А почему бы тем же волейболистам, сыграв столько игр, приобретя столько опыта — почему не поделиться этим опытом в специальной физкультурной стенгазете «Красный мяч» или, скажем, «Честь дина-

мовца»? Если бы затем Клыкачѐв такую стенгазетку аккуратненько снял бы со стеночки и приобщил к партийной документации — ни у какой инспекции никогда не закралось бы сомнение в том, что мероприятие «игра в волейбол» реально проводилось и руководила им партия. А в настоящее время кто же поверит Клыкачѐву на слово?

И так во всем, так во всем. «Слова к делу не подошьешь!» — с этой глубокомысленной поговоркой Степанов вступил в должность.

Как ксѐндз бы не поверил, что можно солгать в исповедальне, — так Степанову не приходило в голову, что можно солгать и в письменной документации.

Однако Клыкачѐв со своей узкой головой на длинной шее не стал спорить со Степановым, но непрерывно с открытой благодарностью в глазах соглашался с ним и учился у него. И Степанов быстро помягчил Клыкачѐву, проявляя тем самым, что он человек не злой. Он со вниманием выслушал опасения Клыкачѐва о том, что во главе такого важного секретного института стоит инженер-полковник Яконов, человек не только с шаткими анкетными данными, но попросту бывший враг. Степанов и сам предельно насторожился. Клыкачѐва же он сделал своей правой рукой, велел заходить в партком почаще и благодушно поучал его из сокровищницы своего опыта.

Так Клыкачѐв скорее и ближе всех узнал нового парторга. С его язвительного языка «молодые» стали звать парторга «Пастух». Но именно благодаря Клыкачѐву отношения с Пастухом у «молодых» сложились не плохие. Они быстро поняли, что им гораздо удобнее иметь парторгом не открыто своего человека, а постороннего беспристрастного законника.

А Степанов был законник! Если ему говорили, что кого-то жаль, что к кому-то не надо проявлять всей строгости закона, но проявлять снисхождение, — борода боли прорезала лоб Степанова, увыщенный от-

сутствием волос на темени, плечи же Степанова сутулились, как бы под еще новой тяжестью. Но, сжигаемый пламенным убеждением, он находил в себе силы распрямиться и резко повернуться к одному и к другому собеседнику, отчего беленькие квадратики — отражения окон, метались на свинцовых стеклах его очков:

— Товарищи! Товарищи! Что я слышу? Да как у вас поворачивается язык? Запомните: поддерживай закон всегда! поддерживай закон, как бы тебе ни было тяжело!! Поддерживай закон из последних сил!! — и только так, и только этим ты в действительности поможешь тому, ради кого собирался закон нарушить! Потому что закон именно так составлен, чтобы служить обществу и человеку, а мы этого часто не понимаем и по слепости хотим закон обойти!

Со своей стороны и Степанов был доволен «молодыми» с их тяготением к партийным собраниям и к партийной критике. В них он видел ядро того здорового коллектива, который он старался создавать на каждом новом месте своей работы. Если коллектив не открывал руководству нарушителей закона из своей среды, если коллектив отмалчивался на собраниях — такой коллектив Степанов с полным основанием считал нездоровым. Если же коллектив всем скопом набрасывался на одного своего члена и именно на того, на кого нужно, — такой коллектив по понятиям людей и выше Степанова был здоровым.

У Степанова много было таких установившихся понятий, с которых сойти ему было невозможно. Например, он не представлял себе собрания без принятия в его конце громовой резолюции, бичующей отдельных членов коллектива и мобилизующей весь коллектив на новые производственные победы. Особенно он любил за это «открытые» партсобрания, куда являлись и все беспартийные, и где можно было вдребезги разносить и их, они же не имели права голосовать и защищаться. Если же перед голосованием раздавались обиженные

или даже возмущенные голоса: «Что это? Собрание? или суд?»

— Позвольте, товарищи, позвольте! — властно прерывал Степанов любого выступавшего или даже председателя собрания. Дрожащей рукой наскоро высыпав в рот порошок (после контузии у него жестоко разбалчивалась голова от всякого волнения, а волновался он всегда, если нападали на истину), он выходил на середину комнаты под самый свет верхних ламп, так что видны были крупные капли пота на его высоком лысом темени, — вы что же, получается, против критики и самокритики? — И решительно размахивая кулаком, как бы заколачивая свои мысли в головы слушателям, разъяснял: — Самокритика есть высший движущий закон нашего общества, главный двигатель его прогресса! Пора понять, что когда мы критикуем наших членов коллектива, то не для того, чтобы отдать их под суд, но чтобы держать каждого работника каждую минуту в постоянном творческом напряжении! И тут не может быть двух мнений, товарищи! Конечно, не всякая критика нам нужна, это верно! Нам нужна деловая критика, то есть критика, не затрагивающая испытанных руководящих кадров! Не будем смешивать свободу критики со свободой мелкобуржуазного анархизма!

И отойдя к графину с водой, он глотал еще один порошок.

И всегда случалось, что весь здоровый коллектив, включая и тех членов, кого бичевала и уничтожала резолюция («преступно-халатное отношение к работе», «граничащее с саботажем невыполнение сроков») — единогласно голосовал за резолюцию.

Иногда даже сходилась так, что Степанов, любящий резолюции разработанные, развернутые, Степанов, счастливым образом всегда заранее знающий смысл ожидаемых выступлений и окончательное мнение собрания, не успевал, однако, впопыхах, целиком

составить резолюцию до собрания. Тогда после объявления председательствующего:

— Слово для оглашения проекта резолюции имеет товарищ Степанов! — освобожденный секретарь вытирая пот со лба и с лысины говорил так:

— Товарищи! Я был очень занят, и поэтому в проекте резолюции не успел уточнить некоторых обстоятельств, фамилий и фактов, или:

— Товарищи! Меня вызывали в Управление, и сегодня проекта резолюции я еще не написал, и в обоих случаях:

— Прошу поэтому, голосовать резолюцию в целом, а завтра на досуге я ее подработаю.

И мавринский коллектив оказывался настолько здоровым, что без ропота поднимал руки, так и не зная (и не узная), кого именно будут в этой резолюции поносить, кого превозносить.

Очень укрепляло положение нового парторга еще и то, что он не ведал слабостей интимных отношений. Все уважительно звали его «Борис Сергеич». Принимая это как должное, он, однако, никого на всем объекте по имени-отчеству не звал, и даже в азарте настольного бильярда, сукно которого неизменно зеленело в комнате парткома, восклицал:

— Выставляй шарá, товарищ Шикин!

— От борта, товарищ Клыкачëв!

Вообще Степанов не любил, чтобы люди взывали к его высшим и лучшим побуждениям. Одновременно и сам он к подобным побуждениям в людях не взывал. Поэтому, едва почувствовав в коллективе какое-то неудовольствие или сопротивление своим мероприятиям, он не разглагольствовал, не убеждал, но брал большой чистый лист бумаги, крупно писал вверху: «Предлагается нижепоименованным товарищам к такому-то сроку выполнить то-то и то-то», затем графил по форме: № по порядку, фамилия, расписка в извещении — и давал секретарше обойти с листом. Указан-

ные товарищи читали, как угодно расплескивали свое ожесточение над белым равнодушным листом, но не могли не расписаться — а расписавшись, не могли не выполнить.

Был Степанов секретарем освобожденным также и от сомнений и блужданий во тьме. Довольно было объявить по радио, что нет больше героической Югославии, а есть клика Тито, как уже через пять минут Степанов разъяснял это решение с таким настоянием, с такой убежденностью, будто годами вынашивал его в себе сам. Если же кто-нибудь робко обращал внимание Степанова на противоречие инструкций сегодняшних и вчерашних, на плохое снабжение института, на низкое качество отечественной аппаратуры или трудности с жильем, — освобожденный секретарь даже улыбался, и очки его светлели, ибо знали то словечко, которое он скажет сейчас:

— Ну, что ж поделывать, товарищи. Это — ведомственная неразбериха. Но прогресс и в этом вопросе несомненен, вы не станете спорить!

Все же некоторые человеческие слабости были присущи и Степанову, но в очень ограниченных размерах. Так, ему нравилось, когда высшее начальство хвалило его и когда рядовые партийцы восхищались его опытом. Нравилось потому, что это было справедливо.

Еще пил он водку — но только если его угощали или выставляли на столы, и всякий раз жаловался при этом, что водка смертельно вредна его здоровью. По этой причине сам он ее никогда не покупал и никого ею не угощал. Вот, пожалуй, и были все его недостатки.

«Молодые» между собой иногда спорили, что такое Пастух. Ройтман говорил:

— Друзья мои! Он — пророк глубокой чернильницы. Он — душа отпечатанной бумажки. Такие люди неизбежны в переходный период.

Но Клыкачëв улыбался криво:

— Желторотые! Попадись мы ему между зубами — он нас с дерьмом сшамает. Не думайте, что он глуп. Он за пятьдесят лет тоже жить научился! По-вашему, это зря — каждое собрание разносную резолюцию? Он историю Маврино этим пишет! Он предсумо-три-тельно материальчики накапливает: при любом обороте любая инспекция пусть убедится, что освобожденный секретарь сигнализировал, внимание общестственности приковывал.

В пристрастном освещении Клыкачёва Степанов представлял человеком кляузным, скрытным, всеми правдами и неправдами выращивающим трех сыновей.

Три сына у Степанова действительно были и непрерывно требовали с отца денег. Всех трех он определил на исторический факультет. Расчет у него был как будто и верен, но не учел он, что наступило полное насыщение историками всех школ, техникумов и кратковременных курсов сперва Москвы, потом Московской области, а потом и до Урала. Первый сын закончил и не остался кормить родителей, а поехал в Ханты-Мансийск. Второму предлагали при распределении Улан-Удэ, когда же подрастет третий — вряд ли он сумеет найти что-нибудь ближе острова Борнео.

Тем более цепко отец держался за свою работу и за маленький домик на окраине Москвы с двенадцатью сотками огорода, бочками квашеной капусты и откормом двух-трех свиней. Жена Степанова, женщина трезвая и, может быть, даже несколько отсталая, видела в выращивании свиней основной интерес жизни и опору семейного бюджета. У нее неуклонно было намечено на минувшее воскресенье ехать с мужем в район и там покупать поросенка. Из-за этой (удавшейся) операции Степанов и не приходил вчера, в воскресенье, на работу, хотя у него сердце было не на месте после субботнего разговора и рвалось в Маврино.

В субботу в Политуправлении Степанова постиг удар. Один работник, очень ответственный, но, несмот-

ря на свои ответственные тревоги, и очень упитанный, так примерно пудиков на шесть-семь, посмотрел на худой, заезженный очками нос Степанова и спросил ленивым баритоном:

— Да, Степанов, — а как у тебя с иудеями?

— С иу... кем? — наострился дослышать Степанов.

— С иудеями. — И, видя полное непонимание собеседника, пояснил: — Ну, с жидами, значит.

Захваченный врасплох и боясь повторить это обоюдоострое слово, за которое так недавно давали десять лет, как за антисоветскую агитацию, Степанов неопределенно пробормотал:

— Е-есть...

— Ну, и что ты там с ними думаешь?..

Но зазвонил телефон, ответственный товарищ взял трубку и больше не разговаривал со Степановым.

В смятении Степанов перечел в Управлении всю пачку директив, инструкций и указаний — но черные буквы на белой бумаге лукаво обходили иудейский вопрос.

Весь воскресный день, в езде за поросенком, он думал, думал и в отчаянии скрёб грудь. Видно от старости притупела его догадливость! Да как тут и догадаешься, если за годы работы Степанов привык, что еврейские товарищи были всегда особенно привержены идее. А теперь — позор! — испытанный работник Степанов прохлопывал какую-то важную новую кампанию и даже косвенно сам оказался замешан в интригах врагов, потому что вся эта группа Ройтмана-Клыкачёва...

Растерянный, приехал Степанов в понедельник утром на работу. После отказа Шикина погонять бильярд (Степанов имел умысел выведать что-нибудь от Шикина), задыхающийся от отсутствия инструкций освобожденный секретарь заперся в парткоме и два часа кряду лихо гонял металлические шары сам с собой,

иногда перебивая и через борт. Громадный настенный бронзированный барельеф был свидетелем нескольких блестящих ударов, когда в лузу клалось по два и по три шара зараз. Но силуэты на барельефе не подсказывали Степанову решения, как ему не погубить здоровый коллектив и даже укрепить его в новой обстановке.

Изнуренный, он, наконец, услышал телефонный звонок и припал к трубке.

Ему звонили, что в Маврино уже выехала машина с двумя товарищами, которые дадут соответствующие установки по вопросу борьбы с низкопоклонством.

Освобожденный секретарь воспрял, повеселел, загнал дулет в лузу и убрал бильярд за шкаф.

Еще то повышало его настроение, что купленный вчера розовоухий поросенок очень охотно, не привередничая, кушал запарку и вечером и утром. Это давало надежду дешево и хорошо его откормить.

ДВА ИНЖЕНЕРА

В кабинете инженер-полковника Яконова был майор Шикин.

Они сидели и беседовали как равный с равным, вполне приязненно, хотя каждый из них презирал и терпеть не мог другого.

Яконов любил говаривать на собраниях: «Мы, чекисты». Но Шикину он всегда представлялся тем прежним — врагом народа, ездившим за границу, отбывавшим срок, прощенным, даже принятым в лоно госбезопасности, но и не невиновным! Неизбежно, неизбежно должен был наступить тот день, когда органы разоблачат Яконова и снова арестуют. С наслаждением

Шикин сам бы тогда сорвал с него погоны! Старательного большеголового коротышку-майора задевала роскошная снисходительность инженер-полковника, та барская самоуверенность, с которой он нес бремя власти. Шикин всегда поэтому старался подчеркнуть значение свое и недооцениваемой инженер-полковником оперативной работы.

Сейчас он предлагал на следующем развернутом совещании о бдительности поставить доклад Яконова о состоянии бдительности в институте, с жестокой критикой всех недостатков. Такое совещание хорошо было бы связать с этапированием недобросовестных зэков и со введением новой формы секретных журналов.

Инженер-полковник Яконов, после вчерашнего приступа замученный, с синими подглазными мешками, но все же сохраняя приятную округлость черт лица и кивая словам майора, — там, в глубине, за стенами и рвами, куда не проникал ничей взгляд, может быть только взгляд жены, думал, какая гадкая сероволосая, поседевшая над анализом доносов вошь этот майор Шикин, как идиотски ничтожны его занятия, какой кретинизм все его предложения.

Яконову дали единственный месяц. Через месяц могла лечь на плаху его голова. Надо было вырваться из брони командования, из оскоружлости высокого положения — самому сесть за схемы, подумать в тишине.

Но полуторное кожаное кресло, в котором сидел инженер-полковник, в самом себе уже несло свое отрицание: за все ответственный полковник ни к чему не мог прикоснуться сам, а только поднимать телефонную трубку да подписывать бумаги.

Еще эта мелкая бабья война с группой Ройтмана забирала душевные силы. Войну эту он вел по нужде. Он не был в состоянии вытеснить их из института, а только хотел принудить к безусловному подчинению. Они же хотели — изгнать его, и способны были — погубить его.

Шикин говорил. Яконов смотрел чуть мимо Шикина. Физически он не закрывал глаза, но духовно закрыл их — и, покинув свое рыхлое тело в кителе, перенесся к себе домой.

Дом мой! Мой дом — моя крепость! Как мудры англичане, первые понявшие эту истину. На твоей маленькой территории существуют только твои законы. Четыре стены и крыша прочно отделяют тебя от мира, все время тебя гнетущего, трясущего, что-то вымогающего из тебя. Внимательные, с тихим сиянием глаза жены встречают тебя на пороге твоего дома. Неистоцимно-разнообразные смешные ребятишки (хорошо, если еще не ходят в школу!) потешают и освежают тебя, уставшего от травли, от дерганий. Жена уже научила обоих тараторить по-английски. Подсев к пианино, она сыграет приятный вальсик Вальдтейфеля. Коротки часы обеда и потом самого позднего вечера, уже на пороге ночи — но нет в твоём доме ни сановных надутых дураков, ни прицепчивых злых юношей.

То, что составляло работу Яконова, включало в себя столько мук, унижительных положений, насилий над волей, административной толкотни, да и настолько уже немолодым чувствовал себя Яконов, что он охотно пожертвовал бы этой работой, если б мог, — а оставался бы только в своем маленьком уютном мирке, в своем доме.

Нет, это не значит, что внешний мир его не интересовал, — интересовал и очень живо. Даже трудно было найти в мировой истории время, завлекательнее нашего. Мировая политика была для него род шахмат — усотерённых Шахмат. Только Яконов не претендовал играть в них или, того хуже, быть в них пешкой, головкой пешки, подстилкой под пешку. Яконов претендовал наблюдать ее со стороны, смаковать ее — в покойной пижаме, в старинной качалке, среди многих книжных полок.

Все условия для таких занятий у Яконова были. Он

владел двумя языками, и иностранное радио наперерыв предлагало ему информацию. Получив иностранные технические и военные журналы, министерство безо всякой задержки рассылало их по своим закрытым институтам. Журналы же эти любили тиснуть статейку о политике, о будущей глобальной войне, о будущем политическом устройстве планеты. А вращаясь в высоких кругах, Яконов нет-нет да и слышал подробности, недоступные печати. Не брезговал он и переводными книгами о дипломатии, разведке. И еще у него была собственная голова с отточенными мыслями. Его игра в Шахматы в том и состояла, что он из качалки следил за партией Восток-Запад и по делаемым ходам пытался угадать будущее.

За кого же был он? Когда на службе везло — конечно, за Восток. Когда по службе очень теснили — пожалуй, больше за Запад. А высшее его понимание было такое: побеждает тот, кто сильнее и жесточе. В этом, к сожалению, вся история и все пророки.

Рано в молодости подхватил он и усвоил ходячую фразу: «все люди — сволочи». И сколько жил он потом — истина эта лишь подтверждалась и подтверждалась. И чем прочней он в ней укоренялся, тем больше он находил ей доказательств, и тем легче ему становилось жить. Ибо, если все люди — сволочи, то никогда не надо делать «для людей», а только для себя. И никакого нет «общественного алтаря», и никто не смеет спрашивать с нас жертв. И все это очень просто выражено самим народом: «своя рубаха ближе к телу».

Поэтому бюстители анкет и душ напрасно опасались его прошлого. Размышляя над жизнью, Яконов понял: в тюрьму попадают лишь те люди, у которых в какой-то момент жизни не хватило ума. Настоящие умники предусмотрят, извернутся, но всегда уцелеют на воле. Зачем же существование наше, данное нам лишь покуда мы дышим, — проводить за решеткой? Нет! Яконов не для видимости только, но и внутренне отрек-

ся от мира зэков. Четырех просторных комнат с балконом и семи тысяч в месяц он не получил бы из других рук или получил бы не сразу. Ему причинили зло, с ним поступали взбалмошно, часто бездарно, всегда жестоко — но в жестокости и была ведь сила, ее вернейшее проявление!

Шикин тем временем протягивал ему список зэков, обреченных на завтрашний этап. Согласованных ранее кандидатур было шестнадцать, и теперь Шикин с одобрением дописал туда еще двоих из настольного блокнота Яконова. Договоренность же с тюремным управлением была на двадцать. Недостающих двух надо было срочно «подрботать» и не позже пяти часов вечера сообщить подполковнику Климентьеву.

Однако кандидатуры сразу на ум не шли. Как-то так всегда получалось, что лучшие специалисты и работники были ненадежны по оперативной линии, а любимчики оперуполномоченного — шалопаи и бездельники. Из-за этого трудно было согласовывать списки на этапы.

Яконов развел пальцами.

— Оставьте список мне. Я еще подумаю. И вы подумайте. Созвонимся.

Шикин неторопливо поднялся и (надо было сдержаться, да не сдержался) человеку недостойному пожаловался на действия министра: в двадцать первую комнату пускали заключенного Рубина, пускали Ройтмана, — а его, Шикина, да и полковника Яконова на их собственном объекте не пускают, каково?

Яконов поднял брови и совершенно опустил веки, так что лицо его сделалось на мгновение слепым. Он как бы говорил немо:

«Да, майор, да, друг мой, мне больно, мне очень больно, но поднимать глаза на солнце я не могу».

А на самом деле отношение к двадцать первой комнате у Яконова было такое, что дело хлипкое, Ройтман — мальчик горячий, может, и шею свернет.

Шикин ушел, Яконов же вспомнил самое приятное из дел, которое его сегодня ждало — вчера он не успел. А между тем, если резко двинуть вперед абсолютный шифратор — это спасет его перед Абакумовым через месяц.

И, позвонив в конструкторское бюро, он велел прийти Сологдину с его новым проектом.

Через две минуты, постучав, вошел с пустыми руками Сологдин — стройный, с курчавой бородкой, в засаленном комбинезоне.

Яконов и Сологдин почти не разговаривали раньше: вызывать Сологдина в этот кабинет надобности не было, в конструкторском же бюро и при встречах в коридоре инженер-полковник не замечал личности, столь незначительной. Но сейчас (скосясь на список именотчеств под стеклом) со всем радушием хлебосольного барина Яконов одобрительно посмотрел на вошедшего и широко пригласил:

— Садитесь, Дмитрий Александрович, очень рад вас видеть.

Держа руки прикованными к телу, Сологдин подошел ближе, молча поклонился и остался стоять неподвижно-прямой.

— Так вы, значит, тайком приготовили нам сюрприз? — рокотал Яконов. — На днях, да чуть ли не в субботу, я у Владимира Эрастовича видел ваш чертеж главного узла абсолютного шифратора. (Что же вы не садитесь?..). Просмотрел его бегло, горю желанием поговорить подробнее.

Не опуская глаз перед полным симпатии взглядом Яконова, стоя вполоборота, недвижно, как на дуэли, когда ждут выстрела в себя, Сологдин ответил раздельно:

— Вы ошибаетесь, Антон Николаевич. Я действительно, сколько умел, работал над шифратором. Но то, что мне удалось и что вы видели, есть создание урод-

ливо несовершенное, в меру моих весьма посредственных способностей.

Яконов откинулся в кресле и доброжелательно запротестовал:

— Ну-у, нет, батенька, уж, пожалуйста, без ложной скромности! Я хоть смотрел вашу разработку мельком, но составил о ней весьма уважительное представление. А Владимир Эрастович, который обоим нам с вами высший судья, высказался с определенной похвалой. Сейчас я велю никого не принимать, несите ваш лист, ваши соображения — будем думать. Хотите, позовем Владимира Эрастовича?

Яконов не был тупым начальником, которого интересуют только результат и выход продукции. Он был — инженер, когда-то даже азартный, и сейчас предощущал то тонкое удовольствие, которое нам может доставить долговыношенная человеческая мысль. То единственное удовольствие, которое еще оставляла ему работа. Он смотрел просительно, лакомо улыбался.

Инженером был и Сологдин, уже лет четырнадцать. А арестантом — двенадцать.

Сухостью обметало его горло, и очень трудно было выговаривать слова:

— И тем не менее, Антон Николаевич, вы совершенно ошиблись. Это был набросок, недостойный вашего внимания.

Яконов нахмурился и, уже немного сердясь, сказал:

— Ну, хорошо, посмотрим, посмотрим, несите лист.

А на погонах его, золотых с голубой окаемкой, было три звезды. Три больших крупных звезды, расположенных треугольником. У старшего лейтенанта Камышана, оперуполномоченного Горной Закрытки, в месяцы, когда он избивал Сологдина, тоже появились вместо кубиков такие — золотые, с голубой окаемкой и треугольником, три звезды, только мельче.

— Наброска этого больше нет, — дрогнул голос

Сологдина. — Найдя в нем глубокие, непоправимые ошибки, я его... сжег.

Полковник побледнел. В зловещей тишине послышалось его затрудненное дыхание. Сологдин старался дышать беззвучно.

— То есть... Как?.. Своими руками?

— Нет, зачем же. Отдал на сожжение. Законным порядком. — Он говорил глухо, неясно. Ни следа не было его обычной звонкой уверенности.

— Так, может, он еще цел? — с живой надеждой подвинулся Яконов.

— Сожжен. Я наблюдал в окно, — ответил, как отвесил, Сологдин.

Одной рукой вцепившись в поручень кресла, другой ухватясь за мраморное пресс-папье, словно собираясь разmozжить им голову Сологдина, полковник трудно поднял свое большое тело и переклонился над столом вперед.

Чуть-чуть запрокинув голову назад, Сологдин стоял синей статуей.

Между двумя инженерами не нужно было больше ни вопросов, ни разъяснений. Меж их сцепленными взглядами металась разряды безумной частоты и невмещаемого напряжения.

«Я уничтожу тебя!» — налились глаза полковника.

«Хомутай третий срок, сволочь!» — кричали глаза арестанта.

Должно было что-то с грохотом разорваться.

Но Яконов, взявшись рукою за лоб и глаза, будто их резало светом, отвернулся и отошел к окну.

Крепко держась за спинку ближнего стула, Сологдин измученно опустил глаза.

«Месяц. Один месяц! Неужели я погиб?» — до мелкой черточки прояснилось полковнику.

«Третий срок. Я бы его не пережил» — обмирал Сологдин.

И снова Яконов обернулся на Сологдина.

«Инженер-инженер! Как ты мог?!» — пытал его взгляд.

Но и глаза Сологодина слепили блеском:

«Арестант-арестант! Ты все забыл!»

Взглядом ненавидящим и зачарованным, взглядом, видящим себя самого, каким не стал, они смотрели друг на друга и не могли расцепиться.

Теперь Яконов мог начать кричать, стучать, звонить, сажать — у Сологодина было заготовлено и на это.

Но Яконов вынул чистый мягкий белый платок и вытер им глаза. И ясно посмотрел на Сологодина.

Сологдин старался выстоять ровно еще эти минуты.

Одной рукою инженер-полковник оперся о подоконник, а другой тихо поманил к себе заключенного.

В три твердых шага Сологдин подошел к нему близко.

Немного горбясь по-старчески, Яконов спросил:

— Сологдин. Вы — москвич?

— Да. — Сологдин не опускал взгляда.

— Вон, посмотрите, — сказал ему Яконов. — Вы видите на шоссе автобусную остановку?

Её хорошо было видно из этого окна.

Сологдин смотрел туда.

— Отсюда полчаса езды до центра Москвы, — тихо рассказывал Яконов.

Сологдин обернулся на него опять.

И вдруг Яконов две руки, как падая, положил на плечи Сологодина.

— Сологдин! — нараспев и с мучением сказал он. — На этот автобус вы могли бы сами садиться в июне-в июле этого года. А вы не захотели. Я допускаю, что в августе вы получили бы уже первый отпуск — и поехали бы к Черному морю. Купаться, купаться! Сколько лет вы не входили в воду, Сологдин? Ведь заключенных не пускают никогда!

— Почему? На лесоповале, — возразил Сологдин.

— Хорошенькое купанье! — Яконов все еще держал руки на плечах Сологодина или держался за него. — Но вы попадете на такой север, Сологдин, где реки никогда не вскрываются... Слушайте, я не могу поверить, чтобы жил на свете человек, не желающий блага самому себе. Объясните мне: зачем вы сожгли чертеж??

Была все так же невзмучаема, неподкупна, непорочна голубизна глаз Дмитрия Сологодина. А в черном зрачке его Яконов видел свою дородную голову.

Голубой кружочек, черная дырочка посередине — а за ними целый неожиданный мир одного единственного человека.

— А как вы думаете? — вопросом ответил Сологдин. Его сочные губы между усами и бородкой чуть-чуть изогнулись как будто даже в насмешке.

— Не понимаю, — Яконов снял руки и пошел прочь. — Самоубийца — не понимаю.

И услышал из-за спины звонкое, уверенное:

— Гражданин полковник! Я слишком ничтожен, никому неизвестен. Я не хотел отдать свою свободу ни за так.

Уже у своего места Яконов резко повернулся.

—...Если бы я не сжег чертежа, а положил его перед вами готовым — наш подполковник, вы, Фома Гурьянович, кто угодно, могли бы завтра же меня толкнуть на этап, а под чертежом поставить любое имя. Такие примеры были. А с пересылок, я вам скажу, очень неудобно жаловаться: карандаши отнимают, бумаги не дают, заявления доходят не туда... Арестант, отосланный на этап, не может оказаться прав ни в чем.

Яконов дослушивал Сологодина почти с восхищением. (Этот человек сразу понравился ему, как он вошел.)

— Так вы... беретесь восстановить чертеж?! — Это не инженер-полковник спросил, а отчаявшийся, измученный безвластный человек.

— То, что было на моем листе, — в три дня! — сверкнул глазами Сологдин. — А за пять недель я сделаю вам полный эскизный проект с расчетами в объеме технического. Вас устроит?

— Месяц! Месяц!! Нам месяц и нужен!! — не ногами по полу, а руками по столу двигался Яконов навстречу этому чертову инженеру.

— Хорошо, получите в месяц, — холодно подтвердил Сологдин.

Но тут Яконова отбросило в подозрение.

— Погодите! — остановил он. — Вы только что сказали, что это был недостойный набросок, что вы нашли в нем глубокие непоправимые ошибки...

— О-о! — открыто засмеялся Сологдин. — Со мной иногда играет шутки нехватка фосфора, кислорода и жизненных впечатлений, находит какая-то полоса мрака. А сейчас я присоединяюсь к профессору Челнову: там все верно!

Яконов тоже улыбнулся, от облегчения почему-то зевнул и сел в кресло. Он любовался, как Сологдин владеет собой, как он провел этот разговор.

— Рискованно же вы сыграли, сударь. Ведь это могло кончиться иначе.

Сологдин слегка развел пальцами.

— Вряд ли, Антон Николаевич. Я, кажется, ясно оценил положение института и... ваше. Вы, конечно, владеете французским? *Sa Majesté le Cas!* Его величество Случай! Он очень редко мелькает нам в жизни — и надо прыгнуть на него вовремя, и точно на середину спины!

Сологдин так просто говорил и держался, будто это было с Нержиным на дровах.

Теперь он тоже сел, продолжая смотреть на Яконова весело.

— Так что будем делать? — дружелюбно спросил инженер-полковник.

Сологдин отвечал как по печатному, как о решенном давно:

— Фому Гурьяновича я бы хотел на первом же шаге миновать. Это как раз та личность, которая любит быть соавтором. С вашей стороны я не предполагаю такого приемчика. Я ведь не ошибаюсь?

Яконов радостно покачал головой. О, как он был облегчен и без этого!

— К тому ж напомним, что и лист пока сожжен. Теперь, если вы дорожите моим проектом — найдите способ доложить обо мне прямо министру. В крайнем случае — замминистру. И пусть приказ о моем назначении ведущим конструктором подпишет именно он. Это будет для меня гарантия — и я принимаюсь за работу. Подпись министра нужна мне тем более, что я в своей группе собираюсь установить порядок не совсем обычный. Я не одобряю эти ночные работы, воскресные штурмы и превращение научных сотрудников в умственных доходяг. Люди должны рваться на работу, как... на любовное свидание. — Сологдин говорил все веселей, все развязней, будто с Яконовым они были знакомы с детства. — А для этого — пусть отоспятся, пусть погуляют. Кто захочет — пусть дрова попилит для кухни. Надо же и о кухне подумать, согласитесь?..

Вдруг распахнулась дверь кабинета. Без стука вошел лысый худой Степанов с мертво-поблескивающими стеклами очков.

— Так, Антон Николаевич, — сказал он строго. — Есть важный разговор.

Степанов обращался к человеку по имени-отчеству! Это было невероятно.

— Значит, я жду приказа? — встал Сологдин.

Инженер-полковник кивнул. Сологдин вышел легко и твердо.

Яконов даже не сразу вник, о чем это так оживленно говорил парторг.

— Товарищ Яконов! Только что у меня были то-

варищи из Политуправления и очень-таки намылили голову. Я допустил большие и серьезные ошибки. Я допустил, что в нашей парторганизации гнездилась группа, будем говорить — безродных космополитов. А я проявил политическую близорукость, я не поддержал вас, когда они пытались вас затравить. Но мы должны быть бесстрашными в признании своих ошибок! Вот мы сейчас с вами вдвоем подработаем резолюцию, потом соберем открытое партсобрание — и крепко ударим по низкопоклонству.

Дела Яконова, столь безнадежные еще вчера, круто поправлялись.

СТО СОРОК СЕМЬ РУБЛЕЙ

Перед обеденным перерывом в коридоре спецтюрьмы дежурный Жвакун вывесил список лиц, вызываемых в перерыв к майору Мышину. Официально считалось, что по такому списку зэки вызывались за получением писем и извещений о переводах на лицевой счет.

Процедура выдачи зэку письма была в спецтюрьмах обставлена таинственно. Её нельзя было так пошло, как на воле, поручить бродяге — почтальону. За глухой дверью, с глазу на глаз, к ум, сам прочетший это письмо и убедившийся, что в нем нет греховных смутных мыслей, — передавал его арестанту, сопровождая поучениями. Письмо выдавалось откровенно распечатанным, в нем была убита последняя интимность мысли, летящей от родного к родному. Письмо, прошедшее многие руки, расхвачанное на цитаты в досье, получившее внутри себя черную размазанную

печать цензуры, — теряло ничтожный личный смысл и приобретало важное значение государственного документа. (На иных шарашках это понимали настолько хорошо, что вообще не отдавали письма арестанту, а разрешали ему лишь прочесть его, редко дважды, в кабинете у кума и отбирали в конце письма расписку о прочтении; если же, читая письмо жены или матери, зэк пытался сделать выписки для памяти, — это вызывало подозрение, как если б он покушался скопировать документы Генерального Штаба. На посылаемых из дому photographиях тамошний зэк тоже расписывался, что их смотрел, — и их подшивали в его тюремное дело).

Итак, список был вывешен — и становились в очередь за письмами. Еще становились в очередь те, кто хотел не получить, а отправить свое письмо за декабрь — его тоже полагалось сдать лично в руки куму. Под видом всех этих операций майор Мышин имел возможность беспрепятственно беседовать со стукачами и вызывать их вне графика. Но дабы не было явно, с кем он беседует дольше, тюремный кум иногда задерживал в кабинете и честных зэков, сбивая остальных с толку.

Так в очереди подозревали друг друга, а иногда и знали точно, кто закладывает их жизни, но заискивающе улыбались им, чтобы не рассердить.

По обеденному звонку, взбежав из подвала во двор, зэки пересекали его, не одетые и без шапок, при сыром нехолодном ветре и шмыгали в дверь тюремного штаба. Из-за того, что утром был объявлен новый порядок переписки, очередь собралась особенно большая — человек сорок, и в коридоре не помещалась. Помощник дежурного, шебуточной старшина, ретиво распорядился во всю силу своего пышущего здоровьем. Он отсчитал двадцать пять человек, остальным велел гулять и прийти в ужинный перерыв, запущенных же в коридор разместил вдоль стенки поодаль от кабинета.

тов начальства и сам все время ходил по проходу, наблюдая порядок. Очередной эск миновал несколько дверей, стучался в кабинет майора Мышина и, получив разрешение, вступал. По его возврату пускался другой. Весь обеденный перерыв шебутной старшина руководил движением.

Как ни домогался Спиридон с утра получить письмо, Мышин твердо сказал ему, что будет выдавать в перерыв, когда и всем. Но за полчаса до обеда Спиридон вызвал к себе на допрос майор Шикин. Спиридону бы дать требуемые показания, признаться во всем — и он, глядишь, успел бы получить письмо. Но он запирался, упорствовал — и майор Шикин не мог отпустить его в таком нераскаянном виде. Поэтому, жертвуя своим перерывом (в столовую вольных он ходил все равно не в перерыв, чтоб не толкаться), Шикин продолжал допрашивать Спиридона.

А первым в очереди за письмами оказался Дырсин, заморенный инженер из Семерки, один из основных ее работников. Больше трех месяцев он не получал писем. Тщетно осведомлялся он у Мышина, ответы были: «нет», «не пишут». Тщетно он просил Мамурина, чтобы слали розыск, — розыска не слали. И вот сегодня он увидел свою фамилию в списке и, перемогая боль в груди, успел прибежать первый. Осталась у него из семьи одна жена, изведенная десятилетним ожиданием, как и он.

Старшина махнул Дырсину идти — и первым в очереди стал озорно сияющий Руська Доронин с волнисто-дрожащим взбитком светлых волос. Увидев рядом в очереди латыша Хуго, одного из своих доверенных, он тряхнул волосами и шепнул, подмигивая:

— Иду деньги получать. Заработанные.

— Пройдите! — скомандовал старшина.

Доронин рванул вперед навстречу поникло возвращавшемуся Дырсину.

— Ну, что? — уже во дворе спросил у Дырсины его друг по работе Амантай Булатов.

Всегда небритое, всегда унылое лицо Дырсины еще вытянулось:

— Не знаю. Говорит — письмо есть, но зайдите после перерыва, будем разговаривать.

—... яди они! — уверенно заключил Булатов, и через роговые очки его вспыхнуло. — Я тебе давно говорю — зажимают письма. Откажись работать!

— Второй срок припаяют, — вздохнул Дырсин. Всегда он был пригорблен и голову втягивал в плечи, как будто стукнули его хорошо один раз сзади чем-то большим.

Вздохнул и Булатов. Он потому был такой воинственный, что ему еще было сидеть и сидеть. Но решительность зэка тем более падает, чем меньше ему остается до освобождения. Дырсин же разменял последний год.

Небо было равномерно-серое, без сгущений и без просветов. Не было в нем ни высоты, ни куполообразности — грязная брезентовая крыша, натянутая над землей. Под резким влажным ветром снег оседал, ноздревател, исподволь рыжела его утренняя белизна. Под ногами гуляющих он сбивался в буроватые скользкие бугорки.

А прогулка шла, как обычно. Нельзя придумать такой мерзкой погоды, чтобы вянущие без воздуха арестанты шарашки отказались от прогулки. Засидевшимся в комнатах, им были даже приятны эти резкие порывы сырого ветра — они выдували из человека застойный воздух и застойные мысли.

Среди гуляющих метался гравер-оформитель. То одного, то другого зэка он брал под руку, совершал с ним пару кругов и просил совета. Его положение было особенно ужасно, как считал он; ведь, находясь в заключении, он не мог вступить в брак со своей первой женой, и она теперь рассматривалась как незаконная;

он не имел права дольше ей писать; и даже написать о том, что не будет писать, — не мог, исчерпавши декабрьский месячный лимит. Ему сочувствовали. Его положение, в самом деле, было нелепо. Но у каждого своя боль пересиливала чужие.

Склонный к ощущениям крайним, Кондрашѐв-Иванов, высокий, прямой, как со вставленной жердью, медленно шел, глядя остановившимися глазами поверх голов гуляющих, и в мрачном упоении говорил профессору Челнову, что когда так попрано человеческое достоинство, жить дальше — значит унижать себя. У каждого мужественного человека есть простой выход из этой цепи издевательств.

Профессор Челнов в неизменной вязаной шапочке и плеле, обернутом вокруг плеч, со сдержанностью цитировал художнику «Тюремные утешения» Бозция.

У дверей штаба сбилась группа добровольных охотников на стукачей — Булатов, чей голос разносился на весь двор; Хоробров; беззлобный вакуумщик Земеля; старший вакуумщик Двоетѐсов, принципиально в лагерном рваном бушлате; юркий, во всё сующийся, Прянчиков; от немцев — Макс; и один из латышей.

— Страна должна знать своих стукачей! — повторял Булатов, поддерживая их в намерении не расходиться.

— Да мы их в основном и так знаем, — отвечал Хоробров, став на порог и пробегая глазами вереницу очереди. О некоторых он мог с вероятностью сказать, что они стоят за получением своей иудиной платы. Но подозревали, конечно, наименее ловких.

Руська вернулся к компании веселый, едва удерживаясь, чтобы над головой не помахать денежным переводом. Соткнувшись головами, они все быстро осмотрели перевод: он был от мифической Клавдии Кудрявцевой Ростиславу Доронину на 147 рублей.

Идя с обеда и становясь в хвост очереди, эту группу оглядел своим омутнённым взглядом обер-стукач,

король стукачей, Артур Сиромеха. Он оглядел группу по привычке замечать всё, но еще не придал ей значения.

Руська забрал свой перевод и по уговору отошел от группы.

Третьим к куму зашел инженер-энергетик, сорокалетний мужчина, вчера вечером в запертом ковчеге донимавший Рубина новыми проектами социализма, а потом как ребенок устроивший потасовку подушками на верхних койках.

Четвертым быстрой легкой походкой прошел Виктор Любимичев — парень «свой в доску». В улыбке он обнажал крупные ровные зубы и молодых ли, старых ли арестантов — всех подкупаяще звал «братцы». Через это простое обращение сквозила его чистая душа.

Энергетик вышел на порог с раскрытым письмом. Углубленный в него, он не сразу нащупал ногой ребро ступеньки. Так же не видя, сошел с нее в сторону — и никто из группы «охотников» не потревожил его. Неодетый, без шапки, под ветром, трепавшим его волосы, еще молодые вопреки всему пережитому, он читал после восьми лет разлуки первое письмо от дочери Ариадны, которую, уходя в сорок первом году на фронт (а оттуда — в плен, а из плена — в тюрьму), оставил светленькой шестилетней девчушкой, цеплявшейся за его шею. И когда в бараке военнопленных ходили с хрустом по слою тифозных вшей, и когда по четыре часа он стоял в очереди за черпаком мутно-вонючей баланды, — дорогой светленький клубочек всё тянул его ниточкой Ариадны — как-нибудь пережить и вернуться. Но, вернувшись на родину сразу в тюрьму, он так и не увидел дочери: они с матерью остались в Челябинске, где были в эвакуации. И мать Ариадны, видимо уже с кем-то сойдясь, долго не хотела открывать дочери существование отца.

Наклонным, старательно-ученическим почерком без помарок дочь теперь писала:

«Здравствуй, дорогой папа!

Я не отвечала потому, что не знала, с чего начать и что писать. Это простительно мне, так как я тебя очень давно не видела и привыкла к тому, что отец мой погиб. Мне даже странно, что у меня и вдруг папа.

Ты спрашиваешь, как я живу. Живу как все. Можешь поздравить — поступила в Комсомол. Ты просишь написать тебе, в чем я нуждаюсь. Хочется мне, конечно, очень много. Сейчас коплю деньги на боты и на пошивку демисезонного пальто. Папа! Ты просишь, чтоб я к тебе приехала на свидание. Но разве это такая срочность? Ехать, где-то так далеко тебя разыскивать — согласишься сам, не очень приятно. Когда сможешь — приедешь сам. Желаю тебе успехов в работе. Пока до свидания.

Целую. Ариадна.

Папа, ты видел картину «Первая перчатка»? Вот замечательная! Я не пропускаю ни одной картины».

— Любимичева будем проверять? — спросил Хоробров в ожидании его выхода.

— Что ты, Терентьич! Любимичев — парень наш! — ответили ему.

Но Хоробров глубоким чутьем что-то чувствовал в этом человеке. И вот сейчас он как раз задерживался у кума.

У Виктора Любимичева были открытые оленьи глаза. Природа наградила его гибким телом спортсмена, солдата и любовника. Жизнь вырвала его сразу с беговых дорожек юношеского стадиона в концлагерь в Баварию. В этом тесном пространстве смерти, куда загнали русских солдат враги, а Сталин не допустил Красного Креста, — в этом маленьком плотном пространстве ужаса выживали только те, кто наиболее отрешился от ограниченных относительных понятий добра

и совести; те, кто мог продавать своих, став переводчиком; те, кто мог палкой по лицу бить соотечественников, став лагерным надзирателем; те, кто мог есть хлеб голодающих, став хлеборезом или поваром. И еще было две возможности выжить — могильщиком и золотарём. За рытье могил и за чистку уборных нацисты положили лишний черпак баланды. Но с уборными справлялись двое. На могилы же выходило каждый день полсотни. Каждый день десяток дрог вывозили мертвых на свалку. К лету сорок второго года подходила очередь и самих могильщиков. Со всей жаждой еще не жившего тела Виктор Любимичев хотел жить. Он решил, что если умрет, то последним, и уже договаривался в надзиратели. Но выпала счастливая возможность — приехал в лагерь какой-то гнусавый тип и, хотя в Красной армии он был политруком, — теперь стал уговаривать идти воевать против советской власти. Записывались. Среди них — и комсомольцы... За воротами лагеря стояла немецкая военная кухня, и волонтеров тут же кормили кашей «от пуза». После этого в составе власовского легиона Любимичев воевал во Франции, ловил по Вогезам партизан «Движения сопротивления», потом отбивался на Атлантическом валу от союзников. В сорок пятом году, во времена великого лова, он как-то просеялся сквозь решето, приехал домой, женился на девушке с такими же ясными глазами, таким же юным гибким телом и, оставив ее на первом месяце, был арестован за прошлое. Тюремь как раз в это время проходили русские участники того самого «Движения сопротивления», за которыми он гонялся по Вогезам. В Бутырках резались в домино, вспоминали проведенные во Франции «дни и битвы, где вместе рубились они», и ждали передач от домашних. Потом всем дали поровну — по десять лет. Так всей своей жизнью Любимичев был воспитан и приучен, что ни у кого, очевидно,

никаких «убеждений» никогда не было и быть не может — и у тех, кто их судит — тоже.

Ничего не подозревая, с простодушными глазами, держа в руке листик, сильно похожий на почтовый денежный перевод, Виктор не только не пытался миновать группу «охотников», но сам подошел к ней и спросил:

— Братцы! Кто обедал? Что там на второе? Стоит идти?

Кивая на бланк перевода в опущенной руке Виктора, Хоробров спросил:

— Что, много денег получил? Уж в обеде не нуждаешься?

— Да где много! — отмахнулся Любимичев и хотел спрятать бланк в карман. Он потому не удосужился его спрятать раньше, что все боялись его силы и никто бы не посмел спрашивать отчета. Но пока он разговаривал с Хоробровым, — Булатов словно в шутку наклонился и, искособочившись, прочел:

— Фу-у! Тысяча четыреста семьдесят рублей! Наплевать тебе теперь на Антонов харч!

Сделай это любой другой ээк, Виктор шутливо двинул бы его в лоб и бланка не показал. Но с Амантаем не следовало так, потому что Амантай обещал и уже хлопотал устроить Виктора в Семерку. Это был бы полный поворот судьбы и шансы на свободу. И Любимичев оправдался:

— Да где тысяча, смотри!

И все увидели: 147 р. 00 к.

— Во, чудно! Не могли полтора ста прислать! — невозмутимо заметил Амантай. — Тогда иди, на второе шницель.

Но Любимичев не успел тронуться, и не успел замолкнуть голос Булатова, — как затрясся Хоробров. Хоробров потерял свою роль. Он забыл, что надо сдерживаться, улыбаться и ловить дальше. Он забыл, что главное — это стукачей узнать, уничтожить же их не-

возможно. Сам настрадавшийся от стукачей, видевший гибель многих — и всё от стукачей, он ненавидел этих скрывчивых предателей, как никого больше. По возрасту — сын Хороброву, юноша, годный для лепки статуи, — оказался такая добровольная гадина!

— С-сволочь ты! — проговорил Хоробров дрожащими губами. — На нашей крови досрочки ищешь? Чего тебе не хватало?

Боец, всегда готовый к бою, Любимичев передернулся и отвел руку для короткого боксерского удара.

— Ух ты, падаль вятская! — предупредил он.

— Что ты, Терентьич! — еще раньше кинулся Булатов отвести Хороброва.

Громадный неуклюжий Двоетёсов в рваном бушлате перехватил своей левой отведенную правую руку Любимичева и впился в нее.

— Мальчик, мальчик! — сказал он с пренебрежительной усмешкой, с той почти ласковой тихостью, которая дается напряжением всего тела.

Любимичев круто обернулся к Двоетёсову, и его открытые оленьи глаза почти сошлись с близорукими выкаченными глазами Двоетёсова.

И Любимичев не отвел второй руки для удара. В этих совиных глазах и в перехвате его руки мужицкою рукой понял, что один из двоих сейчас не опрокинется, а упадет мертвым.

— Мальчик, мальчик, — залаженно повторял Двоетёсов. — На второе шницель. Пойди покушай шницель.

Любимичев вырвался и, гордо запрокинув голову, пошел к трапу. Его атласные крупные щеки пылали. Он искал, как рассчитаться с Хоробровым. Он сам еще не знал, что обвинение пронзило его. Хоть он с любым готов был спорить, что понимает жизнь, а оказывалось — еще не понимает.

И как могли догадаться? Откуда?

Булатов проводил его взглядом и взялся за голову:
— Мать моя родная! Кому ж теперь верить?

Вся эта сцена прошла на мелких движениях, во дворе её не заметили ни гуляющие зэки, ни два неподвижных надзирателя по краям прогулочной площадки. Только Сиромаха, смежив устало-неподвижные глаза, из очереди всё видел сквозь дверь и, припомнив Руську, — понял до конца!

Он заметался.

— Ребята! — обратился он к передним, — у меня схема под током осталась. Вы меня без очереди не пропустите? Я быстро.

— У всех схема под током!

— У всех ребенок! — ответили ему и рассмеялись.

Не пустили.

— Пойду выключу! — озабоченно объявил Сиромаха и, обегая стороной охотников, скрылся в главном здании. Не переводя дыхания, он взлетел на третий этаж. Но кабинет майора Шикина был заперт изнутри, и скважина закрыта ключом. Это мог быть допрос. Могло быть и свидание с долговязой секретаршей. Сиромаха в бессилии отступил.

С каждой минутой проваливались кадры и кадры — и ничего нельзя было сделать!

Следовало идти стать снова в очередь, но инстинкт гонимого зверя сильнее желания выслужиться: было страшно идти опять мимо распаленной, злой кучки. Они могли зацепить Сиромаху и безо всякого повода. Его слишком знали на шарашке.

Тем временем во дворе вышедший от Мышина доктор химических наук Оробинцев, маленький, в очках, в богатой шубе и шапке, в которых ходил на воле (он не побывал даже на пересылках, и его не успели еще

раскурочить) собрал вокруг себя таких же простаков, как сам, в том числе лысого конструктора, и давал им интервью. Известно, что человек верит главным образом тому, чему он хочет верить. Те, кто хотел верить, что подаваемый список родственников является не доносом, а разумной регулирующей мерой, и собрались теперь вокруг Оробинцева. Оробинцев уже отнес аккуратно расчерченный на графы список, сдал его, сам говорил с майором Мышиным и авторитетно повторял его разъяснения: куда писать несовершеннолетних детей, и как быть, если отец не родной. В одном только майор Мышин оскорбил воспитанность Оробинцева. Оробинцев пожаловался, что не помнит точно место рождения жены. Мышин разъярил пасть и рассмеялся: «Что вы её — из бардака взяли?»

Теперь доверчивые кролики слушали Оробинцева, не приставая к другой компании — в заветрии стволов трех лип, вокруг Адамсона.

Адамсон, после сытного обеда лениво покуривая, рассказывал слушателям, что все эти запреты переписки не новы, и бывали даже хуже, что и этот запрет не навечно, а до смены какого-нибудь министра или генерала, поэтому духом падать не следует, по возможности от подачи списка пока воздержаться, а там и минует. Глаза Адамсона имели от рождения узкий долгий разрез и, когда он снимал очки, усиливалось впечатление, что он скучающе смотрит на мир заключенных: все повторялось, ничем новым не мог его поразить архипелаг ГУЛАГ. Адамсон столько уже сидел, что как будто разучился чувствовать, и то, что для других было трагедией, он воспринимал не более, как мелкую бытовую новость.

Между тем охотники, увеличившиеся в числе, поймали еще одного стукача — с шутками вытащили бланк на 147 рублей из кармана Исаака Кагана. До того, как у него вытащили перевод, на вопрос, что он получил у кума, он ответил, что не получил ничего,

сам удивляется по какой ошибке его вызывали. Когда же перевод вытащили силой и стали срамить, — Каган не только не покраснел, не только не торопился уйти, но, всех своих разоблачителей по очереди цепляя за одежду, клялся неотвязчиво, назойливо, что это чистое недоразумение, что он покажет им всем письмо от жены, где она писала, как на почте у неё не хватило трех рублей и пришлось послать 147 рублей. Он даже тянул их идти сейчас в аккумуляторную — и он там достанет это письмо и покажет. И еще, трясая своей кудлатой головой и не замечая сползшего с шеи, почти волочащегося по земле кашне, он очень правдоподобно объяснял, почему он скрыл вначале, что получил перевод. У Кагана было особое прирожденное свойство вязкости. Начав с ним говорить, никак нельзя было от него отцепиться иначе, как полностью признав его правоту и уступив ему последнее слово. Хоробров, его сосед по койке, знающий историю его посадки за недоносительство, и уже не имея сил на него как следует рассердиться, только сказал:

— Ах, Исак, Исак, сволочь ты, сволочь! — на воле за тысячи не пошел, а здесь на сотни польстился!

Или уж так напугали его лагерем?..

Но Исаак, не смущаясь, продолжал оправдываться и убедил бы их всех — если б не поймали еще одного стукача, на этот раз латыша. Внимание отвлеклось, и Каган ушел.

Кликнули на обед вторую смену, а первая выходила на прогулку. По трапу поднялся Нержин в шинели. Он сразу увидел Руську Доронина, стоящего на черте прогулочного двора. Торжествующим блестящим взором Руська то посматривал на им подстроенную охоту, то окидывал дорожку на двор вольных и просвет на шоссе, где должна была вскоре сойти с автобуса Клара, приехав на вечернее дежурство.

— Ну?! — усмехнулся он Нержину и кивнул в сторону охоты. — А про Любимичева слышал?

Нержин остановился близ него и слегка приобнял.

— Качать тебя, качать! Но — боюсь за тебя.

— Хо! Я только разворачиваюсь, подожди, это цветики!

Нержин покрутил головой, усмехнулся, пошел дальше. Он встретил спешащего на обед сияющего Пряничкова, накричавшегося вдоволь своим тонким голосом вокруг стукачей.

— Ха-ха, парниша! — приветствовал тот. — Вы все представление пропустили! А где Лев?

— У него срочная работа. На перерыв не вышел.

— Что? Срочней Семерки? Ха-ха! Такой не бывает. Я — ... вас! Я — всех вас!

И убежал.

В нахлобученной на маленькую голову замызганной кепочке, в коротеньком пальтишке с поднятым воротником, дальше во дворе встретил Нержина Герасимович. Они кивнули друг другу приветливо и печально. Герасимович ёжился от ветра, держал руки в карманах — и, щуплый, казался похожим на воробья.

На того из народной пословицы воробья, у которого сердце с кошку.

ВОСПИТАНИЕ ОПТИМИЗМА

По сравнению с работой майора Шикина в работе майора Мышина была своя специфика, свои плюсы и минусы. Главный плюс был — чтение писем, их отправка или неотправка. А минусы были — что не от Мышина зависели этапирование, невыплата денег за ра-

боту, определение категории питания, сроки свиданий с родственниками и разные служебные придирки. Во многом завидуя конкурирующей организации — майору Шикину, который даже внутритюремные новости узнавал первый, майор Мышин налегал на подсматривание через прозрачную занавеску: что делалось на прогулочном дворе (Шикин, из-за неудачного расположения своего окна на третьем этаже, был лишен такой возможности). Наблюдения за заключенными в их обычной жизни тоже давали Мышину кое-какой материал. Из своей засады он дополнял сведения, получаемые от осведомителей, — видел, кто с кем ходил, говорил ли оживленно или равнодушно. А затем, выдавая или беря письмо, любил внезапно огорошить:

— Кстати, о чем вы вчера в обеденный перерыв говорили с Петровым?

И иногда получал таким образом от растерявшегося арестанта бесполезные сведения.

Сегодня в обеденный перерыв Мышин на несколько минут велел очередному эзку подождать и тоже поглядывал во двор. (Но охоты на стукачей он не увидел — она шла у другого конца здания.)

В три часа дня, когда обеденный перерыв закончился и не успевших попасть на приём шепутной старшина рассеял, — велено было допустить Дырзина.

Иван Селиванович Дырзин был награжден от природы углоскулым впалым лицом, неразборчивостью речи и даже фамилией, будто данной в насмешку. В институт когда-то он был принят от станка, через вечерний рабфак, учился скромно, упорно. Способности были в нем, но не умел он их выставлять, и всю жизнь его затирали и обижали. В Семерке сейчас его не эксплуатировал только, кто не хотел. Именно потому, что десятка его, немного смягченная зачетами, теперь кончалась, он особенно робел перед начальством.

Он больше всего боялся получить второй срок, которых навиделся в военные годы немало.

Он и первый-то срок получил несуразно. В начале войны его посадили за «антисоветскую агитацию» — по доносу соседей, метивших на его квартиру (и потом получивших её). Правда, выяснилось, что агитации такой он не вел, но м о г её вести, так как слушал немецкое радио. Правда, немецкого радио он не слушал, но м о г его слушать, так как имел дома запрещенный радиоприемник. Правда, такого приемника он не имел, но вполне м о г его иметь, так как по специальности был инженер-радист, а по доносу у него нашли в коробочке две радиолампы.

Дырсину пришлось вдосыть хватить лагерей военных лет — тех, где люди ели сырое зерно, украв его у лошади, и тех, где муку замешивали со снегом под дощечкой «Лагерный пункт», прибитой на первой таёжной сосне. За восемь лет, что Дырсин пробыл в стране ГУЛАГ, умерли два их ребенка, стала костлявой старухой жена, — об эту пору вспомнили, что он — инженер, привезли сюда и стали выдавать ему сливочное масло, да еще сто рублей в месяц он посылал жене.

И вот от жены теперь необъяснимо не было писем. Она могла и умереть.

Майор Мышин сидел, сложив на столе руки. Был свободен от бумаг перед ним стол, закрыта чернильница, сухо перо, и не было никакого (как и никогда не бывало) выражения на его налитом искрасна-лиловом лице. Лоб его был такой налитой, что ни морщина старости, ни морщина размышления не могли пробиться в его коже. И щеки его были налитые. Лицо Мышина было как у обожжённого глиняного идола с добавлением в глину розовой и фиолетовой красок. А глаза его были невыразительны, лишены жизни, пусты той особенной надменной пустотой.

Никогда такого не случилось! Мышин предложил сесть (Дырсин уже стал перебирать, какую беду он мог

нажить и о чем будет протокол). Затем майор помолчал (по инструкции) и, наконец, сказал:

— Вот вы всё жалуетесь. Ходите и жалуетесь. Пишем вам нет два месяца.

— Больше трех, гражданин начальник! — робко напомнил Дырсин.

— Ну три, какая разница? А подумали вы о том, что за человек ваша жена?

Мышин говорил неторопливо, ясно выговаривая слова и делая приличные остановки между фразами.

— Что за человек ваша жена. А?

— Я... не понимаю... — пролепетал Дырсин.

— Ну, чего не понимать? Политическое лицо её — какое?

Дырсин побледнел. Не ко всему еще, оказывается, он притерпелся и приготовился. Что-то написала жена в письме, и теперь её, накануне его освобождения...

И он про себя тайно помолился за жену. (Он научился молиться в лагере.)

— Она — нытик, а нытики нам не нужны, — твердо разъяснял майор. — И какая-то странная у нее слепота: она не замечает хорошего в нашей жизни, а выпячивает одно плохое.

— Ради Бога! Что с ней случилось?! — болтая головой, воскликнул Дырсин.

— С ней? — еще с большими паузами говорил Мышин. — С ней! — Ничего. (Дырсин выдохнул.) — Пока.

Очень не торопясь, он вынул из ящика письмо и подал его Дырсину.

— Благодарю вас! — задыхаясь сказал Дырсин. — Можно идти?

— Нет. Прочтите здесь. Потому что такого письма я вам дать в общежитие не могу. Что будут думать заключенные о воле по таким письмам? Читайте.

И застыл лиловым истуканом, готовый на все тяготы своей службы.

Дырсин вынул лист из конверта. Ему незаметно было, но посторонний глаз письмо неприятно поражало, как бы заключая в себе образ написавшей его женщины: оно было на бумаге корявой, почти обёрточной и ни одна строка с края до края листа не проходила ровно, но все строки прогибались и безвольно падали направо вниз, вниз. Письмо было помечено 18-м сентября:

«Дорогой Ваня! Села писать, а сама спать хочу, не могу. Прихожу с работы и сразу на огород, копаем с Манюшкой картошку. Уродилась мелкая. В отпуск я никуда не ездила, не в чем было, вся оборвалась. Хотела денег скопить, да к тебе приехать — ничего не выходит. Ника тогда к тебе ездила, ей сказали — такого здесь нету, а мать и отец её ругали — зачем поехала, теперь, мол, и тебя на заметку взяли, будут следить. Вообще мы с ними в отношениях натянутых, а с Л. В. они совсем даже не разговаривают.

Живем мы плохо. Бабушка, ведь, третий год лежит, не встает, вся высохла, умирать не умирает и не выздоравливает, всех нас замучила. Тут от бабушки вонь ужасная, а тут постоянно идут ссоры, с Л. В. я не разговариваю, Манюшка совсем разошлась с мужем, здоровье её плохое, дети её не слушаются, как приходим с работы, то ужас, висят одни проклятья, куда убежать, когда это кончится?

Ну, целую тебя крепко. Будь здоров».

И даже не было подписи, или слова «твоя».

Терепливо дождавшись, пока Дырсин прочтет и

перечтет это письмо, майор Мышин пошевелил белыми бровями и фиолетовыми губами и сказал:

— Я не отдал вам этого письма, когда оно пришло. Я понимал, что это минутное настроение, а вам надо работать бодро. Я ждал, что она пришлет хорошее письмо. Но вот какое она прислала в прошлом месяце.

Дырсин безмолвно вскинулся на майора — но даже упрека не выражало, а только — боль, его нескладное лицо. Он принял и вздрагивающими пальцами развернул второй распечатанный конверт и достал письмо с такими же перешибленными, заблудившимися строчками, в этот раз на листе из тетради:

«30 октября.

Дорогой Ваня! Ты обижаешься, что я редко пишу, а я с работы прихожу поздно и почти каждый день иду за палками в лес, а там вечер, я так устаю, что прямо валюсь, ночь сплю плохо, не дает бабушка. Встаю рано, в пять утра, а к восьми должна быть на работе. Еще, слава Богу, осень теплая, а вот зима нагрянет! Угля на складе не добьешься, только начальству или по благу. Недавно вязанка свалилась со спины, тещу её прямо по земле за собой, уж нет сил поднять, и думаю: «Старушка, везущая хворосту воз!» Я в паху нажила грыжу от тяжести. Ника приезжала на каникулы, она стала интересная, к нам даже не зашла. Я не могу без боли вспомнить про тебя. Мне не на кого надеяться. Пока силы есть, буду работать, а только боюсь, не слечь бы и мне, как бабушка. У бабушки совсем отнялись ноги, она распухла, не может ни лечь сама, ни встать. А в больницу таких тяжелых не берут, им невыгодно. Приходится мне и Л. В. её каждый раз поднимать, она под себя ходит, у нас вонь ужасная, это не

жизнь, а каторга. Конечно, она не виновата, но нет сил больше терпеть. Несмотря на твои советы не ругаться, мы ругаемся каждый день, от Л. В. только и слышишь сволочь да стерва. А Манюшка на своих детей. Неужели б и наши такие выросли? Знаешь, я часто рада, что их уже нет. Валерик в этом году поступил в школу, ему всего нужно много, а денег нет. Правда, с Павла алименты Манюшке платят, по суду. Ну, пока писать нечего. Будь здоров. Целую тебя.

Хоть на праздниках бы отоспалась — так на демонстрацию переться...»

Над этим письмом Дырсин замер. Он приложил ладони к лицу, как будто умываться хотел и не умывался.

— Ну? Вы прочли, или что? Вроде не читаете. Вот вы человек взрослый. Грамотный. В тюрьме посидели, понимаете, что это за письмо. За такие письма во время войны срока давали. Демонстрация всем радость, а ей? Уголь! Уголь — не начальству, а всем гражданам, но в порядке очереди, конечно. В общем я и этого письма вам не знал — давать ли, нет — но пришло третье, опять такое же. Я подумал-подумал — надо это дело кончать. Вы сами должны это прекратить. Напишите ей такое, знаете, в оптимистическом тоне, бодрое, поддержите женщину. Разъясните, что не надо жаловаться, что всё наладится. Вон там разбогатели, наследство получили. Читайте.

Письма шли по системе, хронологически. Третье было от 8 декабря.

«Дорогой Ваня! Сообщаю тебе горестную новость: 26 ноября 1949 года в 12 часов пять минут дня умерла бабушка. Умерла, а у нас ни копей-

ки, спасибо Миша дал 200 руб., всё обошлось дешево, но, конечно, похороны бедные, ни попа, ни музыки, просто на телеге гроб отвезли на кладбище и свалили в яму. Теперь в доме стало немного тише, но пустота какая-то. Я сама болею, ночью пот страшный, даже подушка и простыня мокрые. Мне предсказывала цыганка, что я умру зимой, и я буду рада избавиться от такой жизни. У Л. В., наверно, туберкулёз, она кашляет и даже горлом идет кровь, как придет с работы — так ругань, злая как ведьма. Она и Манюшка меня изводят. Я какая-то несчастливая — вот еще зуба четыре испортилось, а два выпало, нужно бы вставить, но тоже денег нет, да и в очереди сидеть.

Твоя зарплата за три месяца 300 р. пришла очень вовремя, уж мы замерзали, очередь на складе подошла (была 4576-я), а дают одну пыль, ну зачем её брать? К твоим триста Манюшка своих двести добавила, заплатили от себя шоферу, уж он привез крупного угля. А картошки до весны не хватит — с двух огородов, представь, и ничего не нарыли, дождей не было, не урожай.

С детьми постоянные скандалы. Валерий получает двойки и колы, после школы шляется неизвестно где. Манюшку директор вызывал, что же, мол, вы за мать, что не можете справиться с детьми. А Женьке, тому шесть лет, а оба уже ругаются матом, одним словом шпана. Я все деньги отдаю на них, а Валерий недавно меня обругал сукой, и это приходится выслушивать от какой-то дряни мальчишки, что же вырастут? Нам в мае месяце придется вводится в наследство, говорят, это будет стоить две тысячи, а где их брать? Елена с Мишей зате-

вают суд, хотят отнять у Л. В. комнату. Бабушка при жизни, сколько раз ей говорили, не хотела распределить, кому что. Миша с Еленой тоже болеют.

А я тебе осенью писала, да по-моему даже два раза, неужели ты не получаешь? Где ж они пропадают?

Посылаю тебе марочку 40 коп. Ну, что там слышно, освободят тебя или нет?

Очень красивая посуда продается в магазине, алюминиевая, кастрюльки, миски.

Крепко тебя целую. Будь здоров.»

Мокрое пятнышко расплылось по бумаге, распуская в себе чернила.

Опять нельзя было понять — Дырсин всё еще читает или уже кончил.

— Так вот, — спросил Мышин, — вам ясно?

Дырсин не шелохнулся.

— Напишите ответ. Бодрый ответ. Разрешаю — свыше четырех страниц. Вы как-то писали ей, чтоб она в бога верила. Да уж лучше пусть в бога, что ли... А то что ж это?... Куда это?.. Успокойте её, что скоро вернетесь. Что будете зарплату большую получать.

— Но разве меня отпустят домой? Не сошлют?

— Это там как начальству нужно будет. А жену поддержать — ваша обязанность. Все-таки, ваш друг жизни. — Майор помолчал. — Или, может, вам теперь молоденькую хочется? — сочувственно предложил он.

Он не сидел бы так спокойно, если бы знал, что в коридоре, изводясь от нетерпения к нему попасть, переталтывается его любимый осведомитель Сиромаха.

КОРОЛЬ СТУКАЧЕЙ

В те редкие минуты, когда Артур Сирромаха не занят был борьбой за жизнь — не делал усилий нравиться начальству или работать, когда он расслаблял свою постоянную напряженность леопарда, — он оказывался вялый молодой человек со стройной, впрочем, фигурой, с лицом артиста, утомленного ангажементами, с неопределимыми серо-мутно-голубыми глазами, как бы увлажненными печалью.

Два человека в запальчивости уже обозвали Сирромаху в лицо стукачом — и обоих их этапировали вскоре. Больше ему не повторяли этого вслух. Его боялись. Ведь на очную ставку с доносчиком не вызывают. Может быть, зэк обвинен в подготовке побега? террора? восстания? — он этого не знает, ему велят собирать вещи. Ссылают ли его просто в лагерь? или везут в следственную тюрьму?

Такова человеческая природа, и её хорошо использовали во все времена: пока человек еще мог бы разоблачать измену или смертью своей добыть спасение другим — в нем не убита надежда, он еще верит в благополучный исход, он еще цепляется за жалкие остатки благ — и потому молчалив, покорен. Когда же он схвачен, низвергнут, когда терять ему больше нечего, он способен на подвиг — только каменная коробочка одиночки готова принять на себя его позднюю ярость. Или дыхание объявленной казни уже делает его равнодушным к земным делам.

Не обличив прямо, не поймав на доносе, но и не сомневаясь, что он стукач, — одни Сирромаху избегали, иные считали безопаснее с ним дружить, играть в волейбол, говорить о «бабах». Так жили и с другими сту-

качами. Так мирно выглядела жизнь шарашки, где шла подземная смертельная война.

Но Артур мог говорить вовсе не только о бабах. «Сага о Форсайтах» была из его любимых книг, и он довольно умно рассуждал о ней. (Правда, без затруднения он чередовал Голсуорси с затрепанным детективом «Дом без ключа».) У Артура был и музыкальный слух, он любил в музыке испанские и итальянские темы, верно мог насвистывать из Верди, из Россини, а на воле, ощущая неполноту жизни, раз в год заходил в Консерваторию.

Род Сиромах был дворянский род, хотя худой. В начале века один из Сиромах был композитором, другой по уголовному делу сослан на каторгу. Еще один Сиромаха решительно пристал к революции и служил в ЧК.

Когда Артур достиг совершеннолетия, он по своим склонностям и потребностям почувствовал необходимость иметь постоянные независимые средства. Равномерная копотная жизнь с ежедневным корпением «от» и «до», с подсчитыванием два раза в месяц зарплаты, отягощенной вычетами налогов и займов, никак была не по нему. Ходя в кино, он серьезно примерял к себе всех знаменитых киноартисток, он вполне представлял, как с Диной Дурбин закатился бы в Аргентину.

Конечно, не институт, не образование было путем к такой жизни. Артур нащупывал какую-то другую службу, с легким перебрасыванием, с порханием — и та служба тоже нащупывала его. Так они встретились. Служба эта, хотя и не дала ему всех средств, сколько он хотел, но во время войны избавила от мобилизации, значит — спасла ему жизнь. И пока там дураки кисли в глиняных траншеях, Артур непринужденно входил в ресторан «Савойя» с приятно-гладкими щеками кремового цвета на удлинённом лице. (О, этот момент переступа через ресторанный порог, когда теплый, с за-

пахами кухни воздух и музыка разом тебя обдают, и ты разом видишь весь сверкающий зал, и зал видит тебя, и ты выбираешь столик!)

Все пело в Артуре, что он — на верном пути. Его возмущало, что служба эта считалась между людьми — подлой. Это шло из непонимания или из зависти! Эта служба была для талантливых людей, она требовала наблюдательности, памяти, находчивости, умения притворяться, играть — это была артистическая работа. Да, её надо было скрывать, она не существовала без тайны — но лишь по её технологическому принципу, ну, как требуется защитное стекло сварщику, чтобы варить и резать. Иначе Артур ни за что бы не таился — ничего в ней не было позорного!

Однажды, не уместившись в свой бюджет, Артур примкнул к компании, польстившейся на государственное имущество. Его посадили. Артур ничуть не обиделся: сам виноват, не попадайся. С первых же дней за колючей проволокой он естественно ощутил себя на прежней службе, само пребывание здесь было лишь новой формой её.

Не оставили его и оперуполномоченные: он не послан был ни на лесоповал, ни в шахты, а устроен при культурно-воспитательной части. Это был единственный в лагере огонёк, единственный уголок, куда можно было на полчаса зайти перед отбоем и почувствовать себя человеком: перелистать газету, взять в руки гитару, вспомнить стихи или свою прежнюю неправдоподобную жизнь. Лагерные У к р о п ы П о м и д о р о в и ч и (как звали воры неисправимых интеллигентов) сюда тянулись — и очень у места был тут Артур с его артистической душой, понимающими глазами, столичными воспоминаниями и умением скользя, скользя поговорить о чем угодно.

И так Артур быстро о ф о р м и л несколько одиночных а г и т а т о р о в; одну антисоветски-настроен-

ную группу; два побега, еще не подготовлявшихся, но уже якобы задуманных; и лагпунктовское дело в ра ч е й, якобы затягивавших с целью саботажа лечение заключенных — то есть, дававших им отдыхать в больнице. Все эти кролики получили вторые с р о к и, Артуру же по линии Третьего Отдела сброшено было два года.

Попавши в Маврино, Артур и здесь не пренебрегал своей проверенной службой. Он стал любимцем и душой обоих майоров-кумовей и самым грозным доносчиком на шарашке.

Но, пользуясь его доносами, майоры не открывали ему своих секретов, и теперь Сирوماха не знал, кому из двоих важнее знать новость о Доронине, чьим стукачем был Доронин.

Много писано, что люди в массе своей удивляют неблагодарностью и неверностью. Но ведь бывает и иначе! Не одному, не трем — двадцати с лишним энкам с безумной неосторожностью, с расточительным безрассудством доверил Руська Доронин свой замысел д в о й н и к а. Каждый из узнавших рассказал еще несколькими, тайна Доронина стала достоянием почти половины жителей шарашки, о ней едва что не говорили в комнатах вслух, — и хотя через пятого — через шестого жил на шарашке стукач — ни один из них ничего не узнал, а, может быть, не донес, узнавши! И самый наблюдательный, самый чутконосый, король стукачей Артур Сирوماха тоже ничего не знал до сегодня!

Теперь была задета и его честь осведомителя — пусть оперы в своих кабинетах прохлопали, но он?? И прямая его безопасность — так же точно, как и других, могли поймать с переводом и его самого. Измена Доронина была для Сирوماхи выстрелом чуть-чуть мимо головы. Доронин оказался сильный враг — так и

ударить его надо было сильно! (Впрочем, еще не осознавая размеров беды, Артур подумал, что Доронин раскрылся только-только, сегодня или вчера.)

Но Сиромаха не мог прорваться в кабинеты! Нельзя было терять голову, ломиться в запертую дверь Шикина или даже слишком часто подбегать к его двери. А к Мышину стояла очередь! Её разогнали по трехчасовому звонку, но пока самые надоедные и упрямые ээки препирались в коридоре штаба с дежурным (Сиромаха со страдающим видом, держась за живот, пришел к фельдшеру и стоял в ожидании, пока группа разойдется) — уже к Мышину был вызван Дырсин. По расчетам Сиромахи Дырсину нечего было задерживаться у кума — а он там сидел, и сидел. Рискуюя заслужить неудовольствие Мамурина своей часовой отлучкой из Семерки, где стоял чад от паяльников, канифоли и проектов, Сиромаха тщетно ждал, когда же Мышин отпустит Дырсина.

Но и перед простыми надзирателями, глазевшими в коридоре, нельзя было расшифровывать себя! Потеряв терпение, Сиромаха ходил опять на третий этаж к Шикину, возвращался в коридор штаба к Мышину, опять поднимался к Шикину. В последний раз в темном тамбуре у двери Шикина ему повезло: сквозь дверь он услышал неповторимый скрипучий голос дворника, единственный такой на шарашке.

Тогда он сразу же условно постучал. Дверь отперлась — и Шикин показался в нешироком растворе двери.

— Очень срочно! — шепотом сказал Сиромаха.

— Минуту, — ответил Шикин.

И легкой подходкой, чтобы не встретиться с выпускаемым дворником, Сиромаха ушел далеко по длинному коридору, тотчас деловито вернулся и без стука толкнул дверь к Шикину.

НАСЧЕТ РАССТРЕЛЯТЬ

После недельного следствия по «Делу о токарном станке» суть происшествия все еще оставалась майору Шикину загадочной. Установлено было только, что станок этот с открытым ступенчатым шкивом, ручной подачей задней бабки, а подачей суппорта как ручной, так и от главного привода, станок, выпущенный отечественной промышленностью в разгар первой мировой войны, в 1916 году, был по приказу Яконова отъят от электромотора и передан в таком виде из лаборатории № 3 в механические мастерские. При этом, так как стороны не могли договориться о транспортировке, приказано было силами лаборатории спустить станок в подвальный коридор, а оттуда силами мастерских ручным волоком поднять по трапу и через двор доставить в здание мастерских. (Был путь короче, без опускания станка в подвал, но тогда пришлось бы выпускать зков на парадный двор, просматриваемый с шоссе и из парка, что было, конечно, недопустимо с точки зрения бдительности.)

Разумеется, теперь, когда непоправимое уже произошло, Шикин внутренне мог упрекнуть и самого себя: не придав значения этой важнейшей производственной операции, он не проследил за нею лично. Но ведь в исторической перспективе ошибки деятелей всегда видней — а поди их не сделай!

Сложилось так, что лаборатория № 3, имеющая в своем составе одного начальника, одного мужчину, одного инвалида и одну девушку, собственными силами перетащить станка не могла. И поэтому, совершенно безответственно, из разных комнат был собран случайный народ в количестве десяти заключенных (даже списка их никто не составил! — и майору Шикину сто-

ило немалого труда уже потом, с полумесячным опозданием, сличая показания, восстановить полный список подозреваемых) — и эти десять эков опустили-таки тяжелый станок по лестнице из бельэтажа в подвал. Однако мехмастерские (по каким-то техническим соображениям их начальник не гнался за этим станком) не только вовремя не выставили рабочей силы на смычку, но даже не прислали к месту встречи контролера-приемщика. Десять же мобилизованных эков, стащив станок в подвал, никем не руководимые, разошлись. А станок, загораживая проход, еще несколько дней стоял в подвальном коридоре (сам же Шикин и спотыкался об него). Наконец пришли за ним люди из мастерских, но увидели трещину в станине, придрались к этому и еще три дня не брали станка, пока их все-таки не заставили.

Вот эта-то роковая трещина в станине и была основой к тому, чтобы завести «Дело». Может быть, и не из-за этой трещины станок до сих пор не работал (Шикин слышал и такое мнение), но значение трещины было гораздо шире, чем сама трещина. Трещина означала, что в институте орудуют еще не разоблаченные враждебные силы. Трещина означала также, что руководство института слепо-доверчиво и преступно-халатно. При удачном проведении следственного дела, вскрытии преступника и истинных мотивов преступления, можно было не только кое-кого наказать, а кое-кого предупредить, но и вокруг этой трещины провести большую воспитательную работу с коллективом. Наконец, профессиональная честь майора Шикина требовала разобраться в этом зловещем клубке!

Но это было не легко. Время было упущено. Среди арестантов-переносчиков станка успела возникнуть круговая порука, преступный сговор. Ни один вольный (ужасное упущение!) не присутствовал при переноске. Среди десяти носильщиков попался только один осведомитель и то затруханный, самым большим

достижением которого был донос о простыне, разрезанной на манишки. И единственно в чем он помог, это восстановить полный список десяти человек. В остальном же все десять зэков, нагло рассчитывая на свою безнаказанность, утверждали, что они донесли станок до подвала в целости, по лестнице станиною не ползили, об ступеньки её не били. И еще как-то так получалось по их показаниям, что именно за то место, где потом возникла трещина, за станину под задней бабкой, никто из них не держался, а все держались за станину под шкивами и шпинделем. В погоне за истинной, майор даже несколько раз рисовал схему станка и расстановку носильщиков вокруг него. Но легче было в ходе допросов овладеть токарным мастерством, чем найти виновника трещины. Единственно кого можно было обвинить хоть и не во вредительстве, но в намерении вредительства, — это инженера Потапова. Разозлясь от трехчасового допроса, он проговорился:

— Да если б я вам это корыто хотел испортить, так я просто бы песку горсть сыпанул в подшипники, и всё! Какой смысл станину колотить?!

(Эту фразу матерого диверсанта Шикин сейчас же занес в протокол, но Потапов отказался подписать.)

Трудность нынешнего расследования была именно в том, что в руках Шикина не было обычных средств добывания истины: одиночки, карцера, мордобоя, перевода на карцерный паек, ночных допросов и даже элементарного разделения подследственных по разным камерам; здесь надо было, чтобы они продолжали полноценно работать, а для этого нормально питаться и спать.

И все-таки уже в субботу Шикину удалось вырвать у одного зэка признание, что, когда они спускались по последним ступенькам и загораживали узкую дверь, — навстречу им попался дворник Спиридон и с криком: «Стой, братки, поднесем!» — тоже взялся, одиннадца-

тым, и донес до места. И из схемы никак иначе не получалось, что взялся он за станину под задней бабкой.

Эту новую богатую нить Шикин и решил размазывать сегодня, в понедельник, пренебрегши двумя поступившими с утра доносами о суде над князем Игорем. Перед самым обедом он вызвал к себе рыжеволосого дворника — и тот пришел, как был, со двора в бушлате, перепоясанном драным брезентовым поясом, снял свою большеухую шапку и виновато мял её в руках, подобно классическому мужику, пришедшему просить у барина землицы. При этом он не сходил с резинового коврика, чтоб не наследить по полу. Неодобрительно покаясь на его непросохшие еще ботинки и строго поглядев на него самого, Шикин так и оставил его стоять, а сам сидел в кресле и молча просматривал разные бумаги. Время от времени, словно по прочтённому пораженный преступностью Егорова, он вскидывал на него изумленный взгляд, как на кровожадного зверя, наконец-то попавшего в клетку (все это полагалось по их науке, чтобы разрушительно подействовать на психику арестанта). Так прошло в запертом кабинете в ненарушимом молчании полчаса, явственно прозвенел и обеденный звонок, по которому Спиридон надеялся получить письмо из дому — но Шикин даже и слыхом не слыхал того звонка: он молча все перекаладывал толстые папки, что-то доставал из одних ящичков и клал в другие, хмуро перечитывал разные бумаги и опять с изумлением коротко взглядывал на угнетенного, поникшего, виноватого Спиридона.

Последняя вода с ботинок Спиридона, наконец, сошла на коврик, ботинки обсохли, и Шикин сказал:

— А ну, подойди ближе! (Спиридон подошел.) Стой. Вот этого знаешь, нет? — И он протянул ему из своих рук фотографию какого-то парня в немецком мундире без шапки.

Спиридон изогнулся, сощурился, приглядываясь, и извинился:

— Я, вишь, гражданин майор, слеповат маненько. Дай я ее облазю.

Шикин разрешил. Всё так же в одной руке держа свою мохнатую шапку, Спиридон другой рукой обхватил карточку кругом всеми пятью пальцами за рёбра и, по-разному наклоняя ее к свету окна, стал водить мимо левого глаза, рассматривая как бы по частям.

— Не, — облегченно вздохнул он. — Не видал.

Шикин принял фотокарточку назад.

— Очень плохо, Егоров, — сокрушенно сказал он. — От запирательства будет только хуже для вас. Ну, что ж, садитесь, — он указал на стул подальше. — Разговор у нас долгий, на ногах не прстоишь.

И опять смолк, углубясь в бумаги.

Спиридон, пятясь, отошел к стулу, сел. Шапку сперва положил на соседний стул, но покосился на чистоту этого мягкого, обтянутого кожей стула и переложил шапку на колени. Круглую голову свою он вобрал в плечи, наклонил вперед и всем видом своим выражал раскаяние и покорность.

Про себя же он совсем спокойно думал:

«Ах ты, змей! Ах ты, собака! Когда ж я теперь письмо получу? Да не у тебя ль оно?»

Спиридону, выдавшему в своей жизни и два следствия и одно переследствие, и тысячи арестантов, прошедших следствие, игра Шикина была яснее стеклышка. Однако он знал, что надо притворяться, будто веришь.

— В общем, пришли на вас новые материалы, — тяжело вздохнул Шикин. — В Германии-то вы, оказывается, штучки отка-а-львали!..

— Может, то еще не я! — успокоил его Спиридон. — Нас-то, Егоровых, поверите, гражданин майор, в Германии было, как мух. Даже говорят, генерал один был Егоров!

— Ну, как не вы! как не вы! Спиридон Данилович,

пожалуйста, — ткнул Шикин пальцем в одну папку. — И год рождения, всё.

— И год рождения? Тогда не я, не я! — убежденно говорил Спиридон. — Я-то ведь себе у немцев для спокойя три года прибрёхивал.

— Да! — вспомнил Шикин и лицо его просветлело, и с голоса спала обременительная необходимость вести следствие, и он отодвинул все бумаги. — Пока не забыл. Ты, Егоров, дней десять тому назад, помнишь, токарный станок перетаскивал? С лестницы в подвал.

— Ну-ну, — сказал Спиридон.

— Так вот, трахнули-то вы его где? — еще на лестнице или уже в коридоре?

— Кого? — удивился Спиридон. — Мы не дрались.

— Станок! — кого!

— Да Бог с вами, гражданин майор, — зачем же станок бить? Что он, кому досадил или что?

— Вот я и сам удивляюсь — зачем разбили? Может — обронили?

— Что вы, обронили! Прямо за лапки, с осторожкой, как ребенка малого.

— Да ты-то сам — где держал.

— Я? Отсюдова, значит.

— Откуда?

— Ну, с моей стороны.

— Ну, ты брал — под заднюю бабку или под шпindelь?

— Гражданин майор, я этих бабков не понимаю, я вам так покажу! — Он хлопнул шапку на соседний стул, встал и повернулся, как будто втаскивал станок через дверь в кабинет. — Я, значит, спустёвшись, так? Задом. А их, значит, двое в двери застряли — ну?

— Кто — двое?

— Да шут их знает, я с ими детей не крестил. У меня аж дух загорелся. Стой! — кричу, дай перехвачу! А тюлька-то во!

— Какая тюлька?

— Ну, что не понимаешь? — через плечо, уже сердясь, спросил Спиридон. — Ну, несли которую.

— Станок, что ли?

— Ну, станок! Я — враз и перехвати! Вот так. (Он показал и напрягся, приседая.) Тут один протискался обочь, другой пропихнулся, а втрою — чего не удержать? Фу-у! (Он распрямился.) Да у нас по-без-колхозов не такую тяжесть таскали. Шесть баб на твой станок — золотое дело, версту пронесут. Где твой станок? — пойдем сейчас за потеху подыдем!

— Значит, не уроняли? — угрожающе спросил майор.

— Не ж, говорю!

— Так кто разбил?

— Все ж таки ухайдакали? — поразился Спиридон. — Да-а-а... — Перестав показывать, как несли, он снова сел на свой стул и был весь — внимание.

— С места-то его взяли — целый был?

— Вот, чего не видал — не скажу, могёт и поломанный.

— Ну, а когда ставили — какой был?

— Вот тут уж — целый!

— Да трещина в станине была?

— Никакой трещины не было, — убежденно ответил Спиридон.

— Да как же ты разглядел, черт слепой? Ты же — слепой?

— Я, гражданин майор, по бумажному делу слепой, верно, — а по хозяйству все вижу. Вы вот, и другие граждане офицеры, через двор проходя, окурочки-то разбрасываете, а я все чисто согребаю, хоть со снега белого — а все согребаю. У коменданта спросите.

— Так что вы? станок поставили и специально осматривали?

— А как же? После работы перекур у нас был, не без этого. Похлопали станочек.

— Похлопали? Чем?

— Ну, ладошкой так вот, по боку, как коня горячего. Один инженер еще сказал: «Хорош станочек! Мой дед токарем был — на таком работал».

Шикин вздохнул и взял чистый лист бумаги.

— Очень плохо, что ты и тут не сознаешься, Егоров. Будем писать протокол. Ясно, что станок разбил ты. Если бы не ты — ты бы указал виновника.

Он сказал это голосом уверенным, но внутреннюю уверенность потерял. Хотя господин положения был он, и допрос вел он, а дворник отвечал со всей готовностью и с большими подробностями, но зря пропали первые следовательские часы, и долгое молчание, и фотографии, и игра голоса, и оживленный разговор о станке, — этот рыжий арестант, с лица которого не сходила услужливая улыбка, а плечи так и оставались пригнутыми, — если сразу не поддался, то теперь — тем более.

Про себя Спиридон, еще когда говорил о генерале Егорове, уже прекрасно догадался, что вызвали его не из-за какой Германии, что фотография была т у х т а, к у м т е м н и л, а вызвал именно из-за токарного станка, — вдиви бы было, если б его не вызвали — тех десятерых неделю полную трясли, как груши. И целую жизнь привыкнув обманывать начальство, он и сейчас без труда вступил в эту горькую забаву. Но все эти пустые разговоры ему были, как тёркой по коже. Ему то досаждало, что письмо опять откладывалось. И еще: хоть в кабинете Шикина было сидеть тепло и сухо, но работу во дворе никто не делал за Спиридона, и она вся громоздилась на завтра.

Так шло время, давно отзвенел звонок с перерыва, а Шикин велел Спиридону расписаться об ответственности по статье 95-й за дачу ложных показаний и записывал вопросы и, как мог, искажал в записи ответы Спиридона.

Тогда-то раздался четкий стук в дверь.

Выпроводив Егорова, надоевшего ему своей бестолковостью, Шикин встретил змеистого деловитого

Сиромаху, умевшего всегда в два слова высказать главное.

Сиромаха вошел мягкими быстрыми шагами. Принесенная им потрясающая новость и особое положение Сиромахи среди стукачей шарашки равняли его с майором. Он закрыл за собой дверь и, не давая Шикину взяться за ключ, драматически отклонился. Он играл. Внятно, но так тихо, что никак его нельзя было подслушать сквозь дверь, сообщил:

— Доронин ходит — показывает перевод на сто сорок семь рублей. Провалил Любимичева, Кагана, еще человек пять. Собрались кучкой и ловили во дворе. Доронин — ваш?..

Шикин схватился за воротник и растянул его, высвобождая шею. Глаза его как будто выдавились из глубины. Толстая шея побурела. Он бросился к телефону. Лицо его, всегда превосходяще-самодовольное, сейчас выражало безумие.

Сиромаха не шагами, но как бы мягкими прыжками опередил Шикина и не дал снять телефонной трубки.

— Товарищ майор! — напомнил он (как арестант он не смел сказать «товарищ», но должен был сказать как друг!), — не прямо! не дайте ему приготовиться!

Это была элементарная тюремная истина! — но даже её пришлось напомнить!

Отступая спиной и лавируя, как будто видя мебель позади себя, Сиромаха отошел к двери. Он не спускал глаз с майора.

Шикин выпил воды.

— Я — пойду, товарищ майор? — почти не спросил Сиромаха. — Что узнаю еще — к вечеру или утром.

В растараченные глаза Шикина медленно возвращался смысл.

— Девять грамм ему, гаду! — с сипением вырвались его первые слова. — Оформлю!

Сиромаха беззвучно вышел, как из комнаты больного. Он сделал то, что полагалось по его убеждениям, и не спешил просить о награде.

Он не совсем был уверен, что Шикин останется майором МГБ.

Не только на шарашке Маврино, но во всей истории министерства это был случай чрезвычайный.

Не от самого Шикина, а через дежурного по институту, чей стол стоял в коридоре, было позвонено начальнику Вакуумной лаборатории и велено Доронину немедленно явиться к инженер-полковнику Яконову.

Хотя было четыре часа дня, но в Вакуумной, всегда темной, давно горел верхний свет. Начальник Вакуумной отсутствовал, и трубку взяла Клара. Она позже обычного, только сейчас, пришла на вечернее дежурство, вошла в лабораторию в меховой шапочке и шубке, заговорила с Тamarой, — и хотя Руська не спускал с нее пламенного взгляда — еще ни разу не посмотрела на него. Трубку телефона она взяла рукою в алой перчатке, отвечала в трубку потупясь, а Руська стал за своим насосом, в трех шагах от неё, и впился в её лицо. Он думал, как сегодня вечером, когда все уйдут на ужин, охватит эту дорогую голову. От близости Клары он терял ощущение окружающего.

Она подняла глаза (не искала его, чувствовала, что он здесь) и сказала:

— Ростислав Вадимович! Вас Антон Николаевич вызывает срочно.

Их видели и слышали, и нельзя было сказать иначе, — но глаза ее были уже не те глаза! Их подменили! Какой-то безжизненный туск наплыл на них...

Подчиняясь механически и не думая, что бы мог значить неожиданный вызов к инженер-полковнику, — Руська шел и думал только о ее выражении. Еще

из дверей он обернулся на неё — увидел, что она смотрела ему вслед и тотчас отвела глаза.

Неверные глаза. Испуганно отвела.

Что могло случиться с ней?..

Думая только о ней, он поднялся к дежурному, совсем покинув свою обычную настороженность, совсем забыв готовиться к неожиданным вопросам, к нападению, как того требовала арестантская хитрость, — а дежурный, преградив ему дверь Яконова, показал в углубление черного тамбура на дверь майора Шикина.

Если бы не совет Сирوماхи, если бы Шикин позвонил в Вакуумную сам, — Руська бы сразу ждал худшего, он обежал бы десяток друзей, предупредил, — наконец, он добился бы поговорить с Кларой, узнать, что с ней, унести с собой или восторженную веру в неё или самому освободиться от верности, — а сейчас, перед дверью кума, поздно посетила его догадка. Перед дежурным уже нельзя было колебаться, возвращаться, — чтобы не вызвать подозрения, если его еще нет, — и все-таки Руська повернулся сбежать по лестнице — но на последнюю ступеньку её как раз поднимался вызванный по телефону тюремный дежурный лейтенант Жвакун, бывший палач.

И Руська вошел к Шикину.

Он вошел, за несколько шагов приструняя себя, преобразившись лицом. Тренировкой двух лет жизни под розыском, особой авантюрной гениальностью своей природы, — он безо всякой инерции сломил всю бурю в себе, стремительно перенесся в круг новых мыслей и опасностей — и с выражением мальчишеской ясности, беззаботной готовности, доложил, входя:

— Разрешите? Я вас слушаю, гражданин майор.

Шикин странно сидел, грудью привалясь к столу, одну руку свесивши и как плетью помахивая ею. Он встал навстречу Доронину и этой рукой-плетью снизу вверх ударил его по лицу.

И замахнулся другой! — но Доронин отбежал от двери, стал в оборону. Из рта его сочилась кровь, взбиток белых волос свалился к глазу.

Не дотягиваясь теперь до его лица, коротенький оскаленный Шикин стоял против него и угрожал, брызгая слюной:

— Ах ты, сволочь! Продаешь? Прощайся с жизнью, Иуда! Расстреляем, как собаку! В подвале расстреляем.

Уже два с половиной года, как гуманнейшим из государственных деятелей была навечно отменена смертная казнь. Но ни майор, ни его разоблаченный осведомитель не строили иллюзий: с неугодным человеком что ж было делать, если его не расстрелять?

Руська выглядел дико, лохмато, кровь стекала по подбородку с губы, пухнувшей на глазах.

Однако он выпрямился и нагло ответил:

— Насчет расстрелять — это надо подумать, гражданин майор. По са жу я и вас. Четыре месяца над вами все куры смеются — а вы зарплату получаете? Снимут погончики! Насчет расстрелять — это надо подумать...

УЧЕНИК ЭПИКУРА

Наша способность к подвигу, то есть к поступку чрезвычайному для сил единичного человека, отчасти создается нашей волей, отчасти же, видимо, уже при рождении заложена или не заложена в нас. Тяжелей всего даётся нам подвиг, если он добыт неподготовленным усилием нашей воли. Легче — если был последствием усилия многолетнего, равномерно-направленного.

И с благословенной лёгкостью, если подвиг был для нас естествен и произошёл просто, как вдох и выдох.

Так жил Руська Доронин под всесоюзным розыском — с простотой и детской улыбкой. В его кровь, видимо, от рождения уже был впрыснут пульс риска, жар авантюры.

Но для чистенького благополучного Иннокентия недоступно было бы — скрываться под чужим именем, метаться по стране. Ему даже в голову не могло прийти, что он может что-либо противопоставить своему аресту, если арест назначен.

Он совершил свой подвиг быстрым взлетом чувства — и чувства же бросили его теперь в опустошение, в изнеможение. Когда он звонил, он даже и представить себе не мог, что так вырастет в нём, что так будет разорять и выжигать его страх. (Да ни за что бы он и не звонил, если бы предвидел!)

Лишь на вечере у Макарыгиных Иннокентия отпустило. Он вдруг ощутил недобрую легкость, почти наслаждение от игры с опасностью.

Ночь провел он в забытьи, с женой.

Но тем более сокрушающим был новый удар страха — с утра понедельника, когда надо было через силу опять начинать жить, ехать на работу, с тревогой ловить, не изменились ли взгляды и голоса вокруг него, не таят ли они угрозу.

Он еще держался, сколько мог, с достоинством, но внутри был уже разрушен, у него отнялись все способности сопротивляться, искать выход, спастись.

Еще не было одиннадцати утра, когда секретарша, не допустившая Иннокентия к шефу, сказала, что, как она слышала, назначение Володина задержано заместителем министра.

Новость эта, хотя и не до конца проверенная, так сотрясла Иннокентия, что он не имел даже сил добиваться приема и убедиться в истине. Ничто другое не

могло задержать его уже решенный отъезд! Значит, он раскрыт....

Как-то видя всё потемневшим и плечи чувствуя потяжелевшими, он вернулся в кабинет и только мог сделать одно: запереть дверь на ключ и ключ вынуть (чтоб думали — он вышел). Он мог сделать так потому, что сосед, сидящий за вторым столом, еще не вернулся из командировки.

Всё внутри Иннокентия противно обмякло. Он ждал стука. Было страшно, было раздирающе страшно, что сейчас войдут и арестуют его. Мелькала мысль — не открывать дверей. Пусть ломают.

Или повеситься до того, как войдут.

Или выпрыгнуть из окна. С третьего этажа. Прямо на улицу. Две секунды полёта — и всё разорвалось. И погашено сознание.

На столе лежал пухлый отчет экспертов — задолженность Иннокентия. Прежде, чем уезжать, надо сдать проверенным этот отчет. Но тошно было даже смотреть на него.

В натопленном кабинете казалось холодно, знобко.

Мерзкое внутреннее бессилие! Так и ждать в бездействии своей гибели...

Иннокентий лег на кожаный диван пластом, ничком. Только так, всей длиной своего тела, он принял от дивана род поддержки или успокоения.

Мысли мешались в нем.

Неужели это он? он! — позавчера звонил Доброумову? Да как он осмелился? Откуда у него могло набраться такой отчаянной храбрости?

И зачем звонил?.. Бездарная баба! А кто вы такой? А как вы можете доказать, что скажете правду?..

Не надо было звонить. Жаль — себя. В тридцать лет кончат жизнь.

Нет, он не жалел, что звонил. Очевидно, так надо было. Будто кто-то вел его тогда, и не было страшно.

Не то что не жалел, — а у него не оставалось воли жалеть или не жалеть. Под расслабляющей угрозой он бездыханно лежал, придавленный к дивану, и хотел только, чтобы скорее это всё кончилось, чтобы скорей уж брали его, что ли.

Но счастливым образом никто не стучал, не пробовал потянуть двери. И телефон его не зазвонил ни разу.

Он забылся. Налезали друг на друга давящие неуразные сновидения, распирали голову, чтоб он проснулся. Он просыпался не освеженный, а в еще более разбитом и безвольном состоянии, чем засыпал, измученный тем, что его уже несколько раз то пытались арестовать, то арестовывали. Но подняться с дивана, стряхнуть кошмары, даже пошевелиться — не было сил. И снова его затягивала противная сонная немочь. И в последний раз он заснул, наконец, каменно-крепко, — и проснулся уже при оживлении перерыва в коридоре и ощущая, что из его открытого бесчувственного рта насочилось слюны на диван.

Он встал, отперся, сходил умылся. Разносили чай с бутербродами.

Никто не шел арестовывать. Сотрудники в коридоре, в общей канцелярии встречали его ровно, никто к нему не переменялся.

Впрочем, это ничего и не доказывало. Никто же не мог знать.

Но в обычных взглядах и звуках голоса других людей он почерпнул бодрости. Он попросил девушку принести ему чая погорячей и покрепче и с наслаждением выпил два стакана. Этим еще подбодрился.

А все-таки не было сил пробиваться к шефу и узнавать...

Покончить с собой — это была бы простая мера благоразумия, это было бы просто чувство самосохра-

нения, жалость к самому себе. Но если наверняка знать, что арестуют.

А если нет?

Вдруг позвонил телефон. Иннокентий вздрогнул, сердце его — потом, не сразу, — слышно-слышно застучало.

А оказалась Дотти. Голос ее и по телефону был отчетливо ласков, она говорила с вернувшимися правами жены. Спрашивала, как дела, и предлагала вечером сходить куда-нибудь.

И снова Иннокентий ощутил к ней теплоту и благодарность. Плохая — не плохая жена, а все-таки ближе всех!

Об отмене своего назначения он не сказал. Но он представлял себе, как вечером в театре будет в полной безопасности — ведь не арестуют же прямо при всех в зрительном зале!

— Ну, возьми на что-нибудь веселенькое, — сказал Иннокентий.

— В оперетту, что ли? — спросила Дотти. — «Акулина» какая-то. А так нигде ничего нет. В ЦТКА на малой сцене «Закон Ликурга», премьеры, на большой — «Голос Америки». Во МХАТе — «Незабываемый».

— «Закон Ликурга» слишком заманчиво. Красиво называют всегда самые плохие пьесы. Бери уж на «Акулину», ладно. А потом закатимся в ресторан.

— О кей! о кей! — смеялась и радовалась Дотти в телефон.

(Всю ночь там пробыть, чтоб дома не нашли! Ведь они приходят ночами!)

Постепенно токи воли возвращались к Иннокентию. Ну, хорошо, допустим, на него есть подозрение. Но ведь Щевронок и Заварзин — те прямо связаны со всеми подробностями, на них подозрение должно упасть еще раньше. Подозрение — это еще не доказательство!

Хорошо, допустим — арест угрожает. Но помешать

этому — способов нет. Прятать? Нечего. Так о чем заботиться?

Он уже имел силу прохаживаться и размышлять.

Ну, что ж, даже если арестуют. Может быть, не сегодня и даже не на этой неделе. Перестать ли из-за этого жить? Или наоборот, последние дни — наслаждаться ожесточенно?

И почему он так перепугался? Черт возьми, так остроумно вчера вечером защищал Эпикура — отчего ж не воспользуется им сам? Там, кажется, есть неглупые мысли.

Заодно думая, что надо просмотреть записные книжки, нет ли в них чего уничтожить, и вспоминая, что в старую книжку, кажется, выписывал когда-то Эпикура, он стал листать ее, отодвинув отчет экспертов. И нашел: «Внутренние чувства удовольствия и неудовольствия суть высшие критерии добра и зла».

Рассеянному уму Иннокентия эта мысль не поддалась. Он прочел дальше:

«Смерти боятся лишь потому, что боятся загробных страданий».

Ну, это полная чушь! Смерти боятся потому, что с жизнью расставаться жалко. Натяжка, Учитель!

Иннокентий представил себе сад в Афинах, семидесятилетнего смуглого Эпикура в тунике, поучающего с мраморных ступеней, — а себя перед ним в современном костюме, как-нибудь по-американски развязно сидящим на тумбе.

«Но следует знать, — читал он дальше, — что бессмертия нет. Бессмертия нет — и поэтому смерть для нас — не зло, она просто нас не касается: пока существуем мы — смерти нет, а когда смерть наступит — нет нас».

А это здорово, — откинулся Иннокентий. И кто это, кто это совсем недавно говорил то же самое? Ах, этот парень-фронтовик, вчера на вечере.

«Вера в бессмертие родилась из жажды ненасытных людей, безрассудно пользующихся временем, которое природа отпустила нам. Но мудрый найдет это время достаточным, чтобы обойти весь круг достижимых наслаждений, а когда наступит пора смерти — насыщенному отойти от стола жизни, освобождая место другим гостям. Для мудрого достаточно одной человеческой жизни, а глупый не будет знать, что ему делать и с вечностью».

Блестяще сказано! Но вот беда: если не природа оттаскивает тебя в семьдесят лет от стола, а люди с пистолетами, и — тридцатилетнего?..

«Не должно бояться телесных страданий. Кто знает предел страдания, тот предохранен от страха. Продолжительное страдание — всегда незначительно, сильное — непродолжительно. Мудрый не утратит душевного покоя даже во время пытки. Память вернет ему его прежние чувственные и духовные удовольствия и, вопреки сегодняшнему телесному страданию, восстановит равновесие души».

Иннокентий стал угрюмо ходить по кабинету.

Да, вот чего он боялся — не смерти совсем. Но что, если арестуют, будут мучить его тело.

Эпикур же говорит, что можно победить пытку? О, если бы такая твердость!

Только не находил он её в себе.

А умереть? Не жалко бы, может, и умереть, если бы люди узнали — за что, если бы это воодушевило их самих быть твердыми.

Но нет, никто не узнает, никто не увидит твоей смерти. В подземелье застрелят, как собаку, а «дело» запрут за тысячами замков.

И вместе с этими мыслями нащупывалось, однако, какое-то спокойствие. Самое жестокое отчаяние как будто уже миновало.

Складывая записную книжечку, он прочел напоследок:

«Эпикур отклонял своих учеников от участия в общественной жизни».

Куда как легко! Философствовать. В саду...

Иннокентий запрокинул голову, как птица запрокидывает, чтобы вода через напряженное горло прошла в грудь.

Ну, нет! Ну, нет!

Кружевные стрелки бронзовых часов показывали без пяти четыре.

Смеркалось.

НЕ ПО МОЕЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

В сумерках черный долгий «ЗИМ», проехав распахнутые для него ворота вахты, еще надал на асфальтовых извивах мавринского двора, очищенных широкой лопатой Спиридона и оттаявших дочерна, обогнул стоящую у дома яконовскую «Победу» и с разлету, как вкопанный, остановился у парадных каменных входов.

Адъютант генерал-майора выпрыгнул из передней дверцы и живо отворил заднюю. Тучный Фома Осколупов в сизой, тугой для него шинели и каракулевой генеральской папахе вышел, распрямился и — адъютант распахнул перед ним одну и вторую дверь в здание — озабоченно направился вверх. На первой же площадке за старинными светильниками была отгорожена гардеробная. Служительница выбежала оттуда, готовая принять от генерала шинель (и зная, что он её не сдаст). Он шинели не сдал, шапки не снял, а продолжал подниматься по одному из маршей раздвоенной

лестницы. Несколько эков и мелких вольняшек, проходивших в это время по разным местам лестницы, поспешили исчезнуть. Генерал в каракулевой папаше величественно, но с усилием идти быстрее, как того требовали обстоятельства, поднимался. Адъютант, раздевшийся в гардеробной, нагнал его.

— Пойди найди Ройтмана, — сказал ему через плечо Осколупов, — предупреди: через полчаса приду в новую группу за результатами.

С площадки третьего этажа он не свернул к кабинету Яконова, а пошел в противоположную сторону — к Семерке. Увидевший его в спину дежурный по объекту «сел» на телефон — искать и предупредить Яконова.

В Семерке стоял развал. Не надо было быть специалистом (Осколупов им и не был), чтобы понять, что на ходу нет ничего, все системы, долгими месяцами налаживавшиеся, теперь распаяны, разорваны и разломаны. Венчание клиппера с вокодёрсом началось с того, что обоих новобрачных разнимали по панелям, по блокам, чуть не по конденсаторам. Там и сям возносился дым от канифоли, от папирос, слышалось гудение ручной дрели, деловое переругивание и надрывный крик Мамурина по телефону.

Но и в этом дыму и гуле Сиромаха сразу заметил входившего генерал-майора (входная дверь всегда оставалась в уголке его настроженного зрения). Он тут же бросил паяльник на подставку, метнулся предупредить Мамурина, стоя кричавшего в телефон, подхватил его полумягкое кресло и на цырлах понес его навстречу генералу, ловя указание, куда поставить. У другого человека это могло бы выглядеть подхалимством, но у Сиромахи — благородной услугой молодости пожилому уважаемому человеку. И так он замер в ожидании указаний.

Сиромаха не был ни инженер, ни техник, даже электромонтажником он стал лишь в Семерке, но за

свою постоянную быстроту, преданность, за готовность работать двадцать четыре часа в сутки и выслушивать все соображения и сомнения начальства, он высоко ценился и никогда не был устраним от совещания ведущих. Он соразмерил, что это будет поверней, чем его стукаческая служба. Так он имел большие шансы на освобождение.

Фома Гурьянович сел, не снимая папахи, лишь чуть расстегнув шинель.

В лаборатории всё смолкло, не сверлила больше электрическая дрель, папиросы попригасли, голоса попритихли, и только Бобынин, не выходя из своего закутка, басом давал указания электромонтажникам, да Прянчиков продолжал невменяемо бродить с горячим паяльником вокруг разоренной стойки своего вокодёра. Остальные смотрели и слушали, что скажет начальство.

Отирая пот после трудного разговора по телефону (он спорил с начальником механических мастерских, запоровших каркасные панели), подошел Мамурин и изнеможенно приветствовал своего прежнего друга по работе, а теперь недосыгаемо-высокого начальника (Фома протянул ему три пальца). Мамурин дошел уже до той степени бледности и умирания, когда кажется преступлением, что этого человека выпустили из постели. Много больней, чем его чиновные коллеги, перенес он удары минувших суток — гнев министра и разломку клиппера. Если еще могли утончиться мускульные связки под кожным покровом — они утончились. Если кости человеческие способны терять в весе — они потеряли вес. Больше года Мамурин жил клиппером и верил, что клиппер, как Конёк-Горбунок, вынесет его из беды. Никакое позолочение — приход Прянчикова с вокодёром под кров Семерки, не могло скрыть от него катастрофы.

Фома Гурьянович умел руководить, не овладевая познаниями по руководимому им делу. Он давно усвоил, что для этого надо лишь сталкивать мнения подчиненных — и через то руководить. Так и теперь. Он посмотрел насупленно и спросил:

— Ну, так что? Как дела?

И тем самым вынудил подчиненных высказаться.

Началась никому не нужная, нудная беседа, только отрывавшая от работы. Говорили нехотя, вздыхая, и если заговаривали сразу двое — оба уступали.

Два тона были в этом разговоре: «надо» и «трудно». «Надо» проводил неистовый Маркушев, поддержанный Сиромахой. Маленький прыщеватый деятельный Маркушев горячечно денно и ночно изобретал — как ему прославиться и освободиться по досрочке. Он предложил слияние клиппера и вокодера не потому, что был инженерно уверен в успехе, а потому что при таком слиянии наверняка падало отдельное значение Бобынина и Пряничкова, значение же Маркушева возрастало. И хотя сам он очень не любил работать на дядю, когда не ожидал воспользоваться плодами работ, — сейчас он негодовал, почему его товарищи по Семерке так упали духом. В присутствии Осколупова он косвенным образом жаловался ему на нерадение инженеров.

Он был — человек, то есть из той распространенной породы существ, из которых делают угнетателей себе подобных.

На лице Сиромахи были написаны страдание и вера.

Поникший прозрачно-лимонным лицом в невесомые ладони Мамурин впервые за всё время командования Семеркой — молчал.

Хоробров едва прятал в глазах злорадный блеск. Он больше всех возражал Маркушеву и выпирал трудности.

Осколупов же почему-то особенно упрекал Дырси-на, видя его вину в отсутствии энтузиазма. У Дырси-на, когда он волновался или страдал от несправедливости — почти отнимался голос. Из-за этой невыгодной черты он всегда оказывался виноват.

К середине разговора пришел Яконов и из вежливости стал поддерживать беседу, бессмысленную в присутствии Осколупова. Затем он подозвал Маркуше-ва, и с ним вдвоем на клочке бумаги, на коленях, они стали набрасывать вариант схемы.

Фома Гурьянович охотнее всего пустился бы на хо-рошо ему известную, за годы начальствования разра-ботанную до интонационных подробностей, дорожку разноса и разгрома. Это у него получалось лучше всего. Но он видел, что сейчас разносить — не поможет.

Почувствовал ли Фома Гурьянович, что его беседа не идет на пользу дела, или захотел дохнуть другим воздухом, пока не кончился льготный роковой месяч-ный срок, — но посреди разговора, не дослушав Була-това, он встал и мрачно пошел к выходу, оставив пол-ный состав Семерки терзаться, до чего их нерадивость довела Начальника Отдела.

Верный порядку, Яконов вынужден был тоже встать и понести своё огузлое большое тело вослед папахе, доходившей ему до плеча.

Молча, но уже рядом, они прошли по коридору. За то и не любил Начальник Отдела, чтоб его главный ин-женер шел рядом с ним, — Яконов был выше на голову, причем на свою продолговатую крупную голову.

Сейчас Яконову было не только должно, но и вы-годно рассказать генерал-майору об удивительном, не-предвиденном успехе с шифратором. Он сразу рассеял бы этим ту бычью недоброжелательность, с которой Фома смотрел на него после абакумовского ночного приёма.

Но — чертежа не было в его руках. Удивительное

же умение Сологдина владеть собой, продемонстрированная им готовность ехать умирать, но не отдать чертежа зря — убедили Яконова выполнить данное слово и доложить сегодня ночью Севастьянову, минуя Фому. Конечно, Фому это разъярит, но ему придется быстро смягчиться: победителей не судят. (Да можно будет потом ему приврать, что не было уверенности, получится ли у Сологдина, просто проба.)

Но не только этот простой расчет был у Яконова. Он видел, как Фома насуплен, перепуган за свою судьбу и с удовольствием оставлял его помучиться еще несколько суток. Антон Николаевич испытывал даже инженерную оскорбленность за проект, будто сам его составил. Как верно предвидел Сологдин, Фома непременно навязался бы в соавторы. А теперь, когда узнает, то, даже не взглянув на чертеж главного узла, тотчас распорядится посадить Сологдина в отдельную комнату и затруднить к нему доступ тем, кто должен ему помогать; и вызовет Сологдина и начнет его припугивать и давать жесткие сроки; и потом каждые два часа будет звонить из министерства и подгонять Яконова; и в конце концов будет заноситься, что только благодаря его контролю шифратору дали верный ход.

И так всё это было известно и тошно, что Яконов пока с удовольствием молчал.

Однако, придя в кабинет, он, чего никогда не стал бы при посторонних, помог Осколупову стянуть с себя шинель.

— У тебя Герасимович — что делает? — спросил Фома Гурьянович и сел в кресло Антона, так и не сняв папахи.

Яконов опустил ся в стороне на стул.

— Герасимович? — Да, собственно, он со Стрешневки когда? В октябре, наверно. Ну, и с тех пор телевизор для товарища Сталина делал.

— Вызови-ка его.

Яконов позвонил.

«Стрешневка» была тоже одна из московских шарашек. В последнее время под руководством инженера Бобра в Стрешневке было изготовлено весьма остроумное и полезное приспособление — приставка к обычному городскому телефону. Главное остроумие его состояло в том, что приспособление действовало именно тогда, когда телефон бездействовал, когда трубка покойно лежала на рычагах. Приспособление понравилось, было запущено в производство.

Опережающая мысль начальства (мысль начальства всегда должна опережать) была теперь о других приспособлениях.

В дверь заглянул дежурный:

— Заключенный Герасимович.

— Пусть войдет, — кивнул Яконов. Он сидел особняком от своего стола, в маленьком стуле, и из него почти вываливался вправо и влево.

Герасимович вошел поправляя на носу пенсне, и споткнулся о ковровую дорожку. По сравнению с этими двумя толстыми чинами он казался очень уж узок в плечах и мал.

— По вашему вызову, — сухо сказал он, приблизясь и глядя в стенку между Осколуповым и Яконовым.

— У-гм, — ответил Осколупов. — Садитесь.

Герасимович сел. Он занимал половину сиденья.

— Вы... это... — вспоминал Фома Гурьянович. — Вы... — оптик, Герасимович? В общем не по уху, а по глазу, так, что ли?

— Да.

— И вас это... — Фома поворочал языком, как бы протирая зубы, — вас хвалят. Да.

Он помолчал. Сожмутив один глаз, он стал смотреть на Герасимовича другим:

— Вы последнюю работу Бобра знаете?

— Слышал.

— У-гм. А что мы Бобра представляли к досрочному?

— Не знал.

— Вот, знайте. Вам сколько сидеть осталось?

— Три года.

— До-олго! — удивился Осколупов, будто у него все сидели с месячными сроками. — Ой, до-олго! — (Подбодряя недавно одного новичка, он говорил: «Десять лет? Ерунда! Люди по двадцать пять сидят!») — Вам тоже б досрочку неплохо заработать, а?

Как это странно совпало со вчерашней мольбой Наташи!..

Пересилив себя (ибо никакой улыбки снисхождения он не разрешал себе в разговорах с начальством), Герасимович криво усмехнулся:

— Где ж её возьмешь? В коридоре не валяется.

Фома Гурьянович колыхнулся:

— Хм! На телевизорах, конечно, досрочки не получите! А вот я вас в Стрешневку на днях переведу и назначу вас руководителем проекта. Месяцев за шесть сделаете — и к осени будете дома.

— Какая ж работа, разрешите узнать?

— Да там много работы намечено, только хватай. Задание, прямо вам скажу, самого Лаврентия Павлыча. Есть, например, такая идея: микрофоны вделывать в садовые скамейки, в парках, — там болтают откровенно, чего ни наслушаешься. Но это — не по вашей специальности?

— Нет, это не по моей.

— Но и для вас есть, пожалуйста. Две работы, и та важная и та печёт. И обе прямо по вашей специальности, — ведь так, Антон Николаевич? (Яконов поддакнул головой.) Одно — это ночной фотоаппарат на

этих... как их... ультра-красных лучах. Чтоб значит ночью вот на улице сфотографировать человека, с кем он идет, а он бы и до смерти не знал. За границей уже наметки есть, тут надо только... творчески перенять. Ну, и чтоб в обращении аппарат был попроще. Наши агенты не такие умные, как вы. А второе вот что. Второе вам, наверно, раз плюнуть, а нам — позарез нужно. Простой фотоаппаратик, только такой манёхонький, чтоб его в дверные косяки вделывать. И он бы автоматически, как только дверь откроется, фотографировал бы, кто через дверь проходит. Хотя бы днём, ну, и при электричестве. В темноте уж не надо, ладно. Такой бы аппаратик нам тоже в серийное производство запустить. Ну, как? Возьметесь?

Своим суженым худощавым лицом Герасимович был обернут к окнам и не смотрел на генерал-майора.

В словаре Фомы Гурьяновича не было слова «скорбный». Поэтому он не мог бы назвать, что за выражение установилось на лице Герасимовича.

Да он и не собирался называть. Он ждал ответа.

Это было исполнение молитвы Наташи!..

Её иссушенное лицо со стеклянно-застылыми слезами стояло перед Илларионом.

Впервые за много лет возврат домой своей доступностью, близостью, теплотой обнял сердце.

А сделать надо было только то, что Бобёр: вместо себя посадить за решетку сотню-две доверчивых лопухих вольняшек.

Затрудненно, с препинанием Герасимович спросил:

— А на телевидении... нельзя бы остаться?

— Вы отказываетесь?! — изумился и нахмурился Осколупов. Его лицо особенно легко переходило к выражению сердитости. — По какой же причине?

Все законы жестокой страны зэков говорили Герасимовичу, что преуспевающих, близоруких, не тёртых, не битых вольняшек жалеть было так же странно, как не резать на сало свиней. У вольняшек не было бессмертной души, добываемой зэками в их бесконечных сроках, вольняшки жадно и неумело пользовались отпущенной им свободой, они погрязли в маленьких замыслах, суетных поступках.

А Наташа была подруга всей жизни. Наташа ждала его второй срок. Наташа была на пороге угасания, а с нею угаснет и жизнь Иллариона.

— Зачем — причины? Не могу. Не справлюсь, — очень тихо, очень слабо ответил Герасимович.

Яконов, до этого рассеянный, с любопытством и вниманием взглянул на Герасимовича. Это, кажется, был еще один случай, претендующий на иррациональность. Но всемирный закон «своя рубашка ближе к телу» не мог не сработать и здесь.

— Вы просто отвыкли от серьезных заданий, оттого и робеете, — убеждал Осколупов. — Кто ж, как не вы? Хорошо, я вам дам подумать.

Герасимович небольшою рукою подпёр лоб и молчал.

— Но о чем вам думать? Это прямо по вашей специальности!

Ах, можно было смолчать! Можно было темнить. Как заведено у зэков, можно было принять задание, а потом тянуть резину, не делать. Но Герасимович встал и презрительно посмотрел на брюхастого вислощёкого тупорылого в генеральской папаше.

— Нет! Это не по моей специальности! — звеняще пискнул он. — Сажать людей в тюрьму — не по моей специальности! Я — не ловец человеков! Довольно, что нас посадили...

У ИСТОКОВ НАУКИ

Рубин с утра был еще в тягостной власти спора. Приходили новые и новые аргументы, не досказанные ночью. Но с разворотом дня ему посчастливилось уйти в большое дело, и спор померк.

Это было в совсекретной тихой комнатке на третьем этаже с тяжелыми занавесями по бокам окна и двери, с неновым диваном и плохоньким ковриком. Мягкое глушило звуки, но звуков почти и не было, потому что магнитные ленты Рубин слушал на наушники, а Смолосидов весь день молчал, грубо прорытым лицом насупясь на Рубина как на врага, а не товарища по работе. В свою очередь и Рубин не замечал Смолосидова иначе, как автомат для перестановки кассет с лентами.

Надевая наушники, Рубин слушал и слушал роковой разговор подозреваемых лиц. То он верил ушам, то отчаивался им верить и переходил к фиолетовым извивам звуковидов, напечатанных по всем разговорам. Длинные многометровые бумажные ленты, не помещаясь даже на большом столе, ниспадали белыми скрутками на пол слева и справа. Порывисто брался Рубин за свой альбом с образцами звуковидов, классифицированных то по звукам-«фонемам», то по «основному тону» различных мужских голосов. Цветным красносиним карандашом, уже исписанным до закругленнотупых оконечностей (очинить карандаш был для Рубина труд долгосборный), он размечал особо поразившие его места на лентах.

Рубин был захвачен. Тёмно-карие глаза его казались огненными. Большая нечесанная черная борода была сваляна клочьями, и седой пепел непрерывно куримых трубок и папирос пересыпал бороду, рукава за-

саленного комбинезона с оторванной пуговицей на обшлаге, стол, ленты, кресло, альбом с образцами.

Рубин переживал сейчас тот загадочный душевный подъем, которого еще не объяснили физиологи: забыв о печени, о гипертонических болях, освеженным взлетев из изнурительной ночи, не испытывая голода, хотя последнее, что он ел, было печенье за именинным столом вчера, Рубин находился в состоянии того духовного реянья, когда острое зрение выхватывает гравинки из песка, когда память готовно отдает все, что отлагалось в ней годами.

Он ни разу не спросил, который час. Он один только раз, по приходе, хотел открыть форточку, чтобы возместить себе недостаток свежего воздуха, но Смолосидов хмуро сказал: «Нельзя! У меня насморк», и Рубин подчинился. Ни разу потом во весь день он не встал, не подошел к окну посмотреть, как рыхлел и серел снег под влажным западным ветром. Он не слышал, как стучался Шикин и как Смолосидов не пустил его. Будто в тумане видел он приходившего и уходившего Ройтмана; не оборачиваясь, что-то цедил ему сквозь зубы. В его сознание не вступило, что звонили на обеденный перерыв, потом снова на работу. Инстинкт ээка, свято чтущего ритуал еды, был едва пробужден в нем встряхиванием за плечи всё тем же Ройтманом, показавшим ему на отдельном столике яичницу, вареники со сметаной и компот. Ноздри Рубина вздрогнули. Удивление вытянуло его лицо, но сознание и тут не отразилось на нём. Недоуменно оглядя эту пищу богов, точно пытаясь понять её назначение, он пересел и стал торопливо есть, не ощущая вкуса, стремясь только скорей вернуться к работе.

Рубин не оценил еды, но Ройтману она обошлась гораздо дороже, чем если бы он сервировал её на свои деньги: он два часа «просидел на телефоне», созванивая и согласовывая этот завтрак сперва с отделом спец-

техники, потом с генералом Бульбанюком, потом с тюремным управлением, потом с отделом снабжения и, наконец, с подполковником Климентьевым. Те, кому он звонил, в свою очередь согласовывали вопрос с бухгалтериями и другими лицами. Трудность состояла в том, что Рубин питался по арестантской «третьей» категории, а Ройтман для него на несколько дней, ввиду особо-важного государственного задания, добивался «первой», да еще диетической. После всех согласований тюрьма стала выдвигать организационные возражения: отсутствие запрашиваемых продуктов на складе тюрьмы, отсутствие оплаченного наряда повару на приготовление индивидуального меню.

Теперь Ройтман сидел напротив и смотрел на Рубина, но не как работодатель, ждущий плодов работы раба, а с ласковой усмешкой, как на большого ребенка, восхищаясь, завидуя порыву, ловя момент, как бы вникнуть в смысл его полудневной работы и включиться в неё тоже.

А Рубин всё съел, и на помягчевшее лицо его вернулась осмысленность. В первый раз с утра он улыбнулся:

— Зря вы меня накормили, Адам Веньяминович. *Satur venter non studet libenter*. Главную часть пути путник проходит до обеденного привала.

— Да вы на часы посмотрите, Лев Григорьич! Ведь четверть четвертого!

— Что-о? Я думал — двенадцати нет.

— Лев Григорьич! Я сгораю от любопытства — что вы выяснили?

Это не только не было начальническим требованием, но сказано просительно, как если бы Ройтман боялся, что Рубин откажется поделиться. В минуты, когда душа Ройтмана открывалась, он был очень мил, несмотря на нескладную наружность, на толстые губы, всегда незакрытые из-за полипов в носу.

— Только начало! Только первые выводы, Адам Веньяминович!

— И — какие же?

— О некоторых можно спорить, но один несомнен: в науке фоноскопии, родившейся двадцать шестого декабря тысяча девятьсот сорок девятого года, е с т ь -таки рациональное зерно!!

— А вы — не увлекаетесь, Лев Григорьич? — предостерег Ройтман. Ему не меньше хотелось, чтобы слова Рубина были верны, но, воспитанник точных наук, он знал, что у гуманитариста Рубина энтузиазм может перевесить научную добросовестность.

— А когда вы видели, чтоб я увлекался? — чуть не обиделся Рубин и разгладил склоченную бороду. — Наша почти двухлетняя собирательная работа, все эти звуковые и слоговые анализы русской речи, изучение звуковидов, классификация голосов, учение о национальном, групповом и индивидуальном речевом ладе — всё, что Антон Николаевич считал пустым времяпровождением, — да греха ли таить? иногда и в вас закрадывалось сомнение! — всё это дает теперь свои концентрированные результаты. Надо будет нам сюда Нержина забрать, как вы думаете?

— Если фирма развернется — отчего же? Но пока мы должны доказать свою жизнеспособность и выполнить первое задание.

— Первое задание! Первое задание — это половина всей науки! Не так-то скоро.

— Но... то есть... Лев Григорьич? Неужели вы не понимаете, насколько срочно всё это надо?

О, еще бы он не понимал! «Надо» и «срочно» — на этих словах вырос комсомолец Лёвка Рубин. Это были высшие лозунги тридцатых годов. Не было стали, не было тока, не было хлеба, не было тканей, — но было надо и надо срочно — и воздвигались домны, и запускались блюминги. Потом, перед войной, в благо-

душных ученых изысканиях, окунаясь в неторопливый Восемнадцатый век, Рубин избаловался. Но клич «срочно надо!» конечно же оставался вняттен душе и попираля привычку доделывать работу до конца.

Из окна уже падало мало дневного света. Они зажгли верхний, присели к рабочему столу, рассматривали выделенные на лентах звуковидов синим и красным карандашом образцы, характерные звуки, стыки согласных, интонационные линии. Всё это делали они вдвоем, не обращая внимания на Смолосидова, — он же, за весь день не уйдя из комнаты ни на минуту, сидел у магнитной ленты, сторожа её как хмурый чёрный пес, и смотрел им в затылки, и этот его неотступный тяжёлый взгляд как гвоздь пронизывал их черепа и давил на мозг. Смолосидов лишал их самого маленького, но главного элемента — непринужденности: он был свидетелем их колебаний и он же будет свидетелем их бодрого доклада начальству...

А они попеременно впадали — один в сомненья, другой в уверенность, и наоборот. Ройтмана обуздывала его математичность, но травило вперед его служебное положение. Рубина умеряло незаинтересованное желание породить настоящую новую науку, но рвала вперед выучка пятилеток.

И сложилось так, что оба они признали достаточным список пяти подозреваемых. Они не высказывали дотошных предположений, что надо бы записать на магнитофон тех четырех, которые задержаны у метро Арбат (да и слишком поздно их задержали), и еще тех нескольких, кого на крайний случай обещал Бульбаник. И они отводили предположение, что звонил, может быть, не сам осведомленный в деле человек, а кто-нибудь по его поручению.

Нелегко было охватить и пятерых! Сравнили с преступником пять голосов на слух. Сравнили с преступником пять звуковидных лент.

— А посмотрите, как много дает нам звуковидный анализ! — с горячностью показывал Рубин. — Вы слышите, что в начале преступник говорит не тем голосом, он пытается его менять. Но что изменилось на звуковиде? Только сдвинулась интенсивность по частотам — индивидуальный же речевой лад ничуть не изменился! Вот наше главное открытие — речевой лад! Даже если преступник до конца б говорил измененным голосом — он бы не скрыл своей характерности!

— Но мы еще плохо знаем с вами пределы изменяемости голосов, — упирался Ройтман. — Может быть, в микроинтонациях эти пределы широки.

Если на слух легко было усомниться, где схож голос, где разен, то на звуковидах изменением амплитудно-частотного рисунка разнота выявлялась как будто отчетливей. (Правда, беда была в грубости аппарата видимой речи: он выделял мало частотных каналов, и величину амплитуды передавал неразборчивыми мазками. Но извинением служило то, что его не предназначали для такой ответственной работы.)

Из пяти подозреваемых Заварзина и Сяговитого можно было отвести совершенно уверенно (если вообще будущая наука разрешала делать выводы по единичному разговору). С колебаниями можно было отвести и Петрова (разгорячившийся Рубин отводил и Петрова уверенно). Напротив, голоса Володина и Щевронка подходили к голосу преступника по частоте основного тона, имели с ним одинаковые фонемы: о, р, л, ш и были сходны по индивидуальному речевому ладу.

Вот на этих-то сходных голосах и следовало бы теперь развить науку фоноскопию и отработать её приемы. Только на тонких этих различиях и мог выработаться её будущий чуткий аппарат. С торжеством создателей откинулись к спинкам стульев Рубин и Ройтман. Их мысленный взгляд прозревал ту, подобную дактилоскопической, организацию, которая когда-ни-

будь будет принята: единая фонетика, где записаны звуковиды с голосов всех, однажды заподозренных. Любой преступный разговор записывается, и злоумышленник без колебаний изловлен, как вор, оставивший отпечатки пальцев на дверце сейфа.

Но в это время адъютант Осколупова через щелку предупредил о скором приходе х о з я и н а.

И оба очнулись. Наука наукой, но пока что надо было выработать общий вывод и дружно защищать его перед начальником отдела.

Собственно, Ройтман считал, что достигнутого — уже много. Зная, что начальство не любит гипотез, а любит определенность, Ройтман уступил Рубину, согласился считать голос Петрова вне подозрений и твердо доложить генерал-майору, что на подозрении остались только Щевронок и Володин, на которых в ближайшую пару дней надо провести дополнительное исследование.

— Вообще, Лев Григорьевич, — мечтательно говорил Ройтман, — мы не должны с вами пренебрегать и психологией. Надо все-таки представить себе — что должен быть за человек, решившийся на такой телефонный звонок? что могло им двигать? А затем сравнить с конкретными образами подозреваемых. Надо будет поставить вопрос, чтобы впредь нам, фоноскопистам, давали бы не только голос подозреваемого и его фамилию, но и краткие сведения о его положении, занятии, образе жизни, может быть — даже биографии. Мне кажется, я мог бы сейчас построить некий психологический этюд о нашем преступнике...

Но Рубин, вчера вечером возражавший художнику, что объективное познание свободно от эмоциональной предокраски, сейчас уже излюбил одного из двух подозреваемых и возражал так:

— Я, Адам Веняминович, психологические соображения, конечно, уже перебирал, и они бы склонили чашу весов в сторону Володина — в разговоре с женой

он как-то особенно вял, подавлен, даже в апатии, это очень свойственно преступнику, опасаящемуся преследования, и ничего подобного нет в веселом воскресном щебете Щевронка, я согласен, — но хороши мы будем, если с первых же шагов станем опираться не на объективные данные нашей науки, а на посторонние соображения. У меня уже немалый опыт работы со звуковидами, и вы должны мне поверить: по многим неуловимым признакам я абсолютно уверен, что преступник — Щевронка. Просто за недостатком времени я не смог все эти признаки промерить по ленте измерителем и перевести на язык цифр (на это-то никогда не хватало времени у филолога!). Но если бы меня сейчас взяли за горло и сказали: назови только одно имя и поручись, что именно он — преступник, — я почти без колебаний назвал бы Щевронка!

— Но мы так не станем делать, Лев Григорьевич, — мягко возразил Ройтман. — Давайте поработаем измерителем, давайте переведем на язык цифр — тогда и будем говорить.

— Но ведь это сколько уйдет времени?! Ведь надо же — срочно!

— Но если истина требует?

— Да вы посмотрите сами, посмотрите!.. — и перебирая снова ленты звуковидов и тряся на них новый и новый пепел, Рубин стал запальчиво доказывать виновность Щевронка.

За этим занятием и застал их генерал-майор Осколупов, вошедший медленными властными шагами коротких ног. Все они хорошо его знали и уже по надвинутой папахе и по искривленной верхней губе видели, что он пришел резко недовольным.

Они вскочили, а он сел в угол дивана, руки засунул в карманы и приказно буркнул:

— Ну!

Рубин корректно молчал, предоставляя докладывать Ройтману.

При докладе Ройтмана вислощекое лицо Осколупова осенило глубокомыслие, веки сонно приспустились, и он даже не встал посмотреть предложенные ему образцы лент.

Рубин изнывал при докладе Ройтмана — даже в четких словах этого умного человека он видел утерян-ным то одержание, то наитие, которое вело его в исследовании. Ройтман закончил выводом, что подозреваются Щевронок и Володин, но для окончательного суждения нужны еще новые записи разговоров. После этого он посмотрел на Рубина и сказал:

— Но, кажется, Лев Григорыч хочет что-то добавить или поправить?

Фома Осколупов для Рубина был пень, давно решенный пень. Но сейчас он был также и — государственное око и невольный представитель тех прогрессивных сил, которым Рубин отдавал себя. И поэтому Рубин заговорил волнуясь, потрясая лентами и альбомами звуковидов. Он просил генерала понять, что хотя вывод дан пока и двойственный, но самой науке фоноскопии такая двойственность отнюдь не свойственна, что просто слишком краток был срок для вынесения окончательного суждения, что нужны еще магнитные записи, но что если говорить о личной догадке Рубина, то...

Хозяин слушал уже не сонно, а сморщась брезгливо. И, не дождавшись конца объяснений, перебил:

— Ворожи-ила бабка на бобах! На что мне ваша «наука»? Мне — преступника надо поймать. Докладывайте ответственно: преступник здесь, на столе у вас лежит, это точно? На свободе он не гуляет? Кроме этих пяти?

И смотрел исподлобья. А они стояли перед ним, ни обо что не опершись. Бумажные ленты из опущен-

ных рук Рубина волочились по полу. Черным драконом Смолосидов припал у магнитофона за их спинами.

Рубин смялся. Он ожидал говорить вообще не в этом аспекте.

Ройтман, более привыкший к манере начальства, сказал по возможности отважно:

— Да, Фома Гурьянович. Я, собственно... Мы, собственно... Мы уверены, что — среди этих пяти.

(А что он мог еще сказать?..)

Фома слегка прищурил глаз.

— Да, мы... Да... отвечаем...

Осколупов тяжело поднялся с дивана:

— Смотрите, я за язык не тянул. Сейчас поеду министру доложу. Обоих сукиных сынов арестуем!

(Он так сказал это, враждебно глядя, что можно было понять — именно их-то двоих и арестуют.)

— Подождите, — возразил Рубин. — Ну, еще хоть сутки! Дайте нам возможность обосновать полное доказательство!

— А вот, следствие начнется — пожалуйста, на стол к следователю микрофон — и записывайте их хоть по три часа.

— Но один из них будет невиновен! — воскликнул Рубин.

— Как это — невиновен? — удивился Осколупов и полностью раскрыл зеленые глаза. — Совсем уж ни в чем и не виновен?.. Органы найдут, разберутся.

И вышел, слова доброго не сказав адептам новой науки.

У Осколупова был такой стиль руководства: никого из подчиненных никогда не хвалить — чтобы больше старались. Это был даже не лично его стиль, этот стиль нисходил от С а м о г о .

А все-таки было обидно.

Они сели на те самые стулья, на которых незадолго мечтали о великом будущем зарождающейся науки. И смолкли.

Как будто растоптали всё, что они так ажурно и хрупко построили. Как будто фоноскопия была вовсе и не нужна.

Если вместо одного можно арестовать двух, — то почему и не всех пятерых для верности?

Ройтман внятно почувствовал, как шатка новая группа, вспомнил, что Акустическая наполовину разогнана, — и сегодняшнее ночное ощущение неуютности мира и одинокости в нем опять посетило его.

А Рубин, освобождаясь теперь от инерции работы, почувствовал и косвенное облегчение: простота решения Фомы показывала, что посадил бы и без Рубина, и без фоноскопии. А вот от трех человек он, пожалуй, удар и отвел.

Угасла его непрерывная многочасовая самозабвенная вспышка. И вспомнил он, что печень у него болит, и болит голова, и выпадают волосы, и стареет его жена; и сидеть ему еще больше пяти лет; и последние годы гнут и гнут куда-то не туда — и вот ошельмовали Югославию.

Но они не высказали всего продуманного, а просто сидели и молчали.

И Смолосидов молчал за их затылками.

На стене уже была приколотая Рубиным карта Китая с коммунистической территорией, закрашенной красным карандашом.

Эта карта только и согревала его. Несмотря ни на что, несмотря ни на что — а мы побеждаем...

Постучали и вызвали Ройтмана. Он должен был обеспечить явку вольных сотрудников Акустической на лекцию приезжего лектора. Ведь был понедельник, единственный день политучебы.

НЕТ, НЕ ТЕБЯ!..

Все слушатели лекции крепились простой надеждой — скоро ли отпустят? Все они выехали из дому трамваями, автобусами и электричкой кто в восемь, а кто и в семь часов утра, и не чаяли теперь добраться домой раньше половины десятого.

Но напряженнее их ожидала конца лекции Симочка, хотя она оставалась дежурить и ей не надо было спешить домой. Боязнь и радостное ожидание поднимались и падали в ней горячими волнами, и ноги отнялись, как от шампанского. Ведь сегодня был тот самый вечер понедельника, который она назначила Глебу. Она не могла допустить, чтоб этот торжественный высокий момент жизни произошел врасплох, мимоходом — от того-то позавчера она еще не чувствовала себя готовой. Но весь день вчера и полдня сегодня она провела как перед великим праздником. Она сидела у портнихи, торопя ее окончить новое платье, очень шедшее Симочке. Она сосредоточенно мылась дома, поставив жестяную ванну в московской комнатной тесноте. На ночь она долго завивала волосы, и утром долго развивала их, и всё рассматривала себя в зеркало, ища убедиться, что при иных поворотах головы вполне может нравиться.

Она должна была увидеть Нержина в три часа дня, сразу после перерыва, но Глеб, открыто пренебрегая правилами для заключенных (выговорить ему сегодня за это! надо же беречь себя!), с обеда опоздал. Тем временем Симочку надолго послали в другую группу проинвестировать переписку и приемку деталей, она вернулась в Акустическую уже перед шестью — и опять не застала Глеба, хотя стол его был завален журналами и папками и горела лампа. Так она и ушла на лекцию, не поймав его и не подозревая о страшной новости — о том, что вчера, неожиданно, после годичного перерыва, он ездил на свидание с женой.

Маленькая, легко уместившаяся между стесненными рядами стульев, она не была видна из-за соседней. Со щеками, горящими все больше и больше, она следила за стрелками больших электрических часов. В начале девятого они должны были остаться с Глебом одни...

Когда же лекция кончилась и все повалили на второй этаж к гардеробной, Симочка тоже пошла туда, проводить подруг. Там стоял гам, толкотня, мужчины наспех влезали в шинели и пальто и закуривали на дорогу, девушки балансировали у стен, надевая ботинки. Но как ни торопились подруги Симочки, они нашли время осмотреть и обсудить все подробности ее нового платья.

Коричневое платье это сшито было с пониманием достоинств и недостатков фигуры: верхняя часть его, как бы жакетик, плотно облегал осиную талию, но на груди не был натянут, а собран в неопределенные складки. При переходе же в юбку, чтобы искусственно расширить фигуру, он заканчивался двумя круговыми, чуть вскидывающимися на ходу воланчиками, одним матовым, а другим блестящим. Невесомо тонкие руки Симочки были в рукавах, от плеча волнисто-свободных, но туготой обливающих кисти. И в воротнике была наивно-милая выдумка: он выкроен был отдельно долгой дорожкой той же ткани, и свисающие концы его завязывались на груди бантом, походившим на два крыла серебристо-коричневой бабочки.

В этом мире подозрительности могло показаться странным, что на служебное вечернее дежурство Симочка обновляла платье, сшитое к Новому году. Но Симочка объяснила девушкам, что после дежурства едет на именины к дяде, где будут молодые люди.

Подруги очень одобряли платье, говорили, что она «просто хорошенькая» в нем и спрашивали, где куплен этот креп-сатин.

Решимость покинула Симочку, и она медлила идти в лабораторию.

Только без двух минут восемь с колотящимся сердцем, хотя и взбодренная похвалами, она вошла в Акустическую. Заключенные уже сдавали в стальной шкаф секретные материалы. Через середину комнаты, сиротливо обнаженную после отоски вокодэра в Семерку, она увидела стол Нержина.

Его уже не было. (Не мог он подождать?..) Настольная лампа его была погашена, ребристые шторы стола — защелкнуты, секретные материалы — сданы. Но была одна необычность: центр стола не весь был очищен, как Глеб делал на перерыв, а лежал большой раскрытый американский журнал и раскрытый же словарь. Это могло быть тайным сигналом ей: «скоро приду!»

Заместитель Ройтмана вручил Симочке ключи от секретного шкафа, от комнаты, и печатку (лаборатории печатавались каждую ночь). Симочка опасалась, не пойдет ли Ройтман опять к Рубину, и тогда каждую минуту придется ждать его захода в Акустическую, но нет, и Ройтман был тут же, уже в шинели, шапке и, натянув кожаные перчатки, торопил заместителя одеваться. Он был невесел.

— Ну, что ж, Серафима Витальевна, командуйте. Всего хорошего, — пожелал он напоследок.

По коридорам и комнатам института разнесся долгий электрический звонок. Заключенные дружно уходили на ужин. Не улыбаясь наблюдая за последними уходящими, Симочка прошлась по лаборатории. Когда она не улыбалась, лицо ее выглядело очень строгим, особенно из-за долгонького носа с острым хребетком, лишавшего ее привлекательности.

Она осталась одна.

Теперь он мог прийти!

Она ходила по лаборатории и ломала пальцы.

Надо же было случиться такой неудаче! — шелковые занавески, всегда висевшие на окнах, сегодня сняли в стирку. Три окна остались теперь беззащитно-оголенные, и из черноты двора можно подглядывать, прита-

ясь. Правда, комнату вглубь не увидят — Акустическая в бельэтаже. Но не вдалеке — забор, и прямо против их с Глебом окна — вышка с часовым. Оттуда видно — напролет.

Или тогда потушить весь свет? Дверь будет заперта, всякий подумает — дежурная вышла.

Но если начнут взламывать дверь, подбирать ключи?..

Симочка прошла в Акустическую будку. Она сделала это безотчетно, не связывая с часовым, взгляд которого туда не проникал. На пороге этой тесной каморки она отслонилась к толстой полой двери и закрыла глаза. Ей не хотелось сюда даже войти без него. Ей хотелось, чтоб он ее сюда втянул, внес.

Она слышала от подруг, как все происходит, но представляла смутно, и волнение ее еще увеличивалось, и щеки горели сильнее.

То, что в юности надо было пуще всего хранить, уже превратилось в бремя!..

Да! Она бы очень хотела ребенка и воспитывать его, пока Глеб освободится! Всего только пять годиков!

Она подошла сзади к его вертящемуся гнтому желтому стулу и обняла спинку, как живого человека.

Покосилась в окно. В близкой черноте угадывалась вышка, а на ней — черный сгусток всего, враждебного любви — часовой с винтовкой.

В коридоре послышались твердые быстрые шаги Глеба. Симочка порхнула к своему столу, села, подвинула к себе трехкаскадный усилитель, положенный на стол боком, с обнаженными лампами, и стала его рассматривать, держа маленькую отверточку в руке. Удары сердца отдавались в голову.

Нержин прикрыл дверь негромко — чтобы звук не очень разнесся в безмолвном коридоре. Через опустевший без стоек Пряничкова простор он увидел Симочку еще издали, притаившуюся за своим столом, как перепёлочка за большой кочкой.

Он сам ее так прозвал.

И сам же быстро подходил, чтоб убить одним выстрелом.

Симочка вскинула навстречу Глебу светящийся взгляд — и обмерла: лицо его было сумрачно, не обещало доброго.

До его входа она уверена была: первое, что он сделает, — подойдет поцеловать, а она его остановит — ведь окна открыты, часовой смотрит.

Но он не кинулся вокруг столов, а строго, печально первый сказал:

— Окна открыты, я не подойду, Симочка. Здравствуй! — Опущенными руками он оперся о стол и, стоя, сверху вниз, как прокурор, смотрел на нее. — Если нам не помешают, нам надо сейчас важно переговорить.

— Переговорить?

— Пе-ре-го-во-рить...

Он отпер свой стол. Одна за другой, звонко стукнув, шторы упали. Не глядя на Симочку, деловыми движениями Нержин доставал и разворачивал разные книги, журналы, папки — так хорошо известную ей маскировку.

Симочка замерла с отверткой в руке и неотрывно смотрела на его безглазое лицо. Всё же мысль ее была, что субботний вызов Глеба к Яконову давал теперь злые плоды, его теснят или должны услать скоро. Но тогда почему же он не подойдет и не поцелует?..

— Случилось? Что случилось? — с переломом голоса спросила она и трудно глотнула.

Он сел. Попирая локтями раскрытые журналы, он обхватил растягом пальцев себе голову справа и прямым жестким взглядом посмотрел на девушку.

Стояла глухая тишина. Ни звука не доносилось. Их разделяло два стола — два стола, озаренные четырьмя верхними, двумя настольными лампами и простреливаемые взглядом часового с вышки.

И этот взгляд часового был как завеса колючей проволоки, медленно опускавшаяся между ними.

Глеб сказал:

— Симочка! Я считал бы себя негодяем, если бы сегодня не исповедался тебе.

— ?

— Я как-то... легко с тобой поступал, не задумывался...

— ??

— Я вчера... виделся с женой... Свидание у нас было.

(Свидание??!)

Симочка осела, стала еще меньше. Крыльца ее воротничкового банта бессильно опали на алюминиевую панель усилителя.

— Отчего ж вы... в субботу... не сказали? — переломленным голосом выговорила она.

— Да что ты, Симочка! — ужаснулся Глеб. — Неужели бы я скрыл от тебя?

(А почему бы и нет?..)

— Я узнал вчера рано утром. Это неожиданно получилось. Мы целый год не виделись, ты знаешь. Но теперь, когда мы снова увиделись, после свидания... — его голос звучал мұкой, он понимал, каково ей это слушать. — Я... Только ее! буду любить. И, ты знаешь, она жизнь мне спасла, когда я был в лагерях. И еще — она свою молодость убила для меня. Ты хотела ждать меня, но это невозможно! Я вернусь только к ней. Я не вынес бы причинить ей...

Нержин мог бы остановиться! Тихий выстрел, сделанный хрипловатым голосом, уже попал в цель. Симочка не смотрела на Глеба. Она вся обмякла и ткнулась головой в густой строй радиоламп и конденсаторов трехкаскадного усилителя.

Глеб смолк. Он слышал тихие, как дыханье, всхлипывания.

— Симочка, не плачь! Перепелочка, не надо! —

ласково говорил он через два стола, не шевелясь с места.

А она — почти беззвучно плакала, открыв ему прямой пробор разделенных волос.

Если б он встретил сейчас ее сопротивление, гнев, обвинения — он бы уверенно отвечал и ушел облегченный. Но от ее незащитности — раскаяние простегнуло его.

— Перепелочка! — бормотал он, переклоняясь вперед, через стол. — Ну, не плачь! Ну, я прошу тебя! Я виноват! Я причинил тебе горе! Но какой выход? Что делать?

Ему самому до наворачивающихся слез было жаль плачущую девушку, которую он отпускал страдать. Но совсем, совсем невозможно было представить, чтобы так он заставил плакать Надю!

После вчерашнего свидания губы и руки были чисты, и казалось немислимым сейчас подойти к Симочке, привлечь ее, поцеловать.

Как спасительно было, что сняли с окон занавески!..

И он однообразно повторял жалкие просьбы — не плакать.

А она — плакала...

Нержин еще уговаривал, потом смолк.

А смолкнув, закурил. Средство мужчин, когда находишься в глупом положении.

Будто тихо-тихо зажурчало в нем успокаивающее убеждение, что это — поверхностное, что это — пройдет.

Он отвернулся к окну. Приплюснувшись лбом и носом к стеклу, посмотрел в сторону часового. Ослепленным от близких ламп глазам не было видно вышки, но вдали там и сям виднелись отдельные огни, расплывающиеся в неясные звезды, а за ними и выше — обнимающее треть неба отраженное белесоватое свечение близкой столицы.

Под окном же видно было, что на дворе ведёт, тает. Симочка подняла лицо.

Глеб с готовностью повернулся к ней.

От глаз ее шли по щекам блестящие мокрые дорожки, которых она не вытирала. Глаза ее расширились, лучились страданием и были прекрасны.

Этими светлыми глазами она с неотрывным вопросом смотрела на Глеба.

Но не говорила ни слова.

Ему стало неловко. Он сказал:

— Но ведь она мне всю жизнь отдала! Кто б это мог? Ты уверена, что ты бы — сумела?

— Она с вами — не разводилась? — тихо, отдельно спросила Симочка.

Как почувствовала она самое главное! Но не хотелось признаваться ей во вчерашней новости.

— Нет.

— Она... красива? — еще спросила Симочка, помолчав. Слезы по-прежнему стояли невысохшими на ее нечувствующих щеках.

— Да. Для меня — да...

Симочка резко вздохнула. Кивнула молча сама себе, видя блестящие точки в зеркальных поверхностях радиоламп.

— Так не будет она вас ждать, если красива, — четко, грустно определила она.

Эта женщина, оказавшаяся не призрак, не имя пустое, — зачем она добивалась тюремного свидания? из какой ненасытной жадности она протягивала руку человеку, который никогда не будет ей принадлежать?!

Никаких преимуществ законной жены Симочка не могла признать за этой незримой женщиной. Когда-то жила она немного с Глебом, но это было восемь лет назад. С тех пор Глеб воевал, сидел в тюрьме, а она, конечно, жила с другими — не могла же молодая красивая женщина и без ребенка терпеть восемь лет! И ведь ни на этом свидании, ни через год, ни через два он не мог принадлежать ей, а Симочке — мог. Симочка уже сегодня могла стать его женой!..

— Не будет она вас ждать! — повторила Симочка. Нержина кольнуло ее предсказание.

— Она уже прождала восемь лет!.. — возразил он. Его анализирующий ум тут же, впрочем, исправил: — Конечно, к концу будет трудней.

— Не будет она вас ждать! — шепотом уверенно повторила Симочка.

И кистью руки сняла высыхающие слезы.

Нержин пожал плечами и, глядя в окно на разрозненные желтоватые огни, ответил:

— Что ж, пусть — не будет! Пусть совсем не дождется меня. Только бы ни в чем не могла меня упрекнуть!..

И погасил папиросу.

Симочка снова слышным толчком выдохнула воздух, как бы сжатый, обильно накопившийся в груди.

Она не плакала больше.

Но и не оставалось ей никакого желания — жить...

Сам увлекшись своей последней мыслью, Нержин пояснил:

— Симочка! Я не считаю, что я — хороший человек. Даже — я очень плохой, если вспомнить, что я делал на фронте в Германии, как и все мы делали. И теперь вот с тобой... Но этого я набрался в поверхностно-благополучном мире. То, что плохо, мне не казалось плохим, а — дозволенным, даже похвальным. Но чем ниже я опускался в нечеловечески-жестокий мир, — тем, странным образом, я чутье прислушивался к немногим, кто и там призывает к совести. Она не будет меня ждать? Пусть не ждет! Пусть я умру в красноярской тайге никому не нужным. Но, умирая, зная, что ты не подлец, это тоже ведь удовлетворение.

Он напал на одну из своих любимых мыслей. Он мог бы еще долго об этом говорить — особенно потому, что нечего было говорить другого.

А она почти и не слышала этой проповеди. Он говорил, кажется, все о себе. Но как быть ей? Она с ужасом

представила, как придет домой, сквозь зубы что-то прощедит надоедливой матери, кинется в постель. В постель, в которую месяцы ложилась с мыслями о нем. Какой унижительный стыд! — как она приготавлилась к этому вечеру! Как натиралась, душилась!..

Но если один час стесненного тюремного свидания перевесил их многомесячное соседство здесь — что можно было поделать?

Разговор, конечно, кончился. Все сказано было без подготовки, без смягчения. Надеяться было не на что. Надо было уйти в будку и там еще поплакать и привести себя в порядок.

Но у нее не было сил ни прогнать его, ни уйти самой. Ведь это последний раз между ними тянулась еще какая-то паутинка!

А Глеб смолк, увидев, что она его не слушает, что его высокие выводы ей совсем не нужны.

И еще они сидели молча.

И тогда он ощутил, что сидеть с ней и молчать — ему в тягость. Он уже много лет жил среди мужчин, где объяснения происходили коротко. Если все сказано, все исчерпано — зачем же сидеть и молчать? Бессмысленная женская вязкость! Не шевеля головой, чтоб она не догадалась, он одними глазами, исподлобья, посмотрел на стенные часы. Было только без двадцати пяти девять.

Но невозможно, оскорбительно было бы встать, уйти — и погулять оставшееся время перерыва. Приходилось как-то досиживать тут до звонка на поверку.

Кто сегодня заступит вечером? Кажется, Шустерман. А завтра утром — младшина.

Симочка, сгорбленная, сидела над усилителем, для чего-то вынимая пошатыванием лампы из панельных гнезд и вставляя их опять.

Она и прежде ничего в этом усилителе не понимала. И совсем ничего не понимала теперь.

Однако деятельный ум Нержина требовал какого-

то занятия, движения вперед. На узкой полоске бумаги, поджатой под чернильницу, где он с утра ежедневно записывал программы радиопередач, он прочел:

20.30 — Рс. п и рм (Обх)

Это значило: «Русские песни и романсы в исполнении Обуховой».

Такая редкость! И в тихий час перерыва, когда никто не мешал песнями об Отце и Вожде, о Самом Простом Человеке.

Слева от Глеба, только протянуть руку, стоял приемничек с фиксированной на три московских программы настройкой, подарок Валентули. Но удобно ли включить? А концерт уже идет. В конце века об Обуховой будут вспоминать, как сейчас о Шалапине. А мы — ее современники. Нержин покосился на неподвижную Симочку и воровским движением включил приемник на самую малую громкость.

И только-только разогрелись лампы, как проступил аккомпанемент струнных и вслед за ним просочился на всю тихую комнату — низкий, глуховато-страстный, ни на чей не похожий голос Обуховой:

«Нет, не тебя так пылко я люблю,
Не для меня красы твоей блистанье...»

Надо же было!.. Не придумать нарочно. Нержин шарил сбоку себя рукой, ища незаметно выключить. Симочка вздрогнула, с удивлением посмотрела на приемник.

«...И молодость,
и молодость
Погибшую мою-у!» —

метался голос Обуховой на неповторимых низах.

— Не выключайте, — вдруг попросила Симочка. — Сделайте громче.

Долгим певучим переходом тянула Обухова эти

ю-у-у-у-у и прервалась на мгновение для короткого всплеска отчаяния струнной группы, после чего сразу же в грустном вальсе запела опять:

«Когда порой я на тебя смотрю...»

Громче этот романс Глеб уже не пустит ни за что, но выключить тоже было опоздано. Как досадно получилось! Ну, по какой вероятности попались именно эти слова!..

Симочка положила на усилитель руки ободком, смотрела на приемник и без всхлипываний, без вздрагиваний стала свободно, обильно плакать.

Только когда романс кончился, Глеб сделал громче. Но не лучше был и следующий:

«Ты скоро меня позабудешь».

Симочка плакала и плакала.

Все упреки, которых она ему не высказала, Глеб теперь казнен был выслушать под музыку.

Кончился этот, но и в следующем роковой таинственный голос ранил все в то же и в то же место:

«На прощанье шаль с каймою
Ты на мне узлом свяжи...»

— Прости меня! — потрясенный, сказал Глеб.

— Это — пройдет, — безнадежно улыбнулась Симочка.

И плакала еще сильнее.

Но странно: чем больше Обухова пела, тем становилось не тяжелее, а как будто легче. Десять минут назад они были отчуждены так, что даже попрощаться не было слов. А теперь освежающий и мягкий кто-то сошел к ним и прикоснулся.

И была сейчас Симочка так расположена, так осве-

цена, что, по изменчивости женских лиц, именно теперь казалась привлекательной.

Из десяти мужчин девять подняли бы Глеба на смех за его добровольный, после стольких лет воздержания, отказ. Кто заставлял бы потом жениться на ней? Кто запрещал ему сейчас обмануть ее?

Но, размягченный, он счастлив был, что именно так поступил. Будто не сам он даже и принял это высшее решение.

А Обухова пела и пела, травя сердце:

«Всё немило, всё постыло,
Всё страдаю я по нем...»

Ах, да никакой тут не было теории вероятностей! А просто все песни, тысячу лет назад, сто лет назад или вперед через триста — все они об одном. Песен просит разлука, а когда встречаешься — есть чем заняться другим.

Нержин встал, обошел их сплоченные столы и, вовсе не думая про часового, взял Симочку за голову, нагнулся и поцеловал в волосы у лба.

Стрелка на стенных часах еще перепрыгнула.

— Симочка, милая! Пойди умойся. Сейчас поверка будет. Скоро все придут.

Она вздрогнула, оглянулась на часы, соображая. Потом подняла узкие свои светловатые бровки, будто только теперь с удивлением поняв, что случилось в этот вечер, — и покорно, опущенно отошла в угол к раковине.

А Нержин опять прислонился лбом к стеклу и смотрел и смотрел в черноту ночи. И, как бывает, когда пристально смотришь на бессвязные ночные огни, а думаешь о своем, — огни эти перестали быть огнями московских пригородов, забылось, где они, что они, снизошло на них какое-то новое значение, дополняясь невидимыми контурами.

ДА ОСТАВИТ НАДЕЖДУ ВХОДЯЩИЙ!

День прошел благополучно. Хотя тревога не покидала Иннокентия (и могла еще вырасти к ночи), но и равновесное состояние, завоеванное им после полудня, тоже сохранилось в нем. Теперь надо было на вечер обязательно скрыться в театр, чтобы перестать бояться каждого звонка у дверей.

Но зазвонил телефон. Это было незадолго до театра, когда Дотти, покрасневшая, очень милая, выходила из ванной в резиновой шапочке, мохнатом халате и ваннх босоножках.

Иннокентий стоял и смотрел на телефон, как собака на ежа.

— Дотти! Возьми трубку! Меня нет и не знаешь, когда я буду. Ну их к черту, вечер испортят!

Одной рукою стягивая полы халата, Дотти подошла к телефону.

— Да... Его нет дома... Кто, кто?.. — и вдруг лицо ее преобразилось приветливо. — Здравствуйте, товарищ генерал!.. Да, теперь узнаю... — Шеф! Очень любезен.

Иннокентий заколебался. Любезный шеф, звонящий вечером сам... Жена заметила его колебание:

— Одну минуточку, я слышу дверь открылась, как бы не он. Так и есть! Ини! Не раздевайся, быстро сюда, генерал у телефона!

Хотя Дотнара не училась, как Динэра в юности, на артистку, но весьма естественно могла сыграть в жизни. Какой бы ни стоял по ту сторону телефона закоснелый в подозрениях человек, он по тону Дотнары почти мог видеть, как Иннокентий медлил в дверях, не снять ли галоши, потом решил, пересек ковер и взял трубку.

Голос шефа был благодушен. Шеф сообщал: что окончательно утверждено назначение Иннокентия, в среду он вылетит самолетом в Париж, завтра надо сдать

дела, а сейчас явиться на полчаса для согласования кое-каких деталей. Машина за Иннокентием уже выслана.

Иннокентий положил трубку. Он вдохнул и выдохнул с такой счастливой глубиной и медленностью, что воздух как будто имел время распространиться по всему его телу, а потом выйти весь, опустошая его от тяжести сомнений и страха.

— Представь, Дотик, в среду лечу! А сейчас...

Но Дотик, прислонившая ухо к трубке, уже слышала все и сама.

— Как ты думаешь? — спросила она, смешно держа голову бочком. — «Кое-какие детали» — это и я в том числе?

— Да, м-м-может быть...

— А что ты там вообще говорил обо мне?.. — Она вытянула губки. — Неужели Ини сейчас не возьмет свою козочку в Париж? Козочке очень хочется!

— Конечно, возьму, но только не сейчас. Сейчас я там пока представлюсь, познакомлюсь, устроюсь...

— А козочке хочется сейчас!..

Иннокентий приятно улыбнулся и потрепал ее за плечи:

— Ну, попробую. Раньше разговору не было, теперь как удастся. А пока одевайся, не торопясь. На первый акт мы не попадём, но цельность «Акулины» от этого... А на второй... Да я тебе еще из министерства звякну.

Он едва успел надеть мундир, как в квартиру позвонил шофер. Это не был ни Виктор, обычно возивший его, ни Костя. Шофер был худощавый, подвижный, с приятным интеллигентным лицом. Он весело спускался по лестнице, почти рядом с Иннокентием, вертя на шнурочке ключ зажигания.

— Что-то я вас не помню, — сказал Иннокентий, застегивая на ходу пальто.

— А я даже лестницу вашу помню, два раза за вами приезжал. — У шофера была улыбка открытая и

вместе плутоватая. Такого разбитягу хорошо иметь на собственной машине.

Поехали. Иннокентий сел сзади. Он не слушал, но шофер через плечо раза два пытался пошутить по дороге. Потом вдруг резко вывернул к тротуару и впри-тирку к нему остановился. Какой-то молодой человек в пальто, подогнанном по талии, и мягкой шляпе стоял у края тротуара, подняв палец.

— Механик наш, из гаража, — пояснил симпатичный шофер и стал открывать ему правую переднюю дверцу. Но дверца никак не поддавалась, замок заел.

Шофер выругался в границах городского приличия и попросил:

— Товарищ советник! Нельзя ли ему рядом с вами доехать? Начальник он мой, неудобно.

— Да пожалуйста, — охотно согласился Иннокентий, подвигаясь. Он был в опьянении, в азарте, мысленно захватывая командировку и визу, уходя от опасности.

Механик, закусив сбоку рта длинную дымящую папиросу, пригнулся, вступил в машину, сдержанно-развязно спросил:

— Вы... не возражаете? — и плюхнулся рядом с Иннокентием.

Автомобиль рванул дальше.

Иннокентий на миг скривился от презрения («Хам!»), но ушел опять в свои мысли, мало замечая дорогу.

Пыхтя папиросой, механик задымил уже половину машины.

— Вы бы стекло открыли! — поставил его на место Иннокентий, поднимая одну лишь правую бровь.

Но механик не понял иронии и не открыл стекла, а, развалясь на сиденье, из внутреннего кармана вынул листик, развернул его и протянул Иннокентию:

— Товарищ начальник! Вы не прочтете мне, а? Я вам посвечу.

Автомобиль свернул в какую-то темноватую улицу, вроде как будто Пушечную. Механик зажег карманный фонарик и лучиком его осветил зеленый листик. Пожав плечами, Иннокентий брезгливо взял листик и начал читать небрежно, почти про себя:

«Утверждаю. Зам. Верховного Прокурора СССР...»

Он всё по-прежнему был в кругу своих мыслей и не мог спуститься, понять, что механик? — неграмотный, что ли, или не разбирается в смысле бумаги, или пьян и хочет пооткровенничать.

«Ордер на арест...

читал он, всё еще не вникая в читаемое,

...Володина Иннокентия Артемьевича, 1919...» и только тут как одной большой иглой прокололо всё тело по длине и разлился вар внезапный по телу — Иннокентий раскрыл рот — но еще не издал ни звука — и еще не упала на колени его рука с зеленым листиком, как «механик» впился в его плечо и угрожающе загудел:

— Ну, спокойно, спокойно, не шевелись, придушу здесь!

Фонариком он слепил Володина и бил в лицо его дымом папиросы.

И хотя Иннокентий прочел, что он арестован и это означало провал и конец его жизни, — в короткое мгновение ему были невыносимы только эта наглость, впившиеся пальцы, дым и свет в лицо.

— Пустите! — вскрикнул он, пытаясь своими слабыми пальцами освободиться. До его сознания теперь уже дошло, что это действительно ордер, действительно на его арест, но представлялось несчастным стечением обстоятельств, что он попал в эту машину и пустил «механика» подъехать, — представлялось так, что надо вырваться к шефу в министерство, и арест отменят.

Одной рукой он судорожно дергал ручку левой двери, но и та не поддавалась толчкам, заело и её.

— Шофер! Вы ответите! Что за провокация?! — гневно вскричал он.

— Служу Советскому Союзу, советник! — с озорью отчеканил шофер через плечо.

Повинуясь правилам уличного движения, автомобиль обогнул всю сверкающую Лубянскую площадь, словно делая прощальный круг и давая Иннокентию возможность увидеть в последний раз этот мир и пятиэтажную высоту слившихся зданий Старой и Новой Лубянок, где предстояло ему окончить жизнь.

Скоплялись и прорывались под светофорами вереницы автомобилей, мягко переваливались троллейбусы, гудели автобусы, густыми толпами шли люди — и никто не знал и не видел жертву, у них на глазах влекомую на расправу.

Красный флажок, освещенный из глубины крыши прожектором, трепетал в прорезе колончатой башенки над зданием Старой Большой Лубянки. Две бесчувственные полулежащие каменные наяды с презрением смотрели вниз на маленьких семящих граждан.

Автомобиль прошел вдоль фасада всемирно-знаменитого здания и свернул в Большую Лубянскую улицу.

— Да пустите же! — всё стряхивал с себя Иннокентий пальцы «механика», впившиеся в его плечо у шеи.

Черные железные ворота тотчас растворились, едва автомобиль обернул к ним свой радиатор, и тотчас затворились, едва он проехал их.

Чёрной подворотней автомобиль прошмыгнул во двор.

Рука «механика» ослабла в подъезде. Он вовсе снял её с шеи Иннокентия во дворе. Вылезая через свою дверцу, он деловито сказал:

— Выходим!

И уже ясно стало, что он был совершенно трезв. Через свою незаколотенную дверцу вылез и шофер.

— Выходите! Руки назад! — скомандовал он. В этой ледяной команде кто мог бы угадать недавнего шутника?

Иннокентий вылез из автомобиля-западни правой дверцей, выпрямился и — хотя непонятно было, почему он должен подчиняться — подчинился: взял руки назад.

Арест выглядел грубовато, но совсем не так страшно, как рисуется, когда его ждёшь. Даже наступило успокоение — уже не надо бояться, уже не надо бороться, уже не придумывать ничего. Немотное, приятное успокоение, овладевающее всем телом раненого.

Иннокентий оглянулся на неровно освещенный одним-двумя фонарями и разрозненными окнами этажей дворик. Дворик был — дно колодца, четырьмя стенами зданий уходящего вверх.

— Не оглядываться! — прикрикнул «шофер». — Марш!

Так в затылок друг другу втроем, Иннокентий в середине, минуя равнодушных в форме МГБ, они прошли под низкую арку, по ступенькам спустились в другой дворик — нижний, крытый, темный, из него взяли влево и открыли чистенькую парадную дверь, похожую на дверь в приёмную известного доктора.

За дверью следовал маленький, очень опрятный коридор, залитый электрическим светом. Его новокрашенные полы были вымыты чуть не только что и застелены ковровой дорожкой.

«Шофер» стал странно щёлкать языком, будто призывая собаку. Но никакой собаки не было.

Дальше коридор был перегорожен остекленной дверью с полинялыми занавесками изнутри. Дверь была укреплена обрешеткой из косых прутьев, какая бывает на оградах станционных сквериков. На двери вместо докторской таблички висела надпись:

«Приемная арестованных».

Позвонили — старинным звонком с поворачивающейся ручкой. Немного спустя из-за занавески подглядел, а потом отворил дверь бесстрастный долголицый надзиратель с небесно-голубыми погонами и белыми сержантскими лычками поперек их. «Шофер» взял у «механика» зеленый бланк ордера на арест и показал надзирателю. Тот пробежал его скучающе, как разбуженный сонный аптекарь читает рецепт, — и они вдвоем ушли внутрь.

Иннокентий и «механик» стояли в глубокой тишине перед захлопнутой дверью.

«Приемная арестованных» — напоминала надпись, и смысл ее был такой же, как «Мертвецкая». И Иннокентию даже не до того было, чтобы рассмотреть этого хлюста в узком пальто, который разыгрывал с ним комедию. Может быть, Иннокентий должен был протестовать, кричать, требовать справедливости? — но он забыл даже, что руки держал сложенными назад, и продолжал их так держать. Все мысли затормозились в нем, он загнипнотизированно смотрел на надпись: «Приемная арестованных».

В двери послышался мягкий поворот английского замка. Долголицый надзиратель крикнул им входить и пошел вперед первый, выделывая языком то же призывное собачье щелканье.

Но собаки и тут не было.

Коридор был так же ярко освещен и так же больничному чист.

В стене было две двери, выкрашенные в оливковый цвет. Сержант отпахнул одну из них и сказал:

— Зайдите.

Иннокентий вошел. Он почти не успел рассмотреть, что это была пустая комната с большим грубым столом, парой табуреток и без окна, как «шофер» откуда-то сбоку, а «механик» сзади накинулись на него, в четыре руки обхватили и проворно обшарили все карманы.

— Да что за бандитизм? — слабо закричал Иннокентий. — Кто дал вам право? — Он отбивался немного, но внутреннее сознание, что это совсем не бандитизм и что люди просто выполняют служебную работу, лишала движения его — энергии, а голос — уверенности.

Они сняли с него золотые часы, вытащили две записные книжки, золотую авторучку и носовой платок. Он увидел в их руках еще узкие серебряные погоны и поразился совпадению, что они тоже дипломатические и что число звёздочек на них — такое же, как и у него. Грубые объятия разомкнулись. «Механик» протянул ему носовой платок:

— Возьмите.

— После ваших грязных рук? — визгливо вскрикнул и передёрнулся Иннокентий.

Платок упал на пол.

— На ценности получите квитанцию, — сказал «шофер», и оба ушли поспешно.

Долголицый сержант, напротив, не торопился. Покосясь на пол, он посоветовал:

— Платок — возьмите.

Но Иннокентий не наклонился.

— Да они что? погоны с меня сорвали? — только тут догадался и вскипел он, нащупав, что на плечах мундира под пальто не осталось погонов.

— Руки назад! — равнодушно сказал тогда сержант. — Пройдите!

И защелкал языком.

Но собаки не было.

После излома коридора они оказались ещё в одном коридоре, где по обеим сторонам шли тесно друг к другу небольшие оливковые двери с оваликами зеркальных номеров на них. Между дверьми ходила пожилая истёртая женщина в военной юбке и гимнастерке с такими же небесно-голубыми погонами и такими же белыми сержантскими лычками. Женщина эта, когда

они показались из-за поворота, подглядывала в отверстие одной из дверей. При подходе их она спокойно опустила висячий щиток, закрывающий отверстие, и посмотрела на Иннокентия так, будто он уже сотни раз сегодня тут проходил и ничего удивительного нет, что идёт еще раз. Черты её были мрачные. Она вставила долгий ключ в стальную навесную коробку замка на двери с номером «8», с грохотом отперла дверь и кивнула ему:

— Зайдите.

Иннокентий переступил порог и прежде, чем успел обернуться, спросить объяснения, — дверь позади него затворилась, громкий замок заперся.

Так вот где ему теперь предстояло жить! — день? или месяц? или годы? Нельзя было назвать это помещение комнатой, ни даже камерой — потому что, как приучила нас литература, в камере должно быть хоть маленькое, да оконце и пространство для хождения. А здесь не только ходить, не только лечь, но даже нельзя было сесть свободно. Стояла тумбочка и табуретка, занимая собой почти всю площадь пола. Севши на табуретку, уже нельзя было вольно вытянуть ноги.

Больше не было в камерке ничего. До уровня груди шла масляная оливковая панель, а выше неё — стены и потолок были ярко побелены и ослепительно освещались из-под потолка большой лампочкой ватт на двести, заключенной в проволочную сетку.

Иннокентий сел. Двадцать минут назад он еще обдумывал, как приедет в Париж на свой новый значительный пост. Двадцать минут назад вся его прошлая жизнь казалась ему одним стройным целым, каждое событие её освещалось ровным светом продуманности и спаивалось с другими событиями белыми вспышками удачи. Но прошли эти двадцать минут — и здесь, в тесной маленькой ловушке, вся его прошлая жизнь с той же убедительностью представилась ему нагромождением ошибок, грудой чёрных обломков.

Из коридора не доносилось звуков, только раза два где-то близко отпиралась и запиралась дверь. Каждую минуту отклонялся маленький щиток и через остекленный глазок за Иннокентием наблюдал одинокий пытливым глаз. Дверь была пальца четыре в толщину — и сквозь всю толщу её от глазка шло расширяющееся конусом смотровое отверстие. Иннокентий догадался: оно было сделано так, чтобы нигде в этом застенке арестант не мог бы укрыться от взора надзирателя.

Стало тесно и жарко. Он снял тёплое зимнее пальто, грустно покосился на «мясо» от оторванных с мундира погонов. Не найдя на стенах ни гвоздика, ни малейшего выступа, он положил пальто и шапку на тумбочку.

Странно, но сейчас, когда молния ареста уже ударила в его жизнь, Иннокентий не испытывал страха. Наоборот, заторможенная мысль его опять разрабатывалась и соображала сделанные промахи.

Почему он не прочел ордера до конца? Правильно ли ордер оформлен? Есть ли печать? Виза прокурора? Да, с визы прокурора начиналось. Каким числом ордер подписан? Какое обвинение предъявлено? Знал ли об этом шеф, когда вызывал? Конечно, знал. Значит, вызов был обман? Но зачем такой странный приём, этот спектакль с «шофером» и с «механиком»?

В одном кармане он нащупал что-то твёрдое маленькое. Он вынул. Это был тоненький изящный карандашик, выпавший из петли записной книжки. Иннокентия очень обрадовал этот карандашик: он мог весьма пригодиться! Халтурщики! Здесь, на Лубянке — халтурщики! — обыскивать и то не умеют! Придумывая, куда бы лучше карандашик спрятать, Иннокентий сломал его надвое, просунул обломки по одному в каждый ботинок и пропустил там под ступни.

Ах, какое упущение! — не прочесть в чём его обвиняют! Может быть, арест совсем не связан с этим злополучным телефонным разговором? Может быть,

это ошибка, совпадение? Как же теперь правильно держаться?

Времени еще прошло немного — но уже много раз он слышал равномерное гудение какой-то машины за стеной, противоположной двери в коридор. Гудение то возникало, то стихало. Иннокентию вдруг стало не по себе от простой мысли — какая машина могла быть здесь? Здесь тюрьма, не фабрика, — зачем же машина? Уму сороковых годов, наслышавшемуся о механических способах уничтожения людей, приходило сразу что-то недоброе. Иннокентию мелькнула мысль несуразная и вместе какая-то вполне вероятная: что это — машина для перемалывания костей уже убитых арестантов. Стало страшно.

Да, — тем временем глубоко жалила его мысль, — какое было упущение, какая ошибка! — даже не прочесть до конца ордер, не начать протестовать, не настаивать, что невиновен. Он так послушно покорился аресту, что убедились в его виновности! Как?! как он мог не протестовать? почему не протестовал? Получилось явно, что он ждал ареста, был приготовлен к нему!

Он был пронзен этой роковой ошибкой! Первая мысль была — вскочить, бить руками, ногами, кричать во всё горло, что невиновен, что пусть откроют, — но над этой мыслью тут же выросла другая, более зрелая: что, наверно, этим их не удивишь, что тут часто так стучат и кричат, что его молчание в первые минуты всё равно уже всё запутало.

Ах, как он мог даться так просто в руки! — из своей квартиры, с московских улиц, высокопоставленный дипломат — безо всякого сопротивления и без звука отдался отвести себя и запереть в этом застенке.

Отсюда не вырвешься! О, отсюда не вырвешься!..

А, может быть, шеф его все-таки ждет? Хоть под конвоем, но как прорваться к нему? Как выяснить?

Нет, не ясней, а сложней и запутанней становилось в голове.

Машина за стеной то снова гудела, то замолкала.

Глаза Иннокентия, ослепленные светом, чрезмерно ярким для высокого, но узкого помещения в три кубометра, давно уже искали отдыха на единственном черном квадратике, оживлявшем потолок. Квадратик этот, перекрещенный металлическими прутками, был по всему — отдушина, хотя и неизвестно, куда или откуда ведущая.

И вдруг с отчетливостью представилось ему, что отдушина эта — вовсе не отдушина, что через нее медленно впускается отравленный газ, может быть вырабатываемый вот этой самой гудящей машиной, что газ впускают с той самой минуты, как он заперт здесь, и что ни для чего другого не может быть предназначена такая глухая каморка, с дверью, плотно пригнанной к порогу.

Для того и подсматривают за ним в глазок, чтобы следить, в сознании он еще или уже отравлен.

Так вот почему путаются мысли! — он теряет сознание! Вот почему он уже давно задыхается! Вот почему так бьет в голове!

Втекает газ! бесцветный! без запаха!!

Ужас! извечный животный ужас! — тот самый, что хищников и едомых роднит в одной толпе, бегущей от лесного пожара, — ужас объял Иннокентия и, растеряв все расчеты и мысли другие, он стал бить кулаками и ногами в дверь, зовя живого человека:

— Откройте! Откройте! Я задыхаюсь! Воздуха!

Вот зачем еще глазок был сделан конусом — никак кулак не доставал разбить стекло!

Исступленный немигающий глаз с другой стороны прильнул к стеклу и злорадно смотрел на гибель Иннокентия.

О, это зрелище! — вырванный глаз, глаз без лица,

глаз, всё выражение собравший в себе одним! — и когда он смотрит на твою смерть!..

Не было выхода!..

Иннокентий упал на табуретку.

Газ душил его...

ХРАНИТЬ ВЕЧНО

Вдруг совершенно бесшумно (хотя запиралась с грохотом) дверь растворилась.

Долголицый надзиратель вступил в неширокий раствор двери и уже здесь, в каморке, а не из коридора, угрожающе негромко спросил:

— Вы почему стучите?

У Иннокентия отлегло. Если надзиратель не побоялся сюда войти, значит отравления еще нет.

— Мне дурно! — уже менее уверенно сказал он. — Дайте воды!

— Так вот запомните! — строго внушил надзиратель. — Стучать ни в коем случае нельзя, иначе вас накажут.

— Но если мне плохо? если надо позвать?

— И не разговаривать громко! Если вам нужно позвать, — с тем же равномерным хмурым бесстрашием разъяснил надзиратель, — ждите, когда откроется глазок — и молча поднимите палец.

Он отступил и запер дверь.

Машина за стеной опять заработала и умолкла.

Дверь отворилась, на этот раз с обычным громыанием. Иннокентий начинал понимать: они натренированы были открывать дверь и с шумом и бесшумно, как им было нужно.

Надзиратель подал Иннокентию кружку с водой.

— Слушайте, — принял Иннокентий кружку. — Мне плохо, мне лечь нужно!

— В боксе не положено.

— Где?! Где не положено?! (Ему хотелось поговорить хоть с этим идиолом!)

Но надзиратель уже отступил за дверь и притворил ее.

— Слушайте, позовите начальника! За что меня арестовали? — опомнился Иннокентий.

Дверь заперлась.

Он сказал — в боксе? «В о х» — значит по-английски ящик.

Они цинично называют такую каморку я щ и - к о м? Что ж, это, пожалуй, точно.

Иннокентий отпил немного. Пить сразу перехотелось. Кружечка была граммов на триста, эмалированная, зелененькая, со странным рисунком: кошечка в очках делала вид, что читала книжку, на самом же деле косилась на птичку, дерзко прыгавшую рядом.

Не могло быть, чтоб этот рисунок нарочно подбирался для Лубянки. Но как он подходил! Книжечка та была писанный закон, а воробушком хорохорился вчерашний Иннокентий.

Он даже улыбнулся и от этой кривой улыбки вдруг ощутил всю бездну происшедшего с ним. И от этой же улыбки странная радость — радость крохи бытия, пришла к нему.

Он не поверил бы раньше, что в застенках Лубянки улыбнется в первые же полчаса.

(Хуже было Щевронку в соседнем боксе: того бы сейчас не рассмешила и кошечка).

Потеснив на тумбочке пальто, он поставил туда и кружку.

Загремел замок. Отворилась дверь. В дверь вступил лейтенант с бумагой в руке. За плечом его виделось постное лицо сержанта.

В своем дипломатическом серо-сизом мундире, вышитом золотыми пальмами, Иннокентий развязно поднялся ему навстречу:

— Послушайте, лейтенант, в чем дело? что за недоразумение? Дайте мне ордер, я его не прочел.

— Фамилия? — невыразительно спросил лейтенант, стеклянно глядя на Иннокентия.

— Володин, — уступая, ответил Иннокентий с готовностью выяснить положение.

— Имя, отчество?

— Иннокентий Артемьич.

— Год рождения? — лейтенант сверялся всё время со своей бумагой.

— Тысяча девятьсот девятнадцатый.

— Место рождения?

— Ленинград.

И тут-то, когда впору было разобраться, и советник второго ранга ждал объяснений, лейтенант отступил, и дверь заперлась, едва не прищемив советника.

Иннокентий сел и закрыл глаза. Он начинал чувствовать силу этих механических клещей.

Загудела машина.

Потом замолкла.

Стали приходить в голову разные мелкие и крупные дела, настолько неотложные час назад, что была потягота в ногах — встать и бежать делать их.

Но не только бежать, а сделать в боксе один полный шаг было негде.

Отодвинулся щиток глазка. Иннокентий поднял палец. Дверь открыла та женщина в небесных погонах с тупым тяжелым лицом.

— Мне нужно... это... — выразительно сказал он.

— Руки назад! Пройдите! — повелительно бросила женщина и, повинувшись кивку ее головы, Иннокентий вышел в коридор, где ему показалось теперь, после духоты бокса, приятно-прохладно.

Проведя Иннокентия несколько, женщина кивнула на дверь:

— Сюда!

Иннокентий вошел. Дверь за ним заперли.

Кроме отверстия в полу и двух железных бугорчатых выступов для ног, остальная ничтожная площадь пола и площадь стен маленькой каморки были выложены красноватой метлахской плиткой. В углублении освежительно переплескивалась вода.

Довольный, что хоть здесь отдохнет от непрерывного наблюдения, Иннокентий присел на корточки.

Но что-то шаркнуло по двери с той стороны. Он поднял голову и увидел, что и здесь такой же глазок с коническим раструбом, и что неотступный внимательный глаз следит за ним уже не с перерывами, а непрерывно.

Неприятно смущенный, Иннокентий выпрямился. Он еще не успел поднять пальца о готовности, как дверь растворилась.

— Руки назад. Пройдите! — невозмутимо сказала женщина.

В боксе Иннокентия потянуло узнать, который час. Он бездумно отодвинул обшлаг рукава, но в р е м е н и больше не было.

Он вздохнул и стал рассматривать кошечку на кружке. Ему не дали углубиться в мысли. Дверь отперлась. Еще какой-то новый крупнолицый широкоплечий человек в сером халате поверх гимнастерки спросил:

— Фамилия?

— Я уже отвечал! — возмутился Иннокентий.

— Фамилия? — без выражения, как радист, вызывающий станцию, повторил пришедший.

— Ну, Володин.

— Возьмите вещи. Пройдите, — бесстрастно сказал серый халат.

Иннокентий взял пальто и шапку с тумбочки и

пошел. Ему показано было в ту самую первую комнату, где с него сорвали погоны, отняли часы и записные книжки.

Носового платка на полу уже не было.

— Слушайте, у меня вещи отняли! — пожаловался Иннокентий.

— Разденьтесь! — ответил надзиратель в сером халате.

— Зачем? — поразился Иннокентий.

Надзиратель посмотрел в его глаза простым твердым взглядом.

— Вы — русский? — строго спросил он.

— Да. — Всегда такой находчивый, Иннокентий не нашелся сказать ничего другого.

— Разденьтесь!

— А что?.. не русским — не надо? — уныло сострил он.

Надзиратель каменно молчал, ожидая.

Изобразив презрительную усмешку и пожав плечами, Иннокентий сел на табуретку, разулся, снял мундир и протянул его надзирателю. Даже не придавая мундиру никакого ритуального значения, Иннокентий все-таки уважал свою шитую золотом одежду.

— Бросьте! — сказал серый халат, показывая на пол.

Иннокентий не решался. Надзиратель вырвал у него мышинный мундир из рук, швырнул на пол и отрывисто добавил:

— Догола!

— То есть, как догола?

— Догола!

— Но это совершенно невозможно, товарищ! Ведь здесь же холодно, поймите!

— Вас разденут силой, — предупредил надзиратель.

Иннокентий подумал. Уже на него кидались — и похоже было, что кинутся еще. Поёживаясь от хо-

лода и от омерзения, он снял с себя шелковое белье и сам послушно бросил в ту же кучу.

— Носки снимите!

Сняв носки, Иннокентий стоял теперь на деревянном полу босыми безволосыми ногами, нежно-белыми, как всё его податливое тело.

— Откройте рот! Шире. Скажите «а». Еще раз, длиннее: «а-а-а!» Теперь язык поднимите.

Как покупаемой лошади, оттянув Иннокентию нечистыми руками одну щеку, потом другую, одно подглазье, потом другое и убедившись, что нигде под языком, за щеками и в глазах ничего не спрятано, надзиратель твердым движением запрокинул Иннокентию голову так, что в ноздри ему попадал свет, затем проверил оба уха, оттягивая за раковины, велел распялить пальцы и убедился, что нет ничего между пальцами, еще помахать руками, и убедился, что под мышками также нет ничего. Тогда тем же машинно-неопровержимым голосом он скомандовал:

— Возьмите в руки член. Заверните кожицу. Еще. Так, достаточно. Отведите член вправо вверх, влево вверх. Хорошо, опустите. Станьте ко мне спиной. Расставьте ноги. Шире. Наклонитесь вперед до пола. Ноги — шире. Ягодицы разведите руками. Так. Хорошо. Теперь присядьте на корточки. Быстро! Еще раз!

Думая прежде об аресте, Иннокентий рисовал себе неистовое духовное единоборство. Он был внутренне напряжен, готов к некоему высокому отстаиванию своей судьбы и своих убеждений. Но он никак не представлял себе, что это будет так просто и тупо, так неотклонимо. Люди, которые встретили его на Лубянке, низкопоставленные, ограниченные, были равнодушны к его индивидуальности и к поступку, приведшему его сюда, — зато зорко внимательны к мелочам, к которым Иннокентий не был подготовлен и в которых не мог сопротивляться. Да и что могло бы значить и какой выигрыш принесло бы его сопротивление? Каж-

дый раз по отдельному поводу от него требовали как будто ничтожного пустяка по сравнению с предстоящим ему великим боем — и не стоило даже упираться по такому пустяку, — но вся в совокупности методическая околичность процедуры начисто сламливила волю взятого арестанта.

И вот, снося все унижения, Иннокентий подавленно молчал.

Обыскивающий указал голому Иннокентию перейти ближе к двери и сесть там на табуретке. Казалось немислимым коснуться обнаженной частью тела еще этого нового холодного предмета. Но Иннокентий сел и очень скоро с приятностью обнаружил, что деревянная табуретка стала как бы греть его.

Много острых удовольствий испытал за свою жизнь Иннокентий, но это было новое, никогда не изведенное. Прижав локти к груди и подтянув колени повыше, он почувствовал себя еще теплей.

Так он сидел, а обыскивающий стал у груди его одежды и начал перетряхивать, перещупывать и смотреть на свет. Проявив человечность, он недолго задержал кальсоны и носки. В кальсонах он только тщательно промял, ущип за ущипом, все швы и рубчики и бросил их под ноги Иннокентию. Носки он отстегнул от резиновых держалок, вывернул наизнанку и бросил Иннокентию. Прощупав рубчики и складки нижней сорочки, он бросил к двери и её, так что Иннокентий мог одеться, всё более возвращая телу блаженную теплоту.

Затем обыскивающий достал большой складной нож с грубой деревянной ручкой, раскрыл его и принялся за ботинки. С презрением вышвырнув из ботинок обломки маленького карандаша, он вынул ботинки из галош и стал с сосредоточенным лицом многократно перегибать их подошвы, ища внутри чего-то твердого. Врезав ножом стельку, он действительно, извлек оттуда какой-то кусок стальной полосы и отложил на

стол. Затем он достал шило и проколол им наискось один каблук.

Иннокентий неподвижным взглядом следил за его работой и имел силу подумать, как должно ему надоесть год за годом перещупывать чужое белье, прорезать обувь и заглядывать в задние проходы. Оттого и лицо обыскивающего имело чёрствое неприязненное выражение.

Но эти проблескивающие иронические мысли угасли в Иннокентии от тоскливого ожидания и наблюдения. Обыскивающий стал спарывать с мундира всё золотое шитьё, форменные пуговицы, петлицы. Затем он вспорол подкладку и шарил под ней. Не меньше времени он возился со складками и швами брюк. Еще больше доставило ему хлопот зимнее пальто — там, в глуби ваты, надзирателю слышался, наверно, какой-то неватный шелест (зашитая записка? адреса? ампула с ядом?) — и, вскрыв подкладку, он долго искал в вате, сохраняя выражение столь сосредоточенное и озабоченное, как если б делал операцию на человеческом сердце.

Очень долго, может быть, более часа продолжался обыск. Наконец, поверив, что галоши действительно состоят из цельной, ничем другим внутри не начиненной резины (при перегибах они послушно гнулись так и этак), обыскивающий швырнул под ноги Иннокентию галоши и стал собирать трофеи: подтяжки, резиновые держалки для носков (он еще раньше объявил Иннокентию, что те и другие не разрешается иметь в тюрьме), галстук, брошь от галстука, запонки, кусок стальной полоски, два обломка карандаша, золотое шитьё, все форменные отличия и множество пуговиц. Только тут Иннокентий допоял и оценил разрушительную работу обыскивающего. Не прорезы в подошве, не отпоротая подкладка, не высовывающаяся в подмышечных проймах пальто вата — но отсутствие почти всех пуговиц именно в то время, когда его лишали и под-

тяжек, из всех издевательств этого вечера почему-то особенно поразило Иннокентия.

— Зачем вы срезали пуговицы? — воскликнул он.

— Не положены, — буркнул обыскивающий.

— То есть, как? В чем же я буду ходить?

— Веревочками завяжете, — хмуро ответил тот уже в двери.

— Что за чушь? Какие веревочки? Откуда я их возьму?..

Но дверь захлопнулась и заперлась.

Иннокентий не стал стучать и настаивать: он сообразил, что на пальто и еще кое-где пуговицы оставили, и уже этому надо радоваться.

Он быстро воспитывался здесь.

Не успел он, поддерживая падающую одежду, походить по своему новому помещению, наслаждаясь его простором и разминая ноги, как опять загремел ключ в двери, и вошел новый надзиратель в халате белом, хотя и не первой чистоты. Он посмотрел на Иннокентия как на давно знакомую вещь, всегда находившуюся в этой комнате, и отрывисто приказал:

— Разденьтесь догола!

Иннокентий хотел ответить возмущением, хотел быть грозным, на самом же деле из его перехваченного обидой горла вырвался неубедительный протест каким-то цыплячьим голосом:

— Но ведь я только что раздевался! Неужели не могли предупредить?

Очевидно — не могли, потому что нововошедший невыразительным скучающим взглядом следил, скоро ли будет выполнено приказание.

Во всех здешних больше всего поражала Иннокентия их способность молчать, когда нормально люди отвечают.

И, входя уже в ритм беспрекословного безвольного подчинения, Иннокентий разделся и разулся.

— Сядьте! — показал надзиратель на ту самую

табуретку, на которой Иннокентий уже так долго сидел.

Голый арестант сел покорно, не задумываясь — зачем. (Привычка вольного человека — обдумывать свои поступки прежде, чем их делать, быстро отмирала в нем, так как другие успешно думали за него.) Надзиратель жестко обхватил его голову пальцами за затылок. Холодная режущая плоскость машинки с силой придавилась к его темени.

— Что вы делаете? — вздрогнул Иннокентий, со слабым усилием пытаясь высвободить голову из захвативших ее пальцев. — Кто вам дал право? Я еще не арестован! (Он хотел сказать — обвинение еще не доказано.)

Но парикмахер, всё так же крепко держа его голову, молча продолжал стричь. И вспышка сопротивления, возникшая было в Иннокентии, погасла. Этот гордый молодой дипломат, с таким независимо-небрежным видом сходявший по трапам трансконтинентальных самолетов, с таким рассеянным сощуром смотревший на дневное сияние сновавших вокруг него европейских столиц, — был сейчас голый, квёлый, костистый мужчина с головой, остриженной наполовину.

Мягкие светло-каштановые волосы Иннокентия падали грустными беззвучными хлопьями, как падает снег. Он поймал рукой один клочок и нежно перетер его в пальцах. Он ощутил, что любил себя и свою отходящую жизнь.

Он еще помнил свой вывод: покорность будет истолкована как виновность. Он помнил свое решение сопротивляться, возражать, спорить, требовать прокурора, — но вопреки разуму его волю сковывало сладкое безразличие замерзающего на снегу.

Кончив стричь голову, парикмахер велел встать, по очереди поднять руки и выстриг под мышками. Потом сам присел на корточки и тою же машинкой стал стричь Иннокентию лобок. Это было необычно, очень

щекотно. Иннокентий невольно поёжился, парикмахер прикрикнул.

— Одеваться можно? — спросил Иннокентий, когда процедура окончилась.

Но парикмахер не сказал ни слова и запер дверь.

Хитрость подсказала Иннокентию не спешить одеваться на этот раз. В остриженных нежных местах он испытывал неприятное покалывание. Проводя по непривычной голове (с детства не помнил он себя наголо остриженным), он нащупывал странную короткую щетинку и неровности черепа, о которых не знал.

Всё же он надел белье, а когда стал влезать в брюки — загремел замок, вошел еще новый надзиратель с мясистым фиолетовым носом. В руках он держал большую картонную карточку.

— Фамилия?

— Володин, — уже не сопротивляясь, ответил арестант, хотя ему становилось дурно от этих бессмысленных повторений.

— Имя-отчество?

— Иннокентий Артемьич.

— Год рождения?

— Тысяча девятьсот девятнадцатый.

— Место рождения?

— Ленинград.

— Разденьтесь догола.

Плохо соображая, что происходит, он доразделся. При этом нижняя сорочка его, положенная на край стола, упала на пол — но это не вызвало в нем брезгливости, и он не наклонился за нею.

Надзиратель с фиолетовым носом стал придирчиво осматривать Иннокентия с разных сторон и всё время записывал свои наблюдения в карточке. По большому вниманию к родинкам, к подробностям лица, Иннокентий понял, что записывают его приметы.

Ушел и он.

Иннокентий безучастно сидел на табуретке, не одеваясь.

Опять загремела дверь. Вошла полная черноволосая дама в снежно-белом халате. У нее было надменное грубое лицо и интеллигентные манеры.

Иннокентий очнулся, бросился за кальсонами, чтобы прикрыть наготу. Но женщина окинула его презрительным, совсем не женским взглядом и, выпячивая и без того оттопыренную нижнюю губу, спросила:

— Скажите, у вас — вшей нет?

— Я — дипломат, — обиделся Иннокентий, твердо глядя в ее черные армянские глаза и по-прежнему держа перед собой кальсоны.

— Ну, так что из этого? Какие у вас жалобы?

— За что меня арестовали? Дайте прочесть ордер! Дайте прокурора! — оживясь, зачастил Иннокентий.

— Вас не об этом спрашивают, — устало нахмурилась женщина. — Вен-заболевание отрицаете?

— Что?

— Гонорей, сифилисом, мягким шанкром не болели? Проказой? Туберкулезом? Других жалоб нет?

И ушла, не дожидаясь ответа.

Вошел самый первый надзиратель с долгим лицом. Иннокентий даже с симпатией его встретил, потому что он не издевался над ним и не причинял зла.

— Почему не одеваетесь? — сурово спросил надзиратель. — Оденьтесь быстро.

Не так это было легко? Оставшись запертым, Иннокентий бился, как заставить брюки держаться без помочей и без многих пуговиц. Не имея возможности использовать опыт десятков предыдущих арестантских поколений, Иннокентий принахмурился и решил задачу сам, — как и миллионы его предшественников тоже решили сами. Он догадался, откуда ему достать «веревочки»: брюки в поясе и в ширинке надо было связать шнурками от ботинок. (Только теперь Иннокентий досмотрелся: со шнурков его были сорваны ме-

таллические наконечники. Он не знал, зачем еще это. Лубянские инструкции предполагали, что из таких наконечников арестант может изготовить пилу для перепиливания решеток!)

Полы мундира он уже не связывал.

Сержант, убедясь в глазок, что арестованный одет, отпер дверь, велел взять руки назад и отвел еще в одну комнату. Там был уже знакомый Иннокентию надзиратель с фиолетовым носом.

— Снимите ботинки! — встретил он Иннокентия.

Это не представляло теперь трудности, так как ботинки без шнурков и сами легко спадали (заодно, лишенные резинок, сбивались к ступням и носки).

У стены стоял медицинский измеритель роста с вертикальной белой шкалой. Фиолетовый нос подогнал Иннокентия спиной, опустил ему на макушку передвижную планку и записал рост.

— Можно обуться, — сказал он.

А долголицый в дверях предупредил:

— Руки назад!

Руки назад! — хотя до бокса № 8 было два шага наискосок по коридору.

И снова Иннокентий был заперт в своем боксе.

За стеной всё так же взгуживала и смолкала таинственная машина.

Иннокентий, держа пальто на руках, обессиленно опустился на табуретку. С тех пор, как он попал на Лубянку, он видел только ослепительный электрический свет, близкие тесные стены и равнодушно-молчаливых тюремщиков. Процедуры, одна другой нелепее, казались ему издевательскими. Он не видел, что они составляли логическую осмысленную цепь: предварительный обыск оперативниками, арестовавшими его; установление личности арестованного; прием арестованного (заочно, в канцелярии) под расписку тюремной администрацией; основной приемный тюремный обыск; первая санобработка; запись примет; медицин-

ский осмотр. Процедуры укачали его, они лишили его здравого разума и воли к сопротивлению. Его единственным мучительным желанием было сейчас — спать. Решив, что его пока оставили в покое, не видя, как устроиться иначе, и приобретя за три первых лубяньских часа новые понятия о жизни, он поставил табуретку поверх тумбочки, на пол бросил свое пальто из тонкого драпа с серым каракулевым воротником и лег на него по диагонали бокса. При этом спина его лежала на полу, голова круто поднималась одним углом бокса, а ноги, согнутые в коленях, корчились в другом углу. Но первое мгновение члены еще не затекли — и он ощущал блаженство.

Однако он не успел отойти в обволакивающий сон, как дверь распахнулась с особенным, нарочитым грохотом.

— Встаньте! — прошипела женщина.

Иннокентий едва пошевелил веками.

— Встаньте! Встаньте!! — раздавались над ним заклинания.

— Но если я хочу спать?

— Встаньте!!! — властно и уже громко окрикнула наклонившаяся над ним, как Медуза в сновидении, женщина.

Из своего переломленного положения Иннокентий с трудом поднялся на ноги.

— Так отведите меня, где можно лечь поспать, — вяло сказал он.

— Не положено! — отрубил Медуза в небесных погонах и хлопнула дверью.

Иннокентий прислонился к стене, выждал, пока она долго изучала его в глазок, и еще, и еще раз.

И опять опустил на пальто, воспользовавшись отлучкой Медузы.

И уже сознание его прерывалось, как вновь загрохотала дверь.

Новый, высокий сильный мужчина, который был бы удалым молотобойцем или камнеломом, в белом халате стоял на пороге.

— Фамилия? — спросил он.

— Володин.

— С вещами!

Иннокентий сгреб пальто и шапку и с тусклыми глазами, пошатываясь, пошел за надзирателем. Он был до крайней степени измучен и плохо чувствовал ногами, ровный ли под ним пол. Он не находил в себе сил к движению и готов был бы тут же лечь посреди коридора.

Через какой-то узкий ход, пробитый в толстой стене, его перевели в другой коридор, погрязней, откуда открыли дверь в предбанник и, выдав кусок бельевого мыла величиной меньше спичечной коробки, велели мыться.

Иннокентий долго не решался. Он привык к назеркаленной чистоте ваннх комнат, обложенных кафелем, в этом же деревянном предбаннике, который рядовому человеку показался бы вполне чистым, ему пришлось отвратительно грязно. Он едва выбрал достаточно сухое место на скамье, разделся там, с брезгливостью перешел по мокрым решеткам, по которым было наслезено и босиком и в ботинках. Он с удовольствием бы не раздевался и не мылся вовсе, но дверь предбанника отперлась и молотобоец в белом халате командовал ему идти под душ.

За простой нетюремной тонкой дверью с двумя пустыми неостекленными прорезами была душевая. Над четырьмя решетками, которые Иннокентий тоже определил как грязные, нависали четыре душа, дававших прекрасную горячую и холодную воду, также не оцененную Иннокентием. Четыре душа были предоставлены для одного человека! — но Иннокентий не ощу-

тил никакой радости (если б он знал, что в мире эков чаще моются четыре человека под одним душем, он бы больше оценил свое шестнадцатикратное преимущество!). Выданное ему отвратительное вонючее мыло (за тридцать лет жизни он не держал в руках такого и даже не знал, что такое существует!) он гадливо выбросил еще в предбаннике. Теперь за несколько минут он кое-как отплескался, главным образом смывая волосы после стрижки, в нежных местах коловшие его, — и с ощущением, что он не помылся здесь, а набрался грязи, вернулся одеваться.

Но зря. Лавки предбанника были пусты, вся его великолепная, хотя и обкарнанная одежда унесена, и только галоши со вставленными в них ботинками уткнулись носами под лавку. Наружная дверь была закрыта, глазок закрыт щитком. Иннокентию не оставалось ничего другого, как сесть на лавку обнаженно-скульптурным, подобно роденовскому «Мыслителю», и размышлять, обсыхая.

Затем ему выдали грубое застиранное тюремное белье с черными штампами «Внутренняя тюрьма» на спине и на животе и с такими же штампами вафельную вчетверо сложенную квадратную тряпочку, о которой Иннокентий не сразу догадался, что она считалась полотенцем. Пуговицы на белье были картонно-матерчатые, но и их не хватало; были поворозки, но и те местами оборваны. Кургузые кальсоны оказались Иннокентию коротки, тесны и жали в промежности. Рубаха, наоборот, попалась очень просторная, рукава спускались на пальцы. Обменять белье отказались, так как Иннокентий испортил пару тем, что надел ее.

В полученном нескладном белье Иннокентий еще долго сидел в предбаннике. Ему сказали, что верхняя одежда его в «прожарке». Слово это было новое для Иннокентия. Даже за всю войну, когда страна испещрена была прожарками, — они нигде не стали на его пути. Но бессмысленным издевательством сегодняшней

ночи была вполне под стать и «прожарка» одежды (представлялась какая-то большая адская сковорода).

Иннокентий пытался трезво обдумать свое положение и что ему делать — но мысли путались и мельчались: то об узких кальсонах, то о сковороде, на которой лежал сейчас его китель, то о пристальном глазе, уступая место которому часто отодвигался щиток глазка.

Баня разогнала сон, но истощающая слабость владела им. Хотелось лечь на что-нибудь сухое и нехолодное — и так лежать без движения, возвращая себе истекающие силы. Однако голыми ребрами на влажные угловатые доски скамьи (и доски те были вразгонку, не сплошь) он лечь не решался.

Открылась дверь, но принесли не одежду из прожарки. Рядом с банным надзирателем стояла румяная широколицая девушка в гражданском. Стыдливо прикрывая недостатки своего белья, Иннокентий подошел к порогу. Велев Иннокентию расписаться на копии, девушка передала ему розовую квитанцию о том, что сего 26 декабря Внутренней тюрьмой МГБ СССР приняты от Володина И. А. на хранение: часы желтого металла с крышкой, № часов... № механизма...; автоматическая ручка с отделкой из желтого металла и таким же пером; заколка-брошь для галстука с красным камнем в оправе; запонки синего камня — одна пара.

И опять Иннокентий ждал, поникнув. Наконец, принесли одежду. Пальто вернулось холодное и в сохранности, китель же с брюками и верхняя сорочка — измятые, поблекшие и еще горячие.

— Неужели и мундир не могли сберечь, как пальто? — возмущился Иннокентий.

— Шуба мех имеет. Понимать надо! — наставительно ответил молотобоец.

Даже собственная одежда стала после прожарки противна и чужа. Во всем чужом и неудобном Иннокентий опять отведен был в свой бокс № 8.

Он попросил и жадно выпил две кружки воды всё с тем же изображением кошечки.

Тут к нему пришла еще одна девица и под расписку выдала голубую квитанцию о том, что сего 27-го (уже?..) декабря Внутренней тюрьмой МГБ СССР приняты от Володина И. А. сорочка нижняя шелковая одна, кальсоны шелковые одни, подтяжки брючные и галстук.

Всё так же погуживала таинственная машина.

Оставшись опять запертым, Иннокентий сложил руки на тумбочке, положил на них голову и сделал попытку сидя заснуть.

— Нельзя! — сказал, отперев дверь, новый сменившийся надзиратель.

— Что нельзя?

— Голову класть нельзя!

В путающихся мыслях Иннокентий ждал еще.

Опять принесли квитанцию, уже на белой бумаге, о том, что Внутренней тюрьмой МГБ СССР принято от Володина И. А. 123 (сто двадцать три) рубля.

И снова пришли: лицо опять новое — мужчина в синем халате поверх дорогого коричневого костюма.

Каждый раз, принося квитанцию, спрашивали его фамилию. И теперь спросили всё снова: Фамилия, имя, отчество? Год рождения? Место рождения? — после чего пришедший приказал:

— Слегка!

— Что? — оторопел Иннокентий.

— Ну, слегка, без вещей! Руки назад! — в коридоре все команды подавались вполголоса, чтоб не слышали другие боксы.

Щелкая языком всё для той же невидимой собаки, мужчина в коричневом костюме провел Иннокентия через главную выходную дверь еще каким-то коридором в большую комнату уже не тюремного типа — со шторами, задернутыми на окнах, с мягкой мебелью,

письменными столами. Посреди комнаты Иннокентия посадили на стул. Он понял, что его сейчас будут допрашивать.

Но вместо этого из-за портьеры выкатили полированный коричневый ящик фотокамеры, с двух сторон включили на Иннокентия яркий свет, сфотографировали его один раз в лоб, другой раз в профиль.

Приведший Иннокентия начальник, беря поочередно каждый палец его правой руки, вываливал его мякотью о липкий черный валик, как бы обмазанный штемпельною краской, отчего все пять пальцев стали черными на концах. Затем, равномерно раздвинув пальцы Иннокентия, мужчина в синем халате с силой прижал их к бланку и оторвал резко. Пять черных отпечатков с белыми извилинами остались на бланке.

Еще так же измазали и отпечатали пальцы левой руки.

Выше отпечатков на бланке было написано

Володин Иннокентий Артемьевич, 1919, г. Ленинград,

а еще выше — жирными черными типографскими знаками:

Х Р А Н И Т Ь В Е Ч Н О !

Прочтя эту формулу, Иннокентий содрогнулся. Что-то мистическое было в ней, что-то выше человечества и Земли.

Мылом, щеточкой и холодной водой ему дали оттирать пальцы над раковиной. Липкая краска плохо поддавалась этим средствам, холодная вода скатывалась с нее. Иннокентий сосредоточенно тер намыленной щеткой кончики пальцев и не спрашивал себя, насколько логично, что баня была до снятия отпечатков.

Его неустоявшийся измученный мозг охватила эта подавляющая космическая формула:

Х Р А Н И Т Ь В Е Ч Н О !

ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ

Никогда в жизни Иннокентия не было такой протяжной бесконечной ночи. Он всю напролет ее не спал, и так много самых разных мыслей протолпилось сквозь его голову за эту ночь, как в обыденной спокойной жизни не бывает за месяц. Был простор поразмыслить и во время долгого спарывания золотого шитья с дипломатического мундира, и во время полуголого сидения в бане, и во многих боксах, смененных за ночь.

Его поразила верность эпитафии: «Хранить вечно».

В самом деле, докажут или не докажут, что по телефону говорил именно он (очевидно, все-таки, разговор был подслушан), — но, раз арестовав, его отсюда уже не выпустят. Лапу Сталина он знал — она никого не возвращала к жизни. Впереди было хорошо, если просто лагерь, а то, по положению его, какой-нибудь приспособленный монастырь, где запретят днем сидеть, годами говорить — и никто никогда не узнает о нем, и сам он не будет знать ни о чем в мире, хотя бы целые континенты меняли флаги или высадились бы люди на Луне. Безгласных узников можно и перестрелять в одиночках. Бывало...

Но разве он боится смерти?

С вечера Иннокентий был рад всякому мелкому событию, всякому открыванию двери, нарушающему его одиночество, его непривычное сидение в западне. Сейчас, наоборот, — хотелось додумать некую важную, еще не уловленную им мысль — и он рад был, что его отвели в прежний бокс и долго не беспокоили, хотя непрерывно подсматривали в глазок.

Вдруг будто снялась тонкая пелена с мозга, — и отчетливо само проступило, что он думал и читал днем:

«Вера в бессмертие родилась из жажды ненасытных людей. Мудрый найдет срок нашей жизни достаточным, чтоб обойти весь круг достижимых наслаждений...»

Ах, разве о наслаждениях речь! Вот у него были деньги, костюмы, почет, женщины, вино, путешествия — но все эти наслаждения он бы швырнул сейчас в преисподнюю за одну только справедливость.

И других, как он, не известных ни в лицо, ни по имени — сколько их было здесь, за кирпичными перегородками этого здания! И как обидно умереть, не обменявшись с ними умом и душой!

Хорошо сочинять философию под развесистыми ветками в недвижímые, застойно-благополучные эпохи!

Сейчас, когда не было карандаша и записной книжки, тем дороже ему казалось всё, что выплывало из тьмы памяти. Явственно вспомнилось:

«Не должно бояться телесных страданий. — Продолжительное страдание всегда незначительно, значительное — непродолжительно».

Вот, например, без сна, без воздуха сидеть сутки в таком боксе, где нельзя распрямить, вытянуть ног, это какое страдание — продолжительное или непродолжительное? незначительное или значительное? Или — десять лет в одиночке и ни слова вслух?..

Там, в комнате фотографии и дактилоскопии, Иннокентий заметил, что шел второй час ночи. Сейчас может быть уже и третий. Вздорная мысль теперь вклинилась в голову, вытесняя серьезные: его часы положили в камеру хранения, до конца завода они еще будут идти, потом остановятся — и никто больше не будет их заводить, и с этим положением стрелок они дождутся или смерти хозяина или конфискации себя в числе всего имущества. Интересно, сколько ж они будут тогда показывать?

А Дотти ждет его в оперетту? Ждала... Звонила в министерство? Скорей всего, что нет: сразу же явились к ней с обыском. Огромная квартира! Там пятерым человекам не переворочить за ночь. А что найдут, дураки?..

Дотти возьмет развод, выйдет замуж.

Тестя останоят по службе — пятно! То-то будет плеваться, отмежевываться!

Все, кто знал советника Володина, верноподданно вычеркнут его из памяти.

Глухая громада задавит его — и никто на земле никогда не узнает конца его судьбы.

А ведь хотелось бы дожить и увидеть — как это будет? Всё на Земле сольется. «Пройдет вражда племен». Исчезнут государственные границы, армии. Созовут мировой парламент. Изберут президента планеты. Он обнажит голову перед человечеством и скажет:

— С вещами!

— А?..

— С вещами!

— С какими вещами?

— Ну, с барахлом.

Иннокентий поднялся, держа в руках пальто и шапку, особо милые ему теперь за то, что не попорчены были в прожарке. В раствор двери, отклоняя коридорного, проник смуглый лихой (где набирали этих гвардейцев? для каких тягот?) старшина с голубыми погонами и, сверяясь с бумажкой, спросил:

— Фамилия?

— Володин.

— Имя-отчество?

— Сколько раз можно?

— Имя-отчество!

— Иннокентий Артемьич.

- Год рождения?
- Девятьсот девятнадцатый.
- Место рождения?
- Ленинград.
- С вещами. Пройдите!

И пошел вперед, условно щелкая.

На этот раз они вышли во двор, в черноте крытого двора опустились еще на несколько ступенек. Не ведут ли расстреливать? — вступила мысль. Говорят, расстреливают всегда в подвалах и всегда ночью.

В эту трудную минуту пришло такое спасительное возражение: а зачем бы тогда выдавали три квитанции? Нет, не расстрел!

(Иннокентий еще верил в мудрую согласованность всех щупалец друг с другом!)

Всё так же щелкая языком, лихой старшина завел его в здание и через темный тамбур вывел к лифту. Какая-то женщина с кипой выглаженного серовато-желтоватого белья стояла сбоку и смотрела, как Иннокентия вводили в лифт. И хотя эта молодая прачка была некрасива, низка по общественному положению и смотрела на Иннокентия тем же непроницаемым, равнодушно-каменным взглядом, как и все механические кукло-люди Лубянки, но Иннокентию при ней, как и при девушках из камер хранения, приносивших розовую, голубую и белую квитанции, стало больно, что она видит его в таком растерзанном и жалком состоянии и может подумать о нем с нелестным сожалением.

Впрочем, и эта мысль исчезла так же быстро, как и пришла: всё равно, ведь, — «хранить вечно!»...

Старшина закрыл лифт и нажал кнопку этажа — но номеров этажей не было обозначено.

Едва загудели моторы лифта — Иннокентий сразу узнал в этом гудении ту таинственную машину, которая перемалывала кости за стеной его бокса.

И улыбнулся безрадостно.

Хотя эта приятная ошибка теперь ободрила его.

Лифт остановился. Старшина вывел Иннокентия на лестничную площадку и сразу же в широкий коридор, где мелькало много надзирателей с небесными погонами и белыми лычками. Один из них запер Иннокентия в бокс без номера, на этот раз просторный, с десяток квадратных метров, неярко освещенный, со стенами, сплошь выкрашенными оливковой масляной краской. Бокс этот или камера вся была пуста, казалась не очень чистой, в ней был истертый цементный пол, и в стену вделана в одном месте деревянная неширокая лавка, достаточная, чтобы на нее село рядом трое. В боксе было к тому же и прохладно, это усиливало общую неприятность. Был и здесь глазок, но щиток на нем отодвигался не так часто.

Снаружи сдержанно доносилось частое шарканье сапог по полу. Видимо, непрерывно приходили и уходили: внутренняя тюрьма жила большой ночной жизнью.

Раньше Иннокентий думал, что будет постоянно помещен в тесном, ослепительном, жарком боксе № 8 и терзался оттого, что там негде протянуть ног, свет режет глаза и дышать тяжело. Теперь он понял свою ошибку, понял, что будет жить в этом просторном неприятном безномерном боксе, — и страдал, что ноги будут зябнуть от цементного пола, постоянное снование и шарканье за дверьми будет раздражать, а недостаток света — угнетать. Как здесь необходимо окно! — хоть самое бы маленькое, хоть такое, какое устраивают в оперных декорациях тюремных подвалов, — но и его не было.

Сколько угодно можно было слушать об этом рассказы, читать мемуары — и нельзя было себе этого представить: коридоры, лестницы, множество дверей, ходят офицеры, сержанты, обслуга, снует в разгаре ночи Большая Лубянка, но нигде нет больше ни одного аре-

станта, нельзя встретить себе подобного, нельзя услышать неслужебного слова, да и служебных почти не говорят. И кажется, что всё огромное министерство не спит в эту ночь из-за одного тебя, одним тобою и твоим преступлением занято.

Уничтожающая идея первых часов тюрьмы состоит в том, чтобы отобщить узника от других арестантов, чтобы никто не подбодрил его, чтобы на него одного давила система, поддерживающая весь разветвленный, многотысячный аппарат.

Мысли Иннокентия приняли страдательное направление. Телефонный звонок, еще позавчера казавшийся ему великодушным поступком, сейчас ясно представлялся необдуманым, бесцельным самоубийством.

Теперь было где походить по боксу, но у истомленного, изведенного процедурами Иннокентия не было на это сил. Он прошелся раза два, сел на лавку и плетью опустил руки мимо ног.

Сколько великих, безвестных потомству намерений погребали в себе эти стены, запирали в себе эти боксы!

Проклятая, проклятая чувствительность... Это сегодня бы или завтра Иннокентий вылетел в Париж, и думать бы забыл о том бедняге, которого хотел спасти и всё равно не спас.

И когда он представил себе не поездку вообще, а именно в эти наступающие сутки, — у него перехватило дух от головокружительной недостижимости свободы. Впору было стены камеры царапать ногтями, чтобы дать выход досаде!

Но от этого нарушения тюремных правил его предохранило открытие двери. Снова проверили его «установочные данные», на что Иннокентий отвечал как во сне, и велели выйти «с вещами». Так как Иннокентий несколько озяб в боксе, то шапка была у него на голове, а пальто наброшено на плечи. Он так и хотел вый-

ти, не ведая, что это давало ему возможность нести под пальто два заряженных пистолета или два кинжала. Ему скомандовали надеть пальто в рукава и лишь таким образом обнажившиеся кисти рук взять за спину.

Опять защелкали языком, повели на ту лестницу, где ходил лифт, и по лестнице вниз. Самое интересное в положении Иннокентия было запомнить, сколько поворотов он сделал, сколько шагов, чтобы потом, на досуге понять расположение тюрьмы. Но в ощущении мира в нем совершился такой передвиг, что шел он в бесчувствии и не заметил, на много ли они спустились, — как вдруг из какого-то еще коридора навстречу им показался другой рослый надзиратель, так же напряженно щелкающий, как и тот, что шел перед Иннокентием. Надзиратель, ведущий Иннокентия, порывисто отворил дверь зеленой фанерной будки, неуклюже загромождавшей и без того тесную площадку, затолкнул туда Иннокентия и притворил собою дверцу. Внутри было только-только где стать и шел рассеянный свет с потолка: будка, оказалось, не имела крыши и туда попадал свет лестничной клетки.

Естественным человеческим порывом было бы — громко протестовать, но Иннокентий, уже привыкая к непонятным передрягам и втягиваясь в Лубянскую молчанку, был безмолвно покорен, то есть, делал то самое, что и требовалось в тюрьме.

Ах, вот отчего, наверно, все на Лубянке щелкали: этим предупреждали, что ведут арестованного. Нельзя было арестанту встретиться с арестантом! Нельзя было в его глазах черпнуть себе поддержки!..

Т о г о , другого, провели — Иннокентия выпустили из будки и повели дальше.

И здесь-то, на ступеньках последнего пройденного марша, Иннокентий заметил: как были стерты ступени! — ничего похожего нигде за всю жизнь он не

видел. От краев к середине они были вытерты овальными ямами на половину толщины.

Он содрогнулся: за тридцать лет сколько ног! сколько раз! должны были здесь прошаркать, чтобы так истереть камень! И из каждых двух шедших один был надзиратель, а другой — арестант.

На площадке этажа была запертая дверь с обрешеченной форточкой, плотно закрытой. Здесь Иннокентия постигла еще новая участь — быть поставленным лицом к стене. Всё же краем глаза он видел, как сопровождающий позвонил в электрический звонок, как сперва недоверчиво открылась, потом закрылась форточка. Затем громкими поворотами ключа отперлась дверь, и некто вышедший, не видимый Иннокентию, стал его спрашивать:

— Фамилия?

Иннокентий естественно оглянулся, как привыкли люди смотреть друг на друга при разговоре, — и успел разглядеть какое-то не мужское и не женское лицо, пухлое, мягкомягое, с большим красным пятном от обвара, а пониже лица — золотые погоны лейтенанта. Но тот одновременно крикнул на Иннокентия:

— Не оборачиваться!

И продолжал всё те же надоевшие вопросы, на которые Иннокентий отвечал куску белой штукатурки перед собой.

Убедившись, что арестант продолжает выдавать себя за того, кто обозначен в карточке, и продолжает помнить свой год и место рождения, мягкомясы́й лейтенант сам позвонил в дверь, из осторожности тем временем запертую за ним. Снова недоверчиво оттянули форточный задвиг, в отверстие посмотрели, форточку задвинули и громкими поворотами ключа отперли дверь.

— Пройдите! — резко сказал мягкомясы́й красно-обваренный лейтенант.

Они вступили внутрь — и дверь за ними громкими поворотами заперлась.

Иннокентий едва успел увидеть расходящийся на трое — вперед, вправо и влево — сумрачный коридор со многими дверьми и слева у входа — стол, шкафчик с гнездами и еще новых надзирателей, как лейтенант негромко, но очень явственно скомандовал ему в тишине:

— Лицом к стене! Не двигаться!

Глупейшее состояние — близко смотреть на границу оливковой панели и белой штукатурки, чувствуя на затылке своем несколько пар враждебных глаз!..

Очевидно, разбирались с его карточкой, потом лейтенант скомандовал почти шепотом, ясным в глубокой тишине:

— В третий бокс!

От стола отделился надзиратель и, ничуть не звеня ключами, пошел по холстяной дорожке правого коридора.

— Руки назад! Пройдите! — очень тихо обронил он.

По одну сторону их хода шла та же равнодушная оливковая стена в три поворота, с другой минуло несколько дверей, на которых висели зеркальные овалы-ки номеров:

«47»

«48»

«49»,

а под ними — навесы, закрывающие глазки. С теплотой от того, что так близко — друзья, Иннокентий ощутил желание отодвинуть навесик, прильнуть на миг к глазку, посмотреть на замкнутую жизнь камеры, — но надзиратель быстро увлекал вперед, а главное — Иннокентий уже успел проникнуться тюремным повиновением, хотя чего еще можно было бояться потерянного человеку?

Несчастливым образом для людей и счастливым образом для властителей, человек устроен так, что, пока жив, у него всегда есть еще, что отнять. Даже пожиз-

ненно-заключенного, лишённого движения, неба, семьи и имущества, можно, например, ещё перевести в мокрый карцер, лишить горячей пищи, бить палками — и эти мелкие последние наказания так же чувствительны человеку, как прежнее низвержение с высоты свободы и преуспевания. И, чтобы избежать этих досадных последних наказаний, арестант равномерно выполняет ненавистный ему, унижительный тюремный режим, медленно убивающий в нем человека.

Двери за поворотом пошли тесно одна к другой, и зеркальные овалики на них были:

«1»

«2»

«3»

Надзиратель отпер дверь третьего бокса и движением, несколько комичным здесь, — широким радушным взмахом, отпахнул ее перед Иннокентием. Иннокентий заметил эту комичность и внимательно посмотрел на надзирателя. Это был парень широкоплечий, невысокого роста, с черными гладкими волосами и неровными, будто косым ударом сабли прорезанными глазами. Вид его был недобр, не улыбались ни губы, ни глаза — но из десятков лубяnskих равнодушных лиц, виденных им в эту ночь, злое лицо последнего надзирателя чем-то нравилось.

Запертый в боксе, Иннокентий огляделся. За ночь он мог себя считать уже специалистом по боксам, сравнив несколько. Этот бокс был божеский: три с половиной ступни в ширину, семь с половиной в длину, с паркетным полом, почти весь занят длинной и неузкой деревянной скамьей, вделанной в стену, а у самой двери стоял неведанный маленький деревянный шестигранный столик. Бокс был, конечно, глухой, без окон, только черная решеточка отдушины высоко вверху. Еще бокс был очень высокий — метра три с половиной, все эти метры были — белые стены, сверкающие от двухсотваттной лампочки в проволочном колпаке над

дверью. От лампочки в боксе было тепло, но больно глазам.

Арестантская наука — из тех, которые усваиваются быстро и прочно. На этот раз Иннокентий не обманывался: он не надеялся долго остаться в этом удобном боксе, но тем более, увидев длинную голую скамью, бывший неженка, час от часу переставший быть неженкой, понял, что его первая и главная сейчас задача — поспать. И как звереныш, не напутствуемый матерью, под нашептывание собственной природы узнает все нужные для себя повадки, так и Иннокентий быстро изловчился постелить на лавке пальто, собрать каракулевый воротник и подвернутые рукава комом — так, что образовалась подушка. И тотчас лег. Ему показалось очень удобно. Он закрыл глаза и приготовился спать.

Но уснуть не мог! Ему так хотелось спать, когда не было для этого никакой возможности! Но он прошел насквозь все стадии усталости и дважды уже прерывал сознание мгновенной дремотой — и вот наступила возможность сна, — а сна не было! Непрерывно обновляемое в нем возбуждение расколыхалось и не укладывалось никак. Отбиваясь от предположений, сожалений и соображений, Иннокентий пытался дышать равномерно и считать. Очень уж обидно не заснуть, когда всему телу тепло, ребрам гладко, ноги вытянуты сполна и надзиратель почему-то не будит.

Так пролежал он с полчаса. Уже начинала, наконец, утрачиваться связность мыслей, и из ног поднималась по телу сковывающая вязкая теплота.

Но тут Иннокентий почувствовал, что заснуть с этим сумасшедше-ярким светом нельзя. Свет не только проникал оранжевым озарением сквозь закрытые веки — он ощутимо, с невыносимой силой давил на глазное яблоко. Это давление света, никогда прежде Иннокентием не замечавшееся, сейчас выводило его из себя. Тщетно переворачиваясь с боку на бок и ища по-

ложения, когда бы свет не давил, — Иннокентий отчаялся, приподнялся и спустил ноги.

Щиток его глазка часто отодвигался, он слышал шуршание, — и при очередном отодвиге быстро поднял палец.

Дверь отперлась совсем бесшумно. Косенький надзиратель молча смотрел на Иннокентия.

— Я вас прошу, выключите лампу! — умоляюще сказал Иннокентий.

— Нельзя, — невозмутимо ответил косенький надзиратель.

— Ну, тогда замените! Вверните лампочку поменьше! Зачем же такая большая лампа на такой маленький... бокс?

— Разговаривайте тише! — возразил косенький очень тихо. И, действительно, за его спиной могильно молчал большой коридор и вся тюрьма. — Горит, какая положено.

И все-таки было что-то живое в этом мертвом лице! Исчерпав разговор и угадывая, что дверь сейчас закроется, Иннокентий попросил:

— Дайте воды напиться!

Косенький кивнул и бесшумно запер дверь. Не слышно было, как по дерюжной дорожке он отошел от бокса, как вернулся, — чуть звякнул вставленный ключ — и косенький стоял в двери с кружкой воды. Кружка, как и на первом этаже тюрьмы, была с изображением кошечки, но не в очках, без книжки и без птички.

Иннокентий с удовольствием отпил и в передышке посмотрел на не уходившего надзирателя. Тот переступил одной ногой через порог, прикрыл дверь, насколько позволяли его плечи, и, совершенно неуставно подморгнув, спросил тихо:

— Ты кем был?

Как необычно это звучало! — человеческое обращение, первое за ночь! Потрясенный живым тоном во-

проса, тихостью утаённого от начальства, и затягиваемый этим непреднамеренным безжалостным словечком «был», вступая с надзирателем как бы в разговор, Иннокентий шепотом сообщил:

— Дипломатом. Государственным советником.

Косенький сочувственно покивал и сказал:

— А я был матрос Балтийского флота! — Помедлил. — За что ж тебя?

— Сам не знаю, — насторожился Иннокентий. — Ни с того, ни с сего.

Косенький сочувственно кивал.

— Так все сначала говорят, — подтвердил он. И неприлично добавил: — А сходить по..... не хочешь?

— Нет еще, — отклонил Иннокентий, по слепоте новичка не зная, что сделанное ему предложение было наибольшей льготой, доступной власти надзирателя, и одним из величайших благ на земле, недоступных арестанту вне расписания.

После этого содержательного разговора дверь затворилась, и Иннокентий снова вытянулся на скамье, тщетно борясь с давлением света сквозь беззащитные веки. Он пытался прикрыть веки рукой — но затекала рука. Он догадался, что очень удобно было бы свернуть жгутиком носовой платок и прикрыть им глаза — но где же был его носовой платок?.. Ай-ай-ай, зачем он тогда не поднял его с пола? Какой он был глупый щенок еще вчера вечером!

Мелкие вещи — носовой ли платок, пустая ли спичечная коробка, суровая нитка или пластмассовая пуговица — это теснейшие друзья арестанта! Всегда наступит момент, когда кто-то из них станет незаменимым — и выручит!

Вдруг дверь открылась. Косенький из охапки в охапку передал Иннокентию полосато-красный матрац. О, чудо! Лубянка не только не мешала спать — она заботилась о сне арестанта!.. В перегнутый матрац была

вложена маленькая перьяная подушка, наволочка, простыня — обе со штампом: «Внутренняя тюрьма» — и даже серое одеяльце.

Блаженство! Вот когда он поспит! Его первые впечатления от тюрьмы были слишком унылы! С предвкушением наслаждения (и впервые в жизни делая это собственными руками) он натянул наволочку на подушку, расстелил простыню (матрац несколько свешивался со скамьи из-за узости ее), разделся, лег, накрыл глаза рукавом кителя — ничто больше не мешало! — и уже начал отходить в сон, именно в тот сон, который называли объятиями Морфея.

Но с грохотом отперлась дверь, и косенький сказал:

— Выньте руки из-под одеяла!

— Как вынуть?! — чуть не плача воскликнул Иннокентий. — Зачем вы меня разбудили? Мне так трудно было уснуть!

— Выньте руки! — хладнокровно повторил надзиратель. — Руки должны лежать открыто.

Иннокентий подчинился. Но не так оказалось просто заснуть, держа руки сверх одеяла. Это был дьявольский расчет! Естественная, укоренившаяся, незамечаемая человеком привычка состоит в том, чтобы спрятать руки во сне, прижать их к телу.

Долго Иннокентий ворочался, прилаживаясь к еще одному издевательству. Но, наконец, сон стал брать верх. Сладко-ядовитая мусть уже заливала сознание.

Вдруг какой-то шум в коридоре донесся до него. Начав издалека и всё приближаясь, хлопали соседние двери. Какое-то слово произносилось всякий раз. Вот — рядом. Вот открылась и дверь Иннокентия:

— Подъем! — непреклонно объявил матрос Балтийского флота.

— Как? Почему? — взревел Иннокентий. — Я всю ночь не спал!

— Шесть часов. Подъем, как закон! — повторил матрос и пошел объявлять дальше.

И тут с особой густой силой Иннокентию захотелось спать. Он повалился в постель и сразу одеревенел.

Но тотчас же — разве минутки две он успел поспать — косенький с грохотом отпахнул дверь и повторил:

— Подъем! Подъем! Матрац закатать в трубку!

Иннокентий приподнялся на локте и мутно посмотрел на своего мучителя, час назад казавшегося таким симпатичным.

— Но я не спал, поймите!

— Ничего не знаю.

— Ну, вот закачу матрац, встану — а что я буду делать?

— Ничего. Сидеть.

— Но — почему?

— Потому что шесть часов утра, вам говорят.

— Так я сидя усну!

— Не дам. Разбужу.

Иннокентий взялся за голову и закачался. Как будто сожаление мелькнуло по лицу косенького надзирателя.

— Умыться хотите?

— Ну, пожалуй, — раздумался Иннокентий и потянулся за одеждой.

— Руки назад! Пройдите!

Уборная была за поворотом. Отчаявшись уже заснуть в эту ночь, Иннокентий рискнул снять рубаху и обмыться холодной водой до пояса. Он вольно плескал на цементный пол просторной холодной уборной, дверь была заперта, и косенький не беспокоил его.

Может быть, он и человек, но почему он так коварно не предупредил заранее, что в шесть часов будет подъем?

Холодная вода выхлестнула из Иннокентия отрав-

ную слабость прерванного сна. В коридоре он попробовал заговорить о завтраке, но надзиратель оборвал. В боксе он ответил:

— Завтрака не будет.

— Как не будет? А что же будет?

— В восемь утра будет пайка, сахар и чай.

— Что такое пайка?

— Хлеб, значит.

— А когда же завтрак?

— Не положено. Обед сразу.

— И я все время буду сидеть?

— Ну, хватит болтать!

Он уже закрыл дверь до щели, как Иннокентий успел поднять руку.

— Ну, что еще? — распахнулся матрос Балтийского флота.

— У меня пуговицы обрезали, подкладку вспороли — кому отдать пришить?

— Сколько пуговиц?

Пересчитали.

Дверь заперлась, вскоре отперлась опять. Косенький протянул иглу, с десяток отдельных кусков ниток и несколько пуговиц разного размера и материала — костяные, пластмассовые, деревянные.

— Куда же они годятся? У меня разве такие срезали?

— Берите! И этих нет! — прикрикнул косенький.

И Иннокентий первый раз в жизни начал шить. Он не сразу догадался, как крепить нитку на конце, как вести стежки, как кончать пришивание пуговицы. Не пользуясь тысячелетним опытом человечества, Иннокентий сам изобрел, как надо шить. Он много раз укололся, от чего нежные оконечности его пальцев стали болеть. Он долго пришивал подкладку мундира, вправляя выпотрошенную вату пальто. Иные пуговицы он

пришел не на тех местах, так что полы его мундира взморщились.

Но неторопливый, требующий внимания труд не только скрал время, а еще и совершенно успокоил Иннокентия. Внутренние движения его упорядочились, не было больше ни страха, ни угнетенности. Ясно представилось, что даже это гнездо легендарных ужасов — Тюрьма Большая Лубянка — не страшна, что и здесь люди живут (ах, как хотелось бы с ними встретиться!). В человеке, не спавшем ночь, не евшем, с жизнью, переломленной в десяток часов, открывалось высшее проникновение, открывалось то второе дыхание, которое возвращает каменеющему телу атлета неутомимость и свежесть.

Надзиратель, уже другой, отобрал иголку.

Затем принесли полукилограммовый кусок черного сырого хлеба с треугольным довеском и двумя кусочками пиленого сахара.

Вскоре из чайника в кружку с кошечкой налили окрашенного горячего чая и пообещали добавки.

Всё это значило: восемь часов утра двадцать седьмого декабря.

Иннокентий бросил весь дневной сахар в кружку, хотел, опростившись, размешать пальцем, но палец не терпел кипятка. Тогда, помешивая вращением кружки, он с наслаждением выпил (есть не хотелось ни сколько), поднятием руки попросил еще.

И вторую кружку, уже без сахара, но обостренно ощущая чайный аромат, Иннокентий с дрожью счастья втянул в себя.

Мысли его просветлились до ясности, давно не бывалой.

В тесном проходе между скамьей и противоположной стеной, цепляя за скатанный в трубку матрац, он стал ходить в ожидании боя — три маленьких шага вперед, три маленьких шага назад.

Еще одна неопровергнутая и вчера на воле трудная для понимания, всплыла в памяти мысль Эпикура:

«Внутренние чувства удовольствия и неудовольствия суть высшие критерии добра и зла».

Значит, по Эпикуру, то, что мне нравится — то только и добро, а что не нравится мне — то зло.

Философия дикаря!..

Сталину приятно убивать — значит, для него это добро? А сесть в тюрьму за то, что хотел спасти человека, не приносит же все-таки удовольствия, значит — это зло?

Нет! Добро и зло для Иннокентия теперь вещно обособились и зримо разделились этой светло-серой дверью, этими оливковыми стенами, этой первой тюремной ночью.

С высоты борьбы и страдания, куда он вознесся, мудрость великого философа древности казалась лепетом ребенка.

Загремела дверь.

— Фамилия? — круто бросил еще новый надзиратель восточного типа.

— Володин.

— На допрос! Руки назад!

Иннокентий взял руки назад и с запрокинутой головой, как птица пьет воду, вышел из бокса.

УТРО СТРЕЛЕЦКОЙ КАЗНИ

А на шарашке тоже было время завтрака и чая.

День этот, не предвещавший с утра ничего особенного, отмечен был сперва только придирчивостью старшего лейтенанта Шустермана: он готовился к сдаче

смены и старался помешать арестантам спать после подъема. И прогулка была неладная: после вчерашнего таяния взял ночью морозец — и прогулочные торёные дорожки обняла гололедица. Многие зэки выходили, делали один круг, оскользаясь, и возвращались в тюрьму. В камерах же зэки, сидевшие на кроватях кто внизу, а кто, свесив или поджав ноги, вверху, не спешили вставать, а чесали грудь, зевали, начинали «с утра пораньше» невесело шутить друг над другом, над своей злополучной судьбой, да рассказывали сны — любимое арестантское занятие.

Но хотя среди этих снов были и переход мутного потока по мостику, и натягивание на себя длинных сапог — не было, однако, сна, который бы ясно предрекал гуртовой этап.

Сологдин с утра, как обычно, ходил на дрова. Он и ночью держал окно приотворенным, а уходя на дрова, отворил его еще шире.

Рубин, головой лежавший к тому же окну, не говорил с Сологдиным ни слова. Он и сегодняшнюю ночь страдал бессонницей, лег поздно, ощутил теперь холодную тягу из окна, — но не стал вмешиваться в действия обидчика, а надел меховую шапку со спущенными ушами, телогрейку, в таком виде укрылся с головой одеялом и лежал подобранным кулем, не вставая на завтрак, пренебрегая увещеваниями Шустермана и общим шумом в комнате, — стараясь дотянуть свои положенные часы сна.

Потапов из первых встал, гулял, из первых позавтракал, уже попил и чаю, уже заправил койку в жесткий параллелепипед, сидел читал газету — но душой рвался на работу (ему предстояло сегодня градуировать интересный прибор, им самим сделанный).

Каша на завтрак была пшенная, поэтому многие завтракать не шли.

Герасимович, напротив, долго сидел в столовой, ак-

куратно и неторопливо вкладывая в рот маленькие кванты каши.

Из другого угла полупустой столовой Нержин кивнул ему, сел за стол тоже одиноко и ел вяло.

Отзавтракав, Нержин взобрался на последние пятнадцать свободных минут к себе на верхнюю койку, лег и смотрел в купол потолка.

В комнате продолжалось обсуждение события с Руськой. Ночевать он не приходил и уже точно, что был арестован. В тюремном штабе была маленькая темная клетушка, там его заперли.

Говорили не вполне открыто, не называли его вслух двойником, но подразумевали. Говорили в том смысле, что п а я т ь ему срока уже некуда — но не переквалифицировали б ему двадцать пять ИТЛ на двадцать пять одиночного (в тот год уже строились специальные тюрьмы из камер-одиночек и всё больше входило в моду одиночное заключение). Конечно, Шикин не станет оформлять дело на двойничество. Но не обязательно же обвинять человека именно в том, в чем он виноват: если он белобрысый, можно обвинить его, что он чернявый, — и дать приговор такой же, какой дают за белобрысого.

Глеб не знал, далеко ли зашло у Руськи с Кларой, и надо ли, и осмелиться ли успокоить ее? и как?

Рубин сбросил одеяло и предстал под общий хохот в меховой шапке и в телогрейке. Смех лично над собой он, впрочем, сносил всегда без обиды. Сняв шапку, но оставаясь в телогрейке и не спуская ног на пол для одевания, так как это не имело теперь большого смысла (сроки прогулки, умывания и завтрака все равно упущены), — Рубин попросил кого-то налить ему стакан чая — и, сидя в постели, со всклокоченной бородой, бесчувственно вкладывал в рот белый хлеб с маслом и вливал горячую жидкость, — сам же, не продравши глаз, ушел в чтение романа Эптона Синклера, который

и держал одной рукой рядом со стаканом. В настроении он был самом мрачном.

По шарашке уже шел утренний обход. Заступал младшина. Он считал головы, а объявления делал Шустерман. Войдя в полукруглую комнату, Шустерман, как и в предыдущих, объявил:

— Внимание! Заключенным объявляется, что после ужина никто не будет допускаться на кухню за кипятком, — и по этому вопросу не стучать и не вызывать дежурного!

— Это чье распоряжение? — бешенно взвопил Пряничков, выскакивая из пещеры составленных двухэтажных коек.

— Начальника тюрьмы, — веско ответил Шустерман.

— Когда оно сделано?

— Вчера.

Пряничков потряс над головой кулаками на тонких худых руках, словно призывал в свидетели небо и землю.

— Это не может быть!! — возмущенно протестовал он. — В субботу вечером мне сам министр Абакумов обещал, что по ночам кипяток будет! Это по логике вещей! Ведь мы работаем до двенадцати ночи!

Раскат арестантского хохота был ему ответом.

— А ты не работай до двенадцати, му...к, — пробасил Двоетесов.

— Мы не можем держать ночного повара, — рассудительно объяснил Шустерман.

И затем, взяв из рук младшины список, Шустерман гнетущим голосом, от которого сразу всё стихло, объявил:

— Внимание! Сейчас на работу не выходят и собираются на этап... из вашей комнаты: Хоробров! Михайлов! Нержин! Сёмушкин!.. Готовьте казенные вещи к сдаче!

И проверяющие вышли.

Но четыре выкрикнутых фамилии как вихрем закружили всё в комнате.

Люди покинули чай, оставили недоеденные бутерброды и бросились друг к другу и к окружающим. Четыре человека из двадцати пяти — это была необычная, обильная жатва жертв. Заговорили все разом, оживленные голоса смешивались с упавшими и презрительно-бодрыми. Иные встали во весь рост на верхних койках, размахивали руками, другие взялись за голову, третьи что-то горячо доказывали, бия себя в грудь, четвертые уже вытряхивали подушки из наволочек, а в общем вся комната представляла собой такой разноречивый разворох горя, покорности, озлобления, решимости, жалоб и расчетов, и всё это сгромаждено в тесноте в несколько этажей, что Рубин встал с кровати, как был, в телогрейке, но в кальсонах, и зычно крикнул:

— Исторический день шарашки! Утро стрелецкой казни!

И развел руками перед общей картиной.

Оживленный вид его вовсе не значил, что он рад был этапу. Он равно бы смеялся и над своим отъездом. Перед красным словцом у него не устаивала ни одна святыня.

Этап — это такая же роковая грань в жизни арестанта, как в жизни солдата — ранение. И как ранение может быть легким или тяжелым, излечимым или смертельным, так и этап может быть близким или далеким, развлечением или смертью.

Когда читаешь описание ужасов каторжной жизни у Достоевского, — поражаешься: как покойно им было отбывать срок! Ведь за десять лет у них не бывало ни одного этапа!

Зэк живет на одном и том же постоянном месте, привыкает к своим товарищам, к своей работе, к своему начальству. Как бы ни был он чужд стяжанию, неиз-

бежно он обрастает: у него появляется или присланный с воли фибровый или сработанный в лагере фанерный чемодан. У него появляются: рамочка, куда он вставляет фотографию жены или дочери; тряпичные тапочки, в которых он ходит после работы по бараку, а на день прячет от обыска; возможно даже, что он закосил лишние хлопчатобумажные брючки или не сдал старые ботинки — и всё это перепрятывает от инвентаризации к инвентаризации. У него есть даже своя иголка, его пуговицы надежно пришиты, и еще у него хранится пара запасных. В кисете у него водится табачок.

А если он фрайер — он держит зубной порошок и иногда чистит зубы. У него накапливается пачка писем от родных, заводится собственная книга, обмениваясь которой, он прочитывает все книги лагеря.

Но как гром ударяет над его маленькой жизнью этап — всегда без предупреждения, всегда подстроенный так, чтобы застать зэка врасплох и в последнюю возможную минуту. И вот торопливо рвутся в очко уборной письма родных. И вот конвой — если этап предстоит телячьими и красными вагонами — отрезает у зэка все пуговицы, а табак и зубной порошок высыпает на ветер, ибо ими в пути может быть ослеплен конвоир. И вот конвой — если этап будет столыпинскими вагонами — ожесточенно топчет чемоданы, не входящие в узкую вагонную камеру, а заодно ломает и рамочку для фотографии. В обоих случаях отбирают книги, которые нельзя иметь в дороге, иголку, которой можно перепилить решетку и заколоть конвоира, отметают как хлам тряпичные тапочки и отбирают в пользу лагеря лишнюю пару брюк.

И, очищенный от греха собственности, от склонности к оседлой жизни, от тяготения к мещанскому уюту (справедливо заклеяменному еще Чеховым), от друзей и от прошлого, зэк берет руки за спину и в колонне по четыре («шаг вправо, шаг влево — конвой

открывает огонь без предупреждения!»), окруженный псами и конвойными, идет к вагону.

Вы все видели его в этот момент на наших железнодорожных станциях, — но спешили трусливо потупить, верноподданно отвернуться, чтобы конвойный лейтенант не заподозрил вас в чем плохом и не задержал бы.

Зэк вступает в вагон — и вагон прицепляют рядом с почтовым. Глухо обрешеченный с обеих сторон, не просматриваемый с платформы, он идет по мирному расписанию и везет в своей замкнутой душной тесноте сотни воспоминаний, надежд и опасений.

Куда везут? Этого не объявляют. Что ждет зэка на новом месте? Медные рудники? Лесоповал? Или заветная сельхоз-подкомандировка, где порой удается испечь картошечку и можно от пуза есть скотский турнепс? Скрутит ли зэка цинга и дистрофия от первого же месяца общих работ? Или ему посчастливится дать лапу, встретить знакомого — и он зацепится дневальным, санитаром или даже помощником каптёра? И разрешают ли на новом месте переписку? Или на много лет пресекутся от него письма, и родные причтут его к мертвецам?..

Может быть, он и не доедет до места назначения? В телящем вагоне умрет от дизентерии? оттого, что шесть суток эшелон будут гнать без хлеба? Или конвой забьет его молотками за чей-то побег? Или в конце пути из нетопленной теплушки будут выбрасывать, как дрова, окоченевшие трупы зэков?

Красные эшелоны идут до Совгавани месяц...

Помяни, Господи, тех, кто не доехал!

И хотя с шарашки отпускали мягко, оставляли зэкам до первой тюрьмы даже бритвы, — все эти вопросы с их вечной силой щемили сердца тех двадцати арестантов, которые при утреннем обходе комнат во вторник были выкликнуты на этап.

Беззаботная полувольная жизнь шарашечных зэков для них кончилась.

ПРОЩАЙ, ШАРАШКА!

Как ни был Нержин охвачен заботами этапа, — в нем вспыхнуло и обострилось настроение оттянуть на прощание майора Шикина. И по звонку на работу, несмотря на приказ оставаться в общежитии и ждать надзирателя, он, как и все остальные девятнадцать невызванных на этап, ринулся сквозь проходные двери. Взлетев на третий этаж, он постучал к Шикину. Ему велели войти.

Шикин сидел за столом угрюмый, темный. Что-то дрогнуло в нем со вчерашнего дня. Одной ногой он провел над пропастью и знал теперь ощущение, когда не на что стать.

Но прямого и скорого выхода не имела его ненависть к этому мальчишке! Самое большее (и самое безопасное для себя), что мог сделать Шикин, — это помотать Доронина по карцерам, сердечно нагадить ему в характеристику и отправить назад на Воркуту, где с такой характеристикой он попадет в режимную бригаду и вскоре подохнет. И результат будет тот же самый, что судить бы его и расстрелять.

Сейчас, с утра, он не вызвал Доронина на допрос потому, что ожидал разных протестов и помех со стороны отправляемых.

Он не ошибся. Вошел Нержин.

Майор Шикин всегда не терпел этого худощавого неприязненного зэка с его неуклонно-твердой манерой держаться, с его дотошным знанием всех законов. Шикин давно уже уговаривал Яконова отправить Нержина на этап и сейчас со злорадным удовольствием посмотрел на враждебное выражение входящего, предполагая, что тот будет выяснять, за что его отсылают.

У Нержина был природный дар, не задумываясь,

сложить жалобу в немногочисленные разящие слова и произнести их единым духом в ту короткую секунду, когда открывается к о р м у ш к а в двери камеры, или уместить на клочке промокательно-туалетной бумаги, выдаваемой в тюрьмах для письменных заявлений. За пять лет сидения он выработал в себе и особую решительную манеру разговаривать с начальством — то, что на языке эков называется к у л ь т у р н о о т т я г и в а т ь. Слова он употреблял только корректные, но высокомерно-иронический тон, к которому, однако, нельзя было придрататься, был тоном разговора старшего с младшим.

— Гражданин майор! — заговорил он с порога. — Я пришел получить незаконно отнятую у меня книгу. Я имею основания полагать, что шесть недель — достаточный при транспортных условиях города Москвы срок, чтобы убедиться, что она допущена цензурой.

— Книгу? — поразился Шикин (потому что так быстро не нашелся сказать ничего умней). — Какую книгу?

— В равной мере, — сыпал Нержин, — я полагаю, что вы знаете о какой книге речь. Об избранных произведениях Сергея Есенина в серии «Малая библиотека поэта».

— Е-се-ни-на?! — будто только сейчас вспоминая и потрясенный этим крамольным именем, откинулся майор Шикин к спинке кресла. Седеющий ежик его головы выражал негодование и отвращение. — Да как у вас язык поворачивается — спрашивать Е-се-ни-на?

— А почему бы и нет? Он издан у нас, в Советском Союзе.

— Этого мало!

— Кроме того, он издан в тысяча девятьсот сороковом году, то есть, не попадает в запретный период тысяча девятьсот семнадцатый тире тысяча девятьсот тридцать восьмой.

Шикин нахмурился.

— Откуда вы взяли такой период?

Нержин отвечал так уплотненно, будто заранее выучил все ответы наизусть:

— Мне очень любезно дал разъяснения один лагерный цензор. Во время предпраздничного обыска у меня был отобран «Толковый словарь» Даля на том основании, что он издан в 1935 году и подлежит поэтому серьезнейшей проверке. Когда же я доказал цензору, что словарь есть фотомеханическая копия с издания 1881 года, цензор мне охотно книгу вернул и разъяснил, что против дореволюционных изданий возражений не имеется, ибо «враги народа еще тогда не орудовали». И вот такая неприятность: Есенин издан в 1940-м.

Шикин солидно помолчал.

— Пусть так. Но вы, — внушительно спросил он, — вы — читали эту книгу? Вы — всю ее читали? Вы можете письменно это подтвердить?

— Отбирать от меня подписку к статье девяносто пятой УК РСФСР у вас сейчас нет юридических оснований. Устно же подтверждаю: я имею дурную привычку читать те книги, которые являются моей собственностью и, обратно, держать лишь те книги, которые я читаю.

Шикин развел руками.

— Тем хуже для вас!

Он хотел выдержать многозначительную паузу, но Нержин заметал ее словами.

— Итак, суммарно повторяю свою просьбу. Согласно седьмому пункту раздела Б тюремного распорядка верните мне незаконно отобранную книгу.

Подергиваясь под этим потоком слов, Шикин встал. Когда он сидел за столом, большая голова его, казалось, принадлежала не мелкому человеку, — вставая же, он становился меньше, очень короткими выдавались и ноги его и руки. Темнолицый, он приблизился к шкафу, отпер и вынул изящный томик Есенина,

осыпанный кленовыми листьями по суперобложке.

Несколько мест у него было заложено. По-прежнему не предлагая Нержину сесть, он удобно расположился в своем кресле и стал неторопясь просматривать по закладкам. Нержин тоже спокойно сел, оперся руками о колени и неотступно-тяжелым взглядом следил за Шикиным.

— Ну, вот, пожалуйста, — вздохнул майор, и прочел бесчувственно, мяся как тесто стихотворную ткань:

Неживые чужие ладони!
Этим песням при вас не жить.
Только будут колосья-кони
О хозяине старом тужить.

— Это — о каком хозяине? Это — чьи ладони?

Арестант смотрел на пухлые белые ладони оперуполномоченного.

— Есенин был классово-ограничен и многого не до понимал, — поджатыми губами выразил он соболезнование. — Как Пушкин, как Гоголь...

Что-то новое послышалось в голосе Нержина, от чего Шикин исподлобья опасливо на него взглянул. Перед зэками, которые Шикина не боялись, Шикин сам испытывал тайную боязнь — обычную боязнь хорошо одетых и благополучных людей перед плохо одетыми и неблагополучными. Его власть сейчас плохо защищала его. На всякий случай он встал и приоткрыл дверь.

— А как это понять? — прочел Шикин, вернувшись в кресло:

Розу белую с черной жабой
Я хотел на земле повенчать...

И дальше тут... На что это намекается?

Вытянутое горло арестанта вздрогнуло.

— Очень просто, — ответил он. — Не пытаться примирять белую розу истины с черной жабой злодейства!

Черной жабой сидел перед ним короткорукий большеголовый чернолицый к у м.

— Однако, гражданин майор, — Нержин говорил быстрыми, налезаящими друг на друга словами, — я не имею времени входить с вами в литературные разбирательства. Меня ждет конвой. Шесть недель назад вы заявили, что пошлете запрос в Главлит. Посылали вы?

Шикин передернул плечами и захлопнул желтую книжечку.

— Я не обязан перед вами отчитываться! Книги я вам не верну. И все равно вам ее не дадут вывезти.

Нержин гневно встал, не отводя глаз от Есенина. Он представил себе, как эту книжечку когда-то держали милосердные руки жены и писали в ней:

«Так и все утерянное к тебе вернется!»

Слова безо всякого усилия выстреливали меж его губ:

— Гражданин майор! Я надеюсь, вы не забыли, как я два года требовал с министерства госбезопасности безнадежно отобранные у меня польские золотые, и хоть двадцать раз усчитанные в копейки — все-таки через Верховный Совет их получил. Я надеюсь, вы не забыли, как я требовал пяти граммов подболточной муки? Надо мной смеялись — но я их добился!? И еще множество примеров! Я предупреждаю вас, что эту книгу я вам не отдам! Я умирать буду на Колыме — и оттуда вырву ее у вас! Я заполню жалобами на вас все ящики ЦК и Совета министров. Отдайте по-хорошему!

И перед этим обреченным, бесправным, посылаемым на медленную смерть ээком майор госбезопасности не устоял. Он, действительно, запрашивал Главлит и

оттуда, к удивлению его, ответили, что книга формально не запрещена. Формально!! Верный нюх подсказывал Шикину, что это — оплошность, что книгу непременно надо запретить. Но следовало и побереечь свое имя от нареканий этого неутомимого склочника.

— Хорошо, — уступил майор. — Я вам ее возвращаю. Но увезти ее мы вам не дадим.

С торжеством вышел Нержин на лестницу, прижимая к себе милый желтый глянец суперобложки. Это был символ удачи в минуту, когда все рушилось.

На площадке он миновал группу арестантов, обсуждавших последние события. Среди них (но так, чтоб не донеслось до начальства) ораторствовал Сиромаха:

— Что делают?! Та-ких ребят на этап посылают! За что? А Руську Доронина? Какой же гад его заложил, а?

Сжимая томик Есенина, Нержин спешил в Акустическую и думал, как побыстрее, пока к нему не приставят надзирателя, уничтожить свои записки. Полагалось этапируемых не пускать вольно ходить по шарашке.

Лишь многочисленности этапа да, может быть, мягкости младшины с его вечными упущениями по службе обязан был Нержин своей последней короткой свободой.

Он распахнул дверь Акустической и увидел перед собой растворенные дверцы железного шкафа, а между ними Симочку, снова в некрасивом полосатом платъице и с серым козьим платком на плечах.

Ни слова, ни взгляда еще не было между ними после вчерашнего жестокого объяснения.

Она не увидела, но почувствовала вход Нержина и смешалась, замерла, как бы раздумывая, что именно ей взять из шкафа.

Он не думал, не взвешивал — он вступил в пространство между железными дверцами шкафа и шепотом сказал:

— Серафима Витальевна! После вчерашнего — безжалостно обращаться к вам. Но труд многих лет моих гибнет. Мне его — сжечь? Вы не возьмете?

Она уже знала об его отъезде. Она не пошевелилась, услышав, что он уезжает. Но на последний вопрос подняла печальные, не спавшие сегодня глаза и сказала:

— Дайте.

Кто-то вошел, Нержин метнулся дальше, прошел к своему столу и встретил майора Ройтмана.

Лицо Ройтмана было растерянно. С неловкой улыбкой он сказал:

— Глеб Викентьич! Как это досадно! Ведь меня не предупредили... Я понятия не имел... А сегодня уже ничего поправить нельзя.

Нержин поднял холодно-сожалеющий взгляд к человеку, которого до сегодня считал искренним.

— Эх, Адам Веньяминович! Ведь я здесь не первый день. Такие вещи без начальников лабораторий не делаются.

И стал разгружать ящики стола.

На лице Ройтмана отразилась боль:

— Но, поверьте, Глеб Викентьевич, меня не спросили, не предупредили...

Он говорил это вслух при всей лаборатории. Он предпочитал потерять авторитет у остающихся, чем быть подлецом в глазах уезжающего.

Капли пота выступили на его лбу. Он неосмысленно следил за сборами Нержина.

С ним и в самом деле не посоветовались. Это был очередной удар инженер-полковника.

— Материалы по артикуляции я сдам Серафиме Витальевне? — беззаботно спрашивал Нержин.

Ройтман, расстроенный, не ответив, медленно вышел из комнаты.

— Принимайте, Серафима Витальевна, — сказал Нержин и стал носить к ее столу папки, подшивки, таблицы.

И в одну папку уже уложил свои три блокнота. Но какой-то внутренний дух-советник подтолкнул Нержи-на не делать этого.

Глеб скользнул по вытянутому непроницаемому лицу Симочки. А вдруг это — ловушка? Месть женщины? Долг лейтенанта МГБ?

Но если даже протянутые руки ее теплы — надолго ли хватит девичьей верности? Одуванчик — до первого ветра, девушка — до первого мужчины. И мужу своему принесет: вот у меня тут осталось, милый...

Он переложил блокноты в карман, а папки носил Симочке.

Горела Александрийская библиотека. Горели, но не сдавались, летописи в монастырях. И сажа лубянских труб — сажа от сжигаемых бумаг, бумаг, бумаг, падала на эков, выводимых гулять в коробочку на тюремной крыше.

Может быть, великих мыслей сожжено больше, чем обнародовано...

Если будет цела голова — неужели он не повторит?

Нержин тряхнул спичками, выбежал, заперся в уборной.

...И через десять минут вернулся бледный, безразличный.

Тем временем в лабораторию пришел Прянчиков.

— Да как это можно? — разорялся он. — Мы одеревенели! Мы даже не возмущаемся! Отправлять на этап! Отправлять можно багаж, но кто дал право отправлять людей?!

Горячая проповедь Валентули встречала отклик в эческих сердцах. Взбудораженные этапом, все эки лаборатории не работали. Этап всегда был миг напоминания, миг — «Все там будем». Этап заставлял каждого, даже не тронутого им эка, подумать о бренности своей судьбы, о закланности своего бытия топору ГУЛАГа. Даже ни в чем не провинившегося эка годика за два до конца срока непременно отсылали с шарашки, чтоб он

все забыл и ото всего отстал. Только у двадцатипятилетних не бывало конца срока, за что оперчасть и любила брать их на шарашки.

Зэки в вольных телоположениях окружили Нержина, иные сели вместо стульев на столы, как бы подчеркивая этим приподнятость момента. Они были настроены меланхолически и философски.

Как на похоронах вспоминают всё хорошее, что сделал покойник, так сейчас они в похвалу Нержину вспомнили, каким любителем качать права он был и сколько раз защищал общеарестантские интересы. Тут была и знаменитая история с подболточной мукой, когда он завалил тюремное управление и министерство внутренних дел жалобами по поводу ежедневной недодачи пяти граммов муки ему лично (по тюремным правилам не могло быть жалобы коллективной или жалобы на недодачу чего-либо другим, всем. Хотя арестант по идее и должен исправляться в сторону социализма, но ему запрещается болеть за общее дело). Зэки шарашки в то время еще не наелись, и борьба за пять граммов муки воспринималась острее, чем международные события. Захватывающая эпопея кончилась победой Нержина: был снят с работы «кальсонный капитан», помощник начальника спецтюрьмы по хозяйству, и из подболточной муки на все население шарашки стали варить дважды в неделю дополнительную лапшу. Вспомнили тут и борьбу Нержина за увеличение воскресных прогулок, которая кончилась, однако, поражением: если б арестантам разрешили свободно гулять в воскресенье — кто б из них работал?

Напротив, сам Нержин почти и не слушал этих эпифаний. Для него наступил миг действия, энергия так и извергалась из него. Теперь уж худшее свершилось, а лучшее зависело только от него. Передав Симочке артикуляционные материалы, сдав помощнику Ройтмана всё секретное, уничтожив огнем и разрывом всё личное, сложив в несколько стоп всё библиотечное, он теперь

выгребал последнее из ящиков и раздавал ребятам. Уже было решено, кому достанется его крутящийся желтый стул, кому — немецкий стол с падающими шторками, кому — чернильница, кому — рулон цветной и мраморной трофейной бумаги. Умерший с веселой улыбкой сам раздавал свое наследство, а наследники несли ему кто по две, кто по три пачки папирос (таково было шарашечное установление: на этом свете папирос было изобилие, на том свете папиросы были дороже хлеба).

Из совсекретной группы пришел Рубин. Его глаза были грустны, нижние веки обвисли.

Соображая над книгами, Нержин сказал ему:

— Если б ты любил Есенина, — я б тебе его сейчас подарил.

— Неужели отбил? — удивился Рубин.

— Но ты больше любишь Багрицкого, — и я тебе ничем не могу помочь.

— У тебя помазка нет, — достал Рубин из кармана шикарный по арестантским понятиям помазок с полированной пластмассовой ручкой, — а я всё равно дал обет не бриться до дня оправдания — так возьми его!

Рубин никогда не говорил — «день освобождения», ибо таковой мог означать естественный конец срока, — всегда же говорил «день оправдания», так как непрерывно хлопотал о пересмотре своего дела.

— Спасибо, старик, но ты так ошарашился, что забыл лагерные порядки. Кто же в лагере даст мне бриться самому?.. Ты мне книги сдать не сможешь?

И они стали сгребать и складывать книги и журналы. Окружающие разошлись.

Нагрузившись множеством томов, они вышли из лаборатории, поднялись по главной лестнице. У ниши верхнего коридора остановились поправить рассыпающиеся стопки и передохнуть.

Глаза Нержина, все сборы блиставшие огнем не-

здорового возбуждения, теперь потускнели и стали малоподвижны.

— И вот, друже, — протянул он, — и трех лет мы не прожили вместе, жили всё время в спорах, издеваясь друг над другом, — а сейчас, когда я теряю тебя, должно быть навсегда, я так ясно ощущаю, что ты — один из самых мне... из самых...

Его голос переломился.

Большие карие глаза Рубина, которые многим запоминались в искрах гнева, теплились добротой и застенчивостью.

— Так все сошлось, — кивал он. — Давай поцелуемся, зверь.

И принял Нержина в свою пиратскую черную бороду.

Тотчас за этим, едва вошли они в библиотеку, их нагнал Сологдин. У него было очень озабоченное лицо. Не рассчитав, он слишком хлопнул остекленной дверью, отчего она задребезжала, а библиотекарьша оглянулась недовольно.

— Так, Глебчик, так! — сказал Сологдин. — Свершилось. Ты уезжаешь.

Совершенно не замечая рядом «библейского фанатика», Сологдин смотрел только на Нержина.

Равно и Рубин не нашел в себе примиряющего чувства к «докучному гидальго» и отвел глаза.

— Да, ты уезжаешь. Жаль. Очень жаль.

Сколько они говаривали друг с другом на дровах, сколько спорили на прогулках! А сейчас не у места и не у времени были правила мышления и жизни, которые Сологдин хотел передать и не успел.

— Слушай, — сказал он. — Время — деньги. Еще не поздно. Дай согласие остаться расчетчиком — и я, может быть, успею тебя оставить. Тут в одну группу. — (Рубин удивленно метнул взглядом по Сологдину). — Но придется в к а л ы в а т ь , предупреждаю честно.

Нержин вздохнул.

— Спасибо, Митяй. Такая возможность у меня была. Но что-то я и сам уже настроился на эксперимент. Говорит пословица: не море топит, а лужа. Хочу попробовать пуститься в море.

— Да? Ну, смотри, ну, смотри, — с деловым видом быстро говорил Сологдин. — Очень жаль, очень жаль, Глебчик.

Лицо его было озабоченно, он торопился, только заставлял себя не торопиться.

Так они стояли трое и ждали, пока библиотекарьша с перекрашенными волосами, сильно накрашенными губами и сильно напудренная, тоже лейтенант, хотя и без мундира, лениво сверялась в библиотечном формуляре Нержина.

И Глеб, переживавший разлад друзей, в полной тишине библиотеки тихо сказал:

— Друзья! Надо помириться!

Ни Сологдин, ни Рубин не повели головами.

— Митя! — настаивал Глеб.

Сологдин поднял холодное голубое пламя взгляда.

— Почему ты обращаешься ко мне? — удивился он.

— Лёва! — повторил Глеб.

Рубин посмотрел на него скучающе.

— Ты знаешь, почему лошади долго живут? — И после паузы объяснил: — Потому что они никогда не выясняют отношений.

Исчерпав свое служебное имущество и дела по службе, понукаемый надзирателем идти в тюрьму собираться, — Нержин с ворохом папиросных пачек в руках встретил в коридоре спешащего Потапова с ящичком под мышкой. На работе Потапов и ходил совсем не так, как на прогулке: несмотря на хромоту, он шел быстро, шею держал напряженно выгнутой вперед, а потом назад, глаза щурил и смотрел не под ноги, а куда-то вдаль, как бы спеша головой и взглядом опередить свои немолодые ноги. Потапову обязательно надо было проститься с Нержиным и с другими отъезжающими,

но едва он утром вошел в лабораторию, как внутренняя логика работы захватила его, подавив в нем все остальные чувства и мысли. Эта способность целиком захватываться работой, забывая о жизни, была основой его инженерных успехов на воле, а в тюрьме помогала сносить невзгоды.

— Вот и всё, Андреич, — перебил его Нержин. — Покойник был весел и улыбался.

Потапов сделал усилие, некий смысл включился в его глаза. Свободной от ящика рукой он дотянулся до затылка, как если бы хотел почесать его.

— Ку-ку-у... — протянул он.

— Подарил бы вам, Андреич, Есенина, да вы все равно кроме Пушкина...

— И мы там будем, — сокрушенно сказал Потапов. Нержин вздохнул.

— Где теперь встретимся? на котласской пересылке? на индигирских приисках? Не верится, чтобы, самостоятельно передвигая ногами, мы могли бы сойтись на городском тротуаре. А?..

С прищуром у углов глаз, Потапов проскандировал:

— Для призраков закрыл я вежды:

Лишь отдаленные надежды

Тревожат сердце и-но-гда.

Из двери Семерки высунулась голова упоенного Маркушева.

— Ну, Андреич! где же фильтры? Работа стоит! — крикнул он раздраженным голосом.

Соавторы «Улыбки Будды» обнялись неловко. Пачки «Беломора» посыпались на пол.

— Вы ж понимаете, — сказал Потапов, — и к р у м е ч е м , всё некогда.

И к р о м е т а н и е м Потапов называл тот суетливый, крикливый, безалаберно-поспешный стиль работы, который царил в институте Маврино, и не в нем одном, тот стиль, который газеты называли «штурмовщиной» и «тежучкой».

— Пишите! — добавил Потапов, и оба засмеялись. Ничего не было естественней сказать так при прощании, но в тюрьме это пожелание звучало издевательством. Между островами ГУЛАГа переписку пресекали.

И снова, держа ящичек фильтров под мышкой, запрокинув голову вверх и назад, Потапов помчался по коридору, почти вроде и не хромая.

Поспешил и Нержин — в полукруглую камеру, где стал собирать свои вещи, изощренно предугадывая враждебные неожиданности шмонов, ожидающих его сперва в Маврино, а потом в Бутырках.

Уже дважды заходил торопить его надзиратель. Уже другие вызванные ушли или были угнаны в штаб тюрьмы. Под самый конец сборов Нержина, дыша дворовой свежестью, в комнату вошел Спиридон в своем черном перепоясанном бушлате. Сняв большеухую рыжую шапку и осторожно загнув с угла чью-то неподалеко от Нержина постель, обернутую белым пододеяльником, он присел нечистыми ватными брюками на стальную сетку.

— Спиридон Данилыч! Глянь-ка! — сказал Нержин и перетянулся к нему с книгой. — Есенин уж здесь!

— Отдал, змей? — по мрачному, особенно изморщенному лицу Спиридона пробежал лучик.

— Не так мне книга, Данилыч, — распространялся Нержин, — как главное, чтобы по морде нас не били.

— Именно, — кивнул Спиридон.

— Бери, бери, книгу. Это я на память тебе.

— Не увезть? — рассеянно спросил Спиридон.

— Подожди, — Нержин отобрал книгу, распахнул ее, и стал искать страницу. — Сейчас я тебе найду, вот тут прочтешь...

— Ну, кати, Глеб, — невесело напутствовал Спиридон. — Как в лагере жить — знаешь: душа болит за производство, а ноги тянут в санчасть.

— Теперь уж я не новичок, не боюсь, Данилыч. Хо-

чу попробовать работнуть. Знаешь, говорят: не море топит, а лужа.

И тут только всмотревшись в Спиридона, Нержин увидал, что тому сильно не по себе, больше, чем только от расставания с приятелем. И тогда он вспомнил, что вчера за новыми стеснениями тюремного начальства, разоблачениями стукачей, арестом Руськи, объяснением с Симочкой, — он совсем забыл, что Спиридон должен был получить письмо из дому. Он отложил книгу.

— Письмо-то?! Письмо получил, Данилыч?

Спиридон и держал руку в кармане на этом письме. Теперь он достал его — конверт, сложенный вдвое, уже истертый на перегибе.

— Вот... Да недосуг уж тебе... — дрогнули губы Спиридона.

Много раз со вчерашнего дня отгибался и снова загибался этот конверт. Адрес был написан крупным круглым доверчивым почерком дочери Спиридона, сохраненным от пятого класса школы, дальше которого Вере учиться не пришлось.

По их со Спиридоном обычаю, Нержин стал читать письмо вслух:

«Дорогой мой батюшка!

Не то, что писать вам, а и жить я больше не смею. Какие же люди есть на свете дурные, что говорят — и обманывают...»

Голос Нержина упал. Он вскинул глаза на Спиридона, встретил его открытые, почти слепые, неподвижные глаза под мохнатыми рыжими бровями. Но и секунды не успел подумать, не успел приискать неложного слова утешения, — как дверь распахнулась и ворвался рассерженный Наделашин:

— Нержин! — закричал он. — С вами по-хорошему, так вы на голову садитесь? Все собрались — вы последний!

Надзиратели спешили убрать этапируемых в штаб до начала обеденного перерыва, чтоб они не встречались ни с кем больше.

Нержин обнял Спиридона одной рукой за густозаросшую неподстриженную шею.

— Давайте! Давайте! Больше ни минуты, — понукал младшина.

— Данилыч-Данилыч, — говорил Нержин, обнимая рыжего дворника.

Спиридон вздохнул с хрипами в груди и махнул рукой.

— Прощай, Глеба!

— Прощай навсегда, Спиридон Данилыч!

Они поцеловались. Нержин взял вещи и порывисто ушел, сопровождаемый дежурным.

А Спиридон неотмывающимися, со вьевшейся многолетней грязью руками снял с кровати развернутую книжку, по обложке обсыпанную кленовыми листьями, заложил дочерним письмом и ушел к себе в комнату.

Он не заметил, как коленом свалил свою мохнатую шапку, и она осталась так лежать на полу.

М Я С О

По мере того, как этапируемых арестантов стогнали в штаб тюрьмы, — их шмонали, а по мере того, как их прощманивали, — их перегоняли в запасную пустую комнату штаба, где стояло два голых стола и одна грубая скамья. При них неотлучно присутствовал сам майор Мышин и временами заходил подполковник Климентьев. Туго налитому лиловому майору несручно было наклоняться к мешкам и чемоданам (да и

не подобало это его чину), но его присутствие не могло не воодушевить вертухаев. Они рьяно развязывали все арестантские тряпки, узелки, лохмотья и особенно придирались ко всему писанному. Была инструкция, что уезжающие из спецтюрьмы не имели права везти с собой ни клочка писанного, рисованного или печатного. Поэтому большинство зэков загодя сожгли все письма, уничтожили тетради заметок по своим специальностям и раздали книги.

Один заключенный, инженер Ромашев, которому оставалось до конца срока шесть месяцев (он уже отбухал девятнадцать с половиной лет) открыто вез большую папку многолетних вырезок, записей и расчетов по монтажу гидростанций (он ждал, что едет в Красноярский край и очень рассчитывал там работать по специальности). Хотя эту папку уже просматривал лично инженер-полковник Яконов и поставил свою визу на выпуск ее, хотя майор Шикин уже отправлял ее в Отдел, и там тоже поставили визу, — вся многомесячная иступленная предусмотрительность и настойчивость Ромашева оказалась зряшной: теперь майор Мышин заявил, что ему ничего об этой папке не известно, и велел отобрать ее. Ее отобрали и унесли, и инженер Ромашев остывшими, ко всему привычными глазами посмотрел ей вслед. Он пережил когда-то и смертный приговор, и этап телячьими вагонами от Москвы до Совгавани, и на Колыме в колодце подставлял ногу под бадью, чтоб ему перешибло бадьею голень, и в больнице отлежался от лютой смерти заполярных общиработ. Теперь над гибелью десятилетнего труда и вообще не стоило рыдать.

Другой заключенный, маленький лысый конструктор Сёмушкин, в воскресенье так много стараний приложивший к штопке носков, был, напротив, новичок, сидел всего около двух лет, и то всё время в тюрьмах да на шарашке, и теперь крайне был перепуган лагерем. Но, несмотря на перепуг и отчаяние от этапа, он пытал-

ся сохранить маленький томик Лермонтова, который был у них с женой семейной святыней. Он умолял майора Мышина вернуть томик, не по-взрослому ломал руки; оскорбляя чувства сиделых зэков, пытался прорваться в кабинет к подполковнику (его не пустили); — и вдруг выхватил Лермонтова из рук к у м а (тот в страхе отскочил к двери, сочтя это за сигнал бунта), с силой, которой в нем не предполагали, одним рывком оторвал обложки от самого тома, зеленые тисненые обложки, отшвырнул в сторону, а листы книги стал изрывать полосами, судорожно плача и крича:

— Натe! Жрите! Лопайте! — и разбрасывать их по комнате.

Шмон продолжался.

Выходившие со шмона арестанты с трудом узнавали друг друга: по команде сбросив в одну кучу синие комбинезоны, в другую — казенное клейменое белье, в третью — пальто, если оно было еще не истрепано, они одевались теперь во все своё, либо же в с м е н к у . За годы службы на шарашке они не выслужили себе одежды. И это не было злобой или скупостью начальства. Начальство было подведомственно оку бухгалтерии.

Поэтому одни, несмотря на разгар зимы, оставались теперь без белья и натянули трусы и майки, много лет затхло пролежавшие в их мешках в конторке такими же нестиранными, какими были в день приезда из лагеря; другие обулись в неуклюжие лагерные ботинки (у кого такие лагерные ботинки были обнаружены в мешках, у того теперь полуботинки «вольного» образца с галошами отбирались), иные — в кирзовые сапоги с подковами, а счастливицы — и в валенки.

Валенки! Вторая душа арестанта!.. Самое бесправное из всех земных существ и меньше предупрежденное о своем будущем, чем лягушка, крот или полевая мышь, — зэк незащищен перед превратностями судьбы. В самой теплой глубокой норке зэк никогда не может быть

спокоен, что в наступившую ночь он обережен от ужасов зимы, что его не выхватит рука с голубым обшлагным окаемком и не потащит на северный полюс. Горе тогда конечностям, не обутым в валенки! Двумя обмороженными ледышками он составит их на Колыме из кузова грузовика. Зэк без собственных валенок всю зиму живет притаясь, лжет, лицемерит, сносит оскорбления ничтожных людей, или сам угнетает других — лишь бы не попасть на зимний этап. Но бестрепетен зэк, обутый в собственные валенки! Он дерзко смотрит в глаза начальству и с улыбкой Марка Аврелия получает обходную.

И, несмотря на оттепель снаружи все, у кого были собственные валенки, в том числе Хоробров и Нержин, отчасти чтобы меньше и ш а ч и т ь на себе, а главное, чтобы почувствовать их успокаивающую бодрящую теплоту всеми ногами, — засунули ноги в валенки и гордо ходили по пустой комнате. Хотя ехали они сегодня лишь в Бутырскую тюрьму, а там ничуть не было холодней, чем на шарашке. Только бесстрашный Герасимович, отказавшийся ловить человек, не имел ничего своего, и каптёр дал ему «на сменку» широкий на него, никак не запахивающийся длиннорукавный бушлат, «бывший в употреблении», и бывшие же в употреблении тупоносые кирзовые ботинки.

Такая одежда особенно казалась смешна на нем из-за его пенсне.

Шмон был закончен, все двадцать зэков загнаны в пустую ожидальню со своими разрешенными к увозу вещами, дверь за ними затворилась и, в ожидании воронка, к двери был приставлен часовой. Еще другой надзиратель был наряжен ходить под окнами, скользя по обледенице, и отгонять провожающих, если они появятся в обеденный перерыв.

Так все связи двадцати отъезжающих с двумястами шестьюдесятью одним остающимся были разорваны.

Этапируемые еще были здесь, но уже их и не было здесь.

Сперва, заняв как попало места на своих вещах и на скамьях, они все молчали.

Они додумывали каждый о шмоне — что было отнято у них, и что удалось пронести.

И о шарашке — что за блага терялись на ней, и какая часть срока прожита на ней, и какая часть срока осталась.

Заключенные — любители пересчитывать время: уже потерянное, и впредь обреченное к утере.

Еще они думали о родных, с которыми не сразу установится связь. И что опять придется просить у них помощи, ибо ГУЛАГ — такая страна, где взрослый мужчина, работая в день двенадцать часов, неспособен прокормить себя.

Думали о промахах или о своих сознательных решениях, приведших их к этому этапу.

О том, куда же зашлют? Что ждет на новом месте? И как устраиваться там?

У каждого по-своему текли мысли, но все они были невеселы.

Каждому хотелось утешения и надежды.

Поэтому, когда возобновился разговор, что, может быть, их вовсе не в лагерь шлют, а на другую шарашку, — даже те, кто совсем в это не верили — прислушались.

Ибо и Христос в Гефсиманском саду, твердо зная свой горький рок, всё еще молился и надеялся.

Чиня ручку своего чемодана, все время срывающуюся с крепления, Хоробров громко ругался:

— Ну, собаки! Ну, гады! Простого чемодана — и того сделать не могут! Ведь вот какая-то сволочь рационализацию внесла, драть ее лети, стальную дужку двумя концами загибают и всовывают в ушко ручки. Пока чемодан пустой — держит, а — нагрузи?..

И кусками кирпича, отваленного от печки, выло-

женной тем же скоростным методом, Хоробров зло сбил концы дужки в ушко.

Нержин хорошо понимал Хороброва. Всякий раз сталкиваясь с унижением, пренебрежением, наплевательством, издевательством, Хоробров разъярялся — но как об этом было рассуждать спокойно? Разве изысканными словами выразить вой ущемленного? Именно сейчас, облачаясь в лагерное и едучи в лагерь, Нержин и сам ощущал, что возвращается к важному элементу мужской свободы: каждое пятое слово ставить матерное.

Ромашев негромко рассказывал новичкам, какими дорогами обычно возят арестантов в Сибирь, и, сравнивая куйбышевскую пересылку с горьковской и кировской, очень хвалил первую.

Хоробров перестал стучать и в сердцах швырнул кирпичом об пол, раздробляя его в красную крошку.

Тем временем Нержин, чувствуя, как от лагерной одежды задор овладевает им, встал, через часового вызвал Наделашина и полнозвучно заявил:

— Младший лейтенант! Мы видим в окно, что уже полчаса, как идет обед. Почему не несут нам?

Младшина неловко отоптался и сочувственно заявил:

— Вы сегодня... со снабжения сняты...

— То есть, как это сняты? — И слыша за спиной гул поддерживающего недовольства, Нержин стал рубить: — Доложите начальнику тюрьмы, что без обеда мы никуда не поедем! И силой посадить себя — не дадимся!

— Хорошо, я доложу! — сейчас же уступил младшина. И виновато поспешил к начальнику.

Никто в комнате не усомнился, стоит ли связываться. Брезгливое чаевое благородство зажиточных вольняшек — дико ээкам.

— Правильно!

— Тяни их!

— Зажимают, гады!

— Крохоборы! За три года службы один обед пожалели!

— Не уедем! Очень просто! Что они с нами делают?

Даже те, кто были повседневно тихи и смирны с начальством, теперь расхрабрились. Вольный ветер пересыльных тюрем бил в их лица. В этом последнем мясном обеде было не только последнее насыщение перед месяцами и годами баланды — в этом последнем мясном обеде было их человеческое достоинство. И даже те, у кого от волнения пересохло горло и кому совсем не вмоготу сейчас было есть, — даже те, забыв о своей кручине, ждали и требовали этого обеда.

Из окна видна была дорожка, соединяющая штаб с кухней. Видно было, как к древопилке задом подошел грузовик, в кузове которого просторно лежала большая ёлка, перекинувшись через борта лапами и вершинкой. Из кабины вышел завхоз тюрьмы, из кузова прыгнул надзиратель.

Да, подполковник держал слово. Завтра-послезавтра ёлку поставят в полукруглой комнате, арестанты-отцы, без детей своих сами превратившиеся в детей, обвешают ее игрушками (не пожалеют казенного времени на их изготовление), Клариной корзиночкой, ясным месяцем в стеклянной клетке, возьмутся в круг, усатые, бородатые и, перепевая волчий вой своей судьбы, с горьким смехом закружатся:

В лесу родилась ёлочка,

В лесу она росла...

Видно было, как патрулирующий под окнами надзиратель отгонял Пряничкова, пытавшегося прорваться к посаженным энкам и кричавшего что-то, воздевая руки к небесам.

Видно было, как младшина Наделашин озабоченно

просеменил на кухню, потом в штаб, опять на кухню, опять в штаб.

Еще было видно, как, не дав Спиридону дообедать, его пригнали разгружать ёлку с грузовика. Он на ходу вытирал усы и перепоясывался.

Младшина, наконец, не пошел, а почти пробежал на кухню и вскоре вывел оттуда двух поварих, несших вдвоем бидон и поварёшку. Третья женщина несла за ними стопу глубоких тарелок. Боясь поскользнуться и перебить их, она остановилась. Младшина вернулся и забрал у нее часть.

В комнате возникло оживление победы.

Обед появился в дверях. Тут же, на краю стола, стали разливать суп, эки брали тарелки и несли в свои углы, на подоконники и на чемоданы. Иные приспособлялись есть стоя, грудью привалясь к столу, не обставленному скамейками.

Младшина с раздатчицами ушли. В комнате наступило то настоящее молчание, которое и всегда должно сопутствовать еде. Мысли были: вот наварный суп, несколько жидковатый, но с ощутимым мясным духом; вот эту ложку, и еще эту с жировыми звездочками и белыми разваренными волокнами я отправляю в себя; теплой влагой она проходит по пищеводу, опускается в желудок — а кровь и мускулы заранее ликуют, предвидя новую силу и новое пополнение своим клеткам.

«Для мяса люди замуж идут, для щей женятся» — вспомнил Нержин пословицу. Он понимал эту пословицу так, что муж, значит, будет добывать мясо, а жена — варить на нем щи. Народ в пословицах не лукавил и не выкорчивал из себя обязательно высоких стремлений. Во всем многотысячном комплексе своих пословиц народ был более откровенен о себе, чем даже Толстой и Достоевский в своих исповедях.

Когда суп подходил к концу, и алюминиевые ложки уже стали заскребать по тарелкам, — кто-то неопределенно протянул:

— Да-а-а...

И из угла отозвались:

— Заготавливайся, братцы!

Некий критикан вставил:

— Со дна черпали, а не густ. Небось, мясо-то себе выловили.

Еще кто-то уныло воскликнул:

— Когда теперь доживем и такого покушать!

Тогда Хоробров стукнул ложкой по своей выеденной тарелке и внятно сказал с уже нарастающим протестом в горле:

— Нет, друзья! Лучше хлеб с водой, чем пирог с бедой!

Ему не ответили.

Нержин стал стучать и требовать второго.

Тотчас же явился младшина.

— Покушали? — с приветливой улыбкой оглядел он этапируемых. И убедясь, что на лицах появилось добродушие, вызываемое насыщением, сказал то, чего тюремная опытность подсказала ему не объявлять раньше: — А второго не осталось. Уж и котел моют. Извините.

Нержин оглянулся на эков, сообразуясь, буянить ли. Но по русской отходчивости все уже остыли.

— А что на второе было? — пробасил кто-то.

— Рагу, — застенчиво улыбнулся младшина.

Вздохнули.

О третьем как-то и не вспомнили.

За стеной послышалось фырканье автомобильного мотора. Младшину вызвали — и вызволили этим. В коридоре раздался строгий голос подполковника Климентьева.

Стали выводить по одному.

Переключки по личным делам не было, потому что свой шарашечный конвой должен был сопровождать эков до Бутырок и сдавать там. Но — с ч и т а л и . Отсчитывали каждого совершающего столь знакомый и

всегда роковой шаг с земли на высокую подножку воронка, низко пригнув голову, чтобы не удариться о железную притолоку, скрючившись под тяжестью своих вещей и неловко стучаясь ими о боковые стенки лаза.

Провожавших не было — обеденный перерыв кончился, зэков загнали с прогулочного двора в помещение.

Задок воронка подогнали к самому порогу штаба. При посадке, хотя и не было надрывного лая овчарок, царила та теснота, сплоченность и напряженная торопливость конвоя, которая выгодна только конвою, но невольно заражает и зэков, мешая им оглядеться и сообразить свое положение.

Так село их восемнадцать, и ни один не поднял голову попрощаться с высокими спокойными липами, осенявшими их долгие годы в тяжелые и радостные минуты.

А двое, кто изловчились посмотреть — Хоробров и Нержин, взглянули не на липы, а на саму машину сбoku, взглянули со специальной целью — выяснить, в какой цвет она окрашена.

И ожидания их оправдались.

Отходили в прошлое времена, когда по улицам шныряли свинцово-серые и черные воронки, наводя ужас на граждан. После войны в чьей-то гениальной голове возникла догадка: конструировать воронки одинаково с продуктовыми машинами, расписывать их снаружи теми же оранжево-голубыми полосами и писать на четырех языках:

Хлеб Pain Brot Bread

Или:

Мясо Viande Fleisch Meat

И сейчас, садясь в воронку, Нержин улучил сбиться в бок и оттуда прочесть: Meat.

Потом он в свой черед втиснулся в узкую первую и еще более узкую вторую дверцы, прошелся по чьим-то ногам, проволочил чемодан и мешок по чьим-то коленям, и сел.

Внутри этот трехтонный воронок был не б о к с и - р о в а н , то есть не был разделен на десять железных ящиков, в каждый из которых втискивалось только по одному арестанту. Нет, этот воронок был «общего» типа, то есть предназначен для перевозки не подследственных, а осужденных, что резко увеличивало его живую грузоместительность. В задней части своей — между двумя железными дверьми с маленькими решетками-отдушинами, воронок имел тесный тамбур для конвоя, где, заперев внутренние двери снаружи, а внешние изнутри, и сносясь с шофером и с начальником конвоя через особую слуховую трубу, проложенную в корпусе кузова, — едва помещалось два конвоира, и то поджав ноги. За счет заднего тамбура был выделен лишь один маленький запасный бокс для возможного бунтаря. Всё остальное пространство кузова, заключенное в металлическую низкую коробку, была одна общая мышеловка, куда по норме как раз и полагалось втискивать двадцать человек. (Если защелкивать железную дверцу, упираясь в нее четырьмя сапогами, — удавалось впихивать и больше.)

Вдоль трех стен этой братской мышеловки тянулась скамья, оставляя мало места посредине. Кому удавалось — садились, но они не были самыми счастливыми: когда воронок забили, им на заклиненные колени, на подвернутые затекающие ноги достались чужие вещи и люди, и в месиве этом не имело смысла обижаться, извиняться, — а подвинуться или изменить положение нельзя было еще час. Надзиратели поднаперли на дверь и, втолкнув последнего, щелкнули замком.

Но внешней двери тамбура не захлопывали. Вот еще кто-то ступил на заднюю ступеньку, новая тень заслонила из тамбура отдушину-решетку.

— Братцы! — прозвучал Руськин голос. — Еду в Бутырки на следствие! Кто тут? Кого увозят?

Раздался сразу взрыв голосов — закричали все двадцать зэков, отвечая, и оба надзирателя, чтоб Русь-

ка замолчал, и с порога штаба Климентьев, чтоб надзиратели не зевали и не давали заключенным переговариваться.

— Тише, вы...! — послал кто-то в воронке матом.

Стало тихо и слышно, как в тамбуре надзиратели возились, убирая свои ноги, чтобы скорей запихнуть Руську в бокс.

— Кто тебя предал, Руська? — крикнул Нержин.

— Сиромаха.

— Га-а-ад! — сразу загудели голоса.

— А сколько вас? — крикнул Руська.

— Двадцать.

— Кто да кто?..

Но его уже затолкали в бокс и заперли.

— Не робей, Руська! — кричали ему. — Встретимся в лагере!

Еще падало внутрь воронка несколько света, пока открыта была внешняя дверь, но вот захлопнулась и она, головы конвоиров преградили последний неверный поток света через решетки двух дверей, затарахтел мотор, машина дрогнула, тронулась — и теперь, при раскачке, только мерцающие отсветы перебегали по лицам эков.

Этот короткий перекрик из камеры в камеру, эта жаркая искра, проскакивающая порой между камнями и железами, всегда чрезвычайно будоражит арестантов.

Немного проехали — и воронок остановился. Ясно, что это была вахта.

— Руська! — крикнул один эк. — А бьют?

Не сразу и глухо донеслось в ответ:

— Бьют...

— Да драть их в лоб Шишкина-Мышкина! — закричал Нержин. — Не сдавайся, Руська!

И снова закричало несколько голосов — и всё смешалось.

Опять тронулись, проезжая вахту, потом всех рез-

ко качнуло вправо — это означало поворот налево, на шоссе.

При этом повороте очень тесно сплотило плечи Герасимовича и Нержина. Они посмотрели друг на друга, пытаясь различить в полутьме. Их спланивало уже нечто большее, чем теснота воронка.

Илья Хоробов, чуть прикидывая, говорил в темноте и скученности:

— Ничего, ребята, не жалеете, что уехали. Разве это жизнь — на шарашке? По коридору идешь — на Сироммаху наступишь. Каждый пятый — стукач, не успеешь в уборной звук издать — сейчас куму известно. Воскресений уже два года нет, сволочи. Двенадцать часов рабочий день! За двадцать грамм маслица все мозги отдай. Переписку с домом запретили, драть их впергреб. И — работай? Да это ад какой-то!

Хоробров смолк, переполненный негодованием.

В наступившей тишине, при моторе, ровно работающем по асфальту, раздался чеканный ответ Нержина:

— Нет, Илья Терентьич, это не ад. Это — не ад! В ад мы едем. В ад мы возвращаемся. А шарашка — высший, лучший, первый круг ада. Это — почти рай...

Он не стал далее говорить, почувствовав, что — не нужно. Все ведь знали, что ожидало их несравненно худшее, чем шарашка. Все знали, что из лагеря шарашка припомнится золотым сном. Но сейчас для бодрости и сознания правоты надо было ругать шарашку, чтоб ни у кого не оставалось сожаления, чтоб никто не упрекал себя в опрометчивом шаге.

И Хоробров настоял:

— Нет, ребята, — лучше хлеб с водой, чем пирог с бедой.

Прислушиваясь к ходу машины, ээки смолкли.

Да, их ожидала тайга и тундра, полюс холода Оймякон и медные копи Джекказгана. Их ожидала опять

кирка и тачка, голодная пайка сырого хлеба, больница, смерть. Их ожидало только худшее.

Но в душах их был мир.

Ими владело бесстрашие людей, потерявших в сё до конца, — бесстрашие, достаемое трудно, но прочно.

Швыряясь внутри сгруженными, стиснутыми телами, веселая оранжево-голубая машина шла уже улицами, миновала один из вокзалов и остановилась на перекрестке. На этом скрещении светофором был задержан темно-бордовый лакированный автомобиль корреспондента газеты «Либерасьон», ехавшего на стадион «Динамо» на хоккейный матч. Корреспондент прочел на машине-фургоне:

Мясо Viande Fleisch Meat

Его память отметила сегодня в разных частях Москвы уже не одну такую машину. Он достал блокнот и написал темно-бордовой ручкой:

«На улицах Москвы то и дело встречаются автофургоны с продуктами, очень опрятные, санитарно-безупречные. Нельзя не признать снабжения столицы превосходным».

1955 - 1964

СОДЕРЖАНИЕ ЧЕТВЕРТОГО ТОМА

В КРУГЕ ПЕРВОМ

(Гл. 48 — гл. 87)

48. Ковчег	409
49. Хохма	412
50. Князь-предатель	422
51. Кончая двадцатый...	431
52. Арестантские мелочи	438
53. Лицейский стол	446
54. Улыбка Будды	458
55. Но и совесть дается один только раз!	473
56. Званный ужин	485
57. Два зятя	496
58. Зубр	507
59. Первыми вступали в города	519
60. Поединок не по правилам	529
61. Хождение в народ	540
62. Спиридон	544
63. Критерий Спиридона	555
64. Сжимая кулаки	561
65. Дотти	568
66. Булатной сабли острый клинок	570
67. Гражданские храмы	581
68. Космополит безродный	586
69. Рассвет понедельника	594
70. Бочка во дворе	606
71. Любимая профессия	610
72. Освобожденный секретарь	620
73. Два инженера	630
74. Сто сорок семь рублей	642
75. Воспитание оптимизма	655
76. Король стукачей	664

77. Насчет расстрелять	669
78. Ученик Эпикура	680
79. Не по моей специальности	687
80. У истоков науки	697
81. Нет, не тебя!..	708
82. Да оставит надежду входящий!	721
83. Хранить вечно	733
84. Второе дыхание	752
85. Утро стрелецкой казни	769
86. Прощай, шарашка!	776
87. Мясо	791

